Александр

Островский

Гроза
Бесприданница

Пьесы



Всемирная литература

Гроза. Бесприданница. Пьесы

Александр Николаевич Островский

Аннотация
Александр Островский. Гроза; Бесприданница
Бедная невеста. Комедия в пяти действиях
Действие первое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Явление одиннадцатое
Явление двенадцатое
Явление тринадцатое
Явление четырнадцатое
Действие второе
Сцена I
Явление первое

Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Сцена II
Явление десятое
Явление одиннадцатое
Явление двенадцатое
Явление тринадцатое
Явление четырнадцатое
Действие третье
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Явление одиннадцатое

Явление двенадцатое
Явление тринадцатое
Действие четвертое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Явление одиннадцатое
Явление двенадцатое
Действие пятое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое

Явление одиннадцатое
Гроза
Н. А. Добролюбов. Луч света в темном царстве
Гроза. Драма в пяти действиях
Действие первое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Действие второе
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Действие третье

Сцена 1
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Сцена 2
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Действие четвертое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Действие пятое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое

А. А. Григорьев. После «Грозы» Островского.
Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу
Письмо первое. Неизбежные вопросы
Письмо второе. Попытки разрешений
Бесприданница. Драма в четырех действиях
Действие первое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Действие второе
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Явление одиннадцатое
Действие третье

Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Явление одиннадцатое
Явление двенадцатое
Явление тринадцатое
Явление четырнадцатое
Действие четвертое
Явление первое
Явление второе
Явление третье
Явление четвертое
Явление пятое
Явление шестое
Явление седьмое
Явление восьмое
Явление девятое
Явление десятое
Явление одиннадцатое

Явление двенадцатое

Аннотация

В этом сборнике собраны лучшие образцы творчества именитого драматурга и создателя театральной школы Александра Николаевича Островского: история вынужденного брака по расчету в «Бедной невесте», несчастливого замужества и отчаяния в «Грозе» и бесплодные поиски настоящей любви в нашем несовершенном мире в «Бесприданнице».

Русские писатели своими произведениями всегда доказывали, что за сюжетом и персонажами не надо ходить в другие вселенные: нужно в том месте, где ты живешь, пристально оглядеться и затем точно описать увиденное. Тогда это с удовольствием прочитают и будут ставить в театрах в любой стране и в любом столетии. Что и происходит с пьесами Островского уже более 160 лет. Потому что могут меняться технологии, общественный строй и жизненный уклад, но сам человек, отвечающий себе на вечные вопросы бытия, вполне инертен. А вопросы потому и называются вечными, что ответы

на них найдут еще не скоро. Но попробовать стоит.

Александр Островский
Гроза; Бесприданница



Всемирная литература (с картинкой)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Бедная невеста
Комедия в пяти действиях

Действующие лица

Анна Петровна Незабудки на, вдова небогатого чиновника.

Марья Андреевна, ее дочь.

Владимир Васильевич Мерич} молодые люди, знакомые Незабудкиной.

Иван Иванович Милашин} молодые люди, знакомые Незабудкиной.

Платон Маркович Добротворский, старый стряпчий.

Максим Дорофеевич Беневоленский, чиновник.

Арина Егоровна Хорь ко в а, вдова, мещанка.

Михайло Иванович Хорьков, сын ее, бывший студент.

Карповна, сваха (по купечеству) в платочке.

Панкратьевна, сваха (по дворянству) в чепчике.

Дарья, горничная Незабудкиных.

Мальчик Добротворского.

Официант и разные лица, являющиеся в пятом действии смотреть свадьбу.

Действие первое

Театр представляет комнату; на задней стене две двери: одна в комнаты, другая на улицу; с левой стороны окно, у окна пяльцы, далее фортепьяно; с правой стороны диван и большой круглый стол.

Явление первое

Марья Андреевна (сидит за пяльцами) и Анна Петровна (на диване).

Анна Петровна. Вот тут и живи, как хочешь. Как бы папенька-то твой не мотал без памяти, так бы другое дело было, а то оставил нас почти ни с чем. Дела все запутаны, тут тяжба еще!.. Вот дом-то отнимут, что тогда делать-то? Ты только подумай, как мы тогда жить-то будем!.. А что я! Мое дело женское, да я и не знаю ничего: я сама привыкла за людьми жить. *(Молчание.)* Хоть бы ты замуж, что ль, Маша, шла поскорей. Я бы уж, кажется, не знала, как и бога-то благодарить! А то как это без мужчины в доме!.. Это никак нельзя.

Марья Андреевна. У вас ведь, маменька, уж

один разговор.

Анна Петровна. Что ж такое не говорить-то! От слова-то тебя убудет, что ли? На-ка поди, уж и говорить-то нельзя. Что такое, в самом деле!

Марья Андреевна. Разве я виновата, маменька, что мне никто не нравится?

Анна Петровна. Как это не нравится, я не знаю; это так, каприз просто, Маша.

Марья Андреевна. Какой же каприз, маменька? Кто за меня сватался, вспомните хорошенько, что это за люди?

Анна Петровна. Что ж делать-то, Машенька? Что ж делать-то, друг мой? Где ж нам тебе красавцев-то взять? Нынче хорошие-то женихи всё денег ищут, не хотят видеть, что ты у меня красавица. Куды это я табатерку засунула, уж и не знаю! Посмотри-ка там на столике… Постой, здесь, в кармане. Нет уж, как бы, кажется, тебя не полюбить! Все ветер в голове-то у молодых людей. Да, признаться сказать, ведь и ты-то очень разборчива. А ты подумай, ведь у нас не горы золотые — умничать-то не из чего!

Марья Андреевна. Хорошо, хорошо.

Анна Петровна. Да что хорошо-то?

Марья Андреевна. Я подумаю.

Анна Петровна. Да о чем думать-то, скажи ты

мне, сделай милость. Додумаешься до того, что просидишь в девках.

Марья Андреевна. А что ж за беда такая?

Анна Петровна. Глупа еще ты — вот что. *(Сидит, надувшись. Молчание.)* Что это, ей-богу, хоть бы Платон Маркыч пришел. Уж я и не знаю, что мне делать-то. Вот был чулок, вот где теперь чулок?

Марья Андреевна. Вот, маменька, чулок. *(Подает.)*

Анна Петровна *(вяжет чулок).* Нейдет Платон Маркыч, да и только; что хочешь, тут и делай.

Марья Андреевна. Да зачем вам, маменька, Платон Маркыч понадобился?

Анна Петровна. Как зачем? Что мы знаем тут, сидя-то; а он все-таки мужчина. Буточник бумагу какую-то приносил, кто ее там разберет? Вот поди ж ты, женское-то дело какое! Так и ходишь, как дура. Вот целое утро денег не сочту. Как это без мужчины, это я уж и не знаю, тут и без беды беда. Возьми-ка, Маша, бумажку, да посчитай мне деньги-то, сделай милость.

Марья Андреевна. Говорите, я и так сочту.

Анна Петровна. Постой, Маша. Заторопишь ты меня — я опять собьюсь. Где это бумажка-то у меня? Дай бог памяти… Вот она! Постой — нашла. Вот сочти возьми. Давеча считала, считала на

счетах — либо целкового не хватает, либо два лишних, а уж Дарью лучше не заставляй. Да уж и в голове-то все не то. Дело-то меня беспокоит очень, об доме-то нужно с Платоном Маркычем поговорить. Все-таки мужчина.

Дарья входит.

Явление второе

Те же и Дарья.

Дарья. Барыня, а барыня! От Платона Маркыча мальчик пришел.

Анна Петровна. Позови его сюда.

Дарья уходит. Входит мальчик.

Мальчик. Платон Маркыч кланяться приказали; прислали газеты вчерашние и записочку-с да приказали о здоровье спросить.

Анна Петровна. Господи! Куды это я очки дела? Поищи, Маша, сделай милость.

Марья Андреевна ищет очки.

Марья Андреевна. Да позвольте, маменька, я прочитаю. Я думаю, у вас с Платоном Маркычем секретов нет.

Анна Петровна. Прочитай, Маша! Какие секреты! Я его об деле просила. Вот женское-то дело: ведь и жаль беспокоить Платона-то Маркыча — старый человек, а делать нечего.

Марья Андреевна *(читает).* «Ваше высокоблагородие, милостивая государыня Анна Петровна! Честь имею вас уведомить, что все поручения ваши я исполнил в точности и с удовольствием, и впредь прошу вас таковые возлагать на меня. При сем посылаю вам «Ведомости» вчерашнего числа. Насчет того пункта, о котором вы меня просили, я в названном вами присутственном месте был: холостых чиновников для Марьи Андреевны достойных нет; есть один, но я сомневаюсь, чтобы оный вам понравился, ибо очень велик ростом, — весьма много больше обыкновенного, и рябой…» *(Смотрит с умоляющим видом.)* Маменька!

Анна Петровна. Читай, читай.

Марья Андреевна *(продолжает).* «Но, по справкам моим от секретаря и прочих его сослуживцев, оказался нравственности хорошей и непьющий, что, как мне известно, вам весьма желательно. Не прикажете ли посмотреть в других присутственных местах, что и будет мною исполнено с величайшим удовольствием. Дело ваше, по случаю упущений с вашей стороны, приняло дурной

оборот; но вы, сударыня, не извольте беспокоиться: ибо я нашел весьма знающего человека, который может оным делом руководствовать. О прочем буду иметь честь объяснить вам при личном свидании. Остаюсь, всегда готовый к услугам, Платон Добротворский». Что это вы, маменька, делаете? Посылаете Платона Маркыча по присутственным местам женихов искать! Это уж бог знает что такое!.. И ни слова об этом не скажете; это уж обидно даже. Ах, маменька, что вы со мной делаете! *(Садится к пяльцам.)*

Анна Петровна. Никакой тут обиды нет! Ты, Маша, этого не знаешь, это уж мое дело. Я ведь тебя не принуждаю; за кого хочешь, за того и пойдешь. А это уж мой долг тебе жениха найти. *(Мальчику.)* Кланяйся, милый, Платону Маркычу; скажи, что приказали благодарить; слава богу, мол, здоровы.

Мальчик. Слушаю-с.

Анна Петровна. Поди сюда, я тебе дам записочку Платону Маркычу.

Уходят.

Явление третье

Марья Андреевна *(одна).* Вот всякий день этакий разговор! Как это не надоест маменьке, право. Такая тоска, такая тоска, что не знаешь, куда деться! *(Шьет в пяльцах.)*

Дарья входит.

Явление четвертое

Марья Андреевна и Дарья.

Дарья. О, чтоб вас!

Марья Андреевна. Что ты все сердишься?

Дарья. Да как же, барышня, не сердиться-то! Этакой народ, не поверите! Бегу из лавочки, а тут какой-то дурак остановился на дороге да прямо в глаза и смотрит. Что, говорю, бельмы-то выпучил, чего не видал, на мне ничего не написано. Да как, говорит, на тебя, на красавицу этакую, не посмотреть. Плюнула да и пошла. *(Ищет что-то.)* Вот вечно растеряет, а тут ищи. О чтоб!..

Марья Андреевна. Что ты там ищешь?

Дарья. Да табатерку барыня потеряла… Нашла.

Марья Андреевна. Что, Даша, хороша я?

Дарья. Вы-то? Красавица-раскрасавица.

Марья Андреевна. Давай поменяемся, вот и не будут смеяться над тобой.

Дарья. И, матушка, на что мне красота.

Марья Андреевна. А мне на что?

Дарья. Что это вы, барышня, говорите! Посмотрите-ка, какой молодец в вас влюбится, любо-дорого глядеть; полковник какой-нибудь возьмет.

Марья Андреевна. Где уж, Даша, влюбиться! Маменька говорит, что замуж пора.

Дарья. Что ж! Отчего ж и замуж нейти?

Марья Андреевна. Так зачем же быть красавицей-то?

Дарья. Как это можно, лучше муж будет любить. Вот у соседки две дочери: старшая-то худая такая, как спичка; а младшая-то румяная да гладкая; еще шестнадцати лет нет, а как словно она троих ребят выкормила. Вот мать-то и говорит: боюсь, говорит, старшую-то замуж отдавать, муж любить не станет; вот эту, говорит, любить будет. Затолковалась я с вами, барышня; старуха-то, пожалуй, рассердится. *(Уходит.)*

Явление пятое

Марья Андреевна одна и потом Дарья.

Марья Андреевна. Маменьке легко говорить: выходи замуж! Да за кого я пойду! Я без ужаса себе представить не могу, как выйти за человека, к которому, кроме отвращения, ничего не чувствуешь. *(Задумывается.)* Всякий урод думает, что он вправе посвататься, и даже считает это каким-то одолжением, потому что она, говорят, бедная невеста. Иной просто торгует меня, как вещь какую-нибудь: я, говорит, имею состояние, у вас ничего нет, я вашу дочь за красоту возьму. *(Смотрит в окно, задумавшись.)* Мерич! Вот прекрасно. Идет такой печальный, задумавшись. Желала бы я знать, о чем он думает, уж верно не обо мне. *(Подходит к зеркалу.)* Ах, какая я глупая! Ну с чего я так покраснела вся, и голос дрожит. Надобно немного успокоиться — он, пожалуй, заметит. А что ж такое, мне бы даже хотелось, чтоб он заметил; что бы он стал делать? Ах, какие глупости! Что я вру? Дарья! Дарья!

Входит Дарья.

Поди попроси Владимира Васильевича в сад пройти!

Дарья. Хорошо, барышня. *(Уходит.)*

Марья Андреевна *(поправляется перед зеркалом).* Тут поминутно разные свахи являются, очень приятно смотреть на них! Я-то уж приглядела, а ему, я думаю, очень дико покажется. Ах, как я рада ему, — он так редко у нас бывает…

Дарья *(входит).* Пожалуйте, барышня, он в саду.

Марья Андреевна уходит.

(Стирая пыль с мебели.) Чтой-то у меня за барышня, право… Дай ей бог жениха хорошего! *(Останавливается посредине комнаты с тряпкой в руке.)* Если это рассудить теперь, как это все на свете делается: богат ты, ну и всякий тебя уважает, а беден, так и рыло воротят. Уж это значит, не человек нужен, а богатство. *(Растопыривает руки.)* Мудрено это все делается! *(Взглянув в окно.)* О, чтоб вас! Кого-то принесло. *(Идет к двери.)*

Карповна входит.

Явление шестое

Дарья и Карповна.

Карповна. Даша, здравствуй!

Дарья. Здравствуй, Карповна. Чтой-то ты пропала?

Карповна. Что, душа, — все хлопоты; нет ли чего новенького у вас?

Дарья. Какое новенькое! Откуда ему быть-то. Карповна *(садясь).* Уж и как, девушка, жарко. Дарья. Ишь ты, как расползлась, бог с тобой.

Карповна. А что, девка, ведь и то никак я потолстела. Ты что ж не поправляешься?

Дарья. Ты говоришь: не поправляешься! Да с чего мне поправляться-то? Другое дело, кабы жила я покойно, а то… ах… *(Подходит к ней и говорит вполголоса.)* То есть ты, Карповна, не поверишь, целый-то она день-деньской, как часы заведенные, — и то не так, и другое не по ней — и пошла ворчать, и пошла… Женщина я горячая, ничего на себе не могу перенести, ну и выговоришь; и пошел дым коромыслом… брань да история. То есть, кажется, кабы только не моя привычка к этому дому, как уж седьмой год живу, так я бы ни

одного дня не осталась.

Карповна. Ишь ты, девка! а!.. *(Качает головой.)*

Дарья. Женщина же я горячая; закипит это, закипит, и как вдруг туман в глазах, рада, кажется, горло перервать. Только у меня сердце отходчивое, сейчас как ничего и не бывало, а она все ворчит… То есть, кажется, кабы не моя привычка, как я седьмой год живу… Уж так думаю: ну… *(Махнуврукой.)*

Карповна. В людях жить, душа, кому сладко.

Дарья *(подходит к ней ближе и говорит почти шепотом).* Намедни говорит: такая ты и этакая! Что, говорит, долго в лавочку ходила! Ты с лавочниками якшаешься! Как, говорю, сударыня! Кто меня застал? Нет, говорю, не извольте… Я, говорю, девушка, как есть… ни в чем… Ах, кажется… уж лучше не говорить… *(Помолчавши.)* Барышню поедом съела! Выходи, говорит, замуж… «За кого я, говорит, маменька, пойду?» Да ведь и вправду: ну за кого она пойдет, за какого шута горохового? Уж хоть бы ты, Карповна, ей хорошего жениха нашла.

Карповна. Найтить-то я нашла, да не знаю, как понравится.

Дарья. Я так думаю: офицера бы ей найти. Смотри-ка, мимо нас какие хорошие ездят. Никак

кто-то идет. *(Идет к двери.)*

Входит Панкратьевна.

Явление седьмое

Те же и Панкратьевна.

Панкратьевна. Что, милушка, дома барыня?

Дарья. Дома.

Панкратьевна. Скажи, что Степанида Панкратьев™ пришла.

Дарья уходит.

(Взглянув на Карповну.) Ба, ба, ба… Залетела ворона в высокие хоромы! Ты как сюда попала?

Карповна. А вот как попала, так и попала. Это что еще за спрос такой проявляется!

Панкратьевна. Ишь тебя везде носит! Знала бы свое купечество.

Кар п о в н а. А ты небось с дворянством все знакома; то-то ты хвосты-то и отрепала, по передним-то шлям-шись.

Панкратьевна. Невежа! Я с тобой и говорить-то не хочу.

Карповна. Ха, ха, ха, ха… Ты, что ль, больно вежлива! Ты вот с дворянами водишься, а ходишь

ощипанная да обдерганная, страм смотреть-то; а я с купечеством, да своим домом живу, не хуже кого другого, и в ламбарте есть. Напялила чепчик-то, так и на-поди, думаешь, что тебя и рукой не достанешь!.. Да я коли захочу, так в пол-аршина взбодрю. *(Смеется.)* Еще важней тебя буду!

Панкратьевна. Что с невежей и говорить. Обращения ты никакого не знаешь, — как есть дура, невоспитанная!

Карповна. Вот дура, да почище тебя, никто на ногу не наступит. *(Молчание.)*

Панкратьевна. А вот как узнает Мартын Мартьяныч, зачем ты к ним ходишь, так он тебе форс-то собьет.

Карповна. А зачем я хожу-то? Ну, скажи, зачем?

Панкратьевна. Ну, известно, зачем.

Карповна. Как тебе не знать! Врешь, врешь ты! Тринадцатый год вдовею, ни в чем не замешана. Ты, видно, с больной головы на здоровую.

Анна Петровна входит.

Явление восьмое

Те же и Анна Петровна.

Свахи встают и кланяются.

Анна Петровна. Здравствуйте! Ну что? Что? Говорите скорей.

Обе молчат.

Что вы молчите?

Карповна. Пусть она сначала говорит, у нее благородные.

Анна Петровна. Ну, говори ты, Панкратьевна!

Панкратьевна. Есть у меня два жениха, Анна Петровна, такие кавалеры, что чудо!

Анна Петровна. Какие ж они такие?

Панкратьевна. Служащие, матушка, благородные.

Анна Петровна. Что ж они, с состоянием?

Панкратьевна. Служат, матушка, жалованье получают.

Анна Петровна. Да живут-то они каково?

Панкратьевна. Живут хорошо. Один стихи пишет, другой все поет целый день. А уж какие учтивые, да какие влюбчивые! Как, говорит, увижу хорошенькую барышню, так бы и женился, ни на что не посмотрел.

Анна Петровна. А чины у них какие?

Панкратьевна. Чины небольшие, из себя-то уж больно красавцы.

Карповна. Голь все это, как я посмотрю.

Анна Петровна. Ну, а у тебя что, Карповна?

Карповна. Есть-то у меня, есть, такой туз — не ее женихам чета, да лишнее бревнышко у нас в горнице.

Анна Петровна. Ну, хорошо. Поди, Панкратьевна! Наведайся как-нибудь на днях.

Панкратьевна. Прощайте, Анна Петровна. *(Уходит, свирепо взглянув на Карповну.)*

Анна Петровна. Ах, Карповна, уж кабы ты нам нашла жениха, я бы тебе такое спасибо сказала… Сама ты знаешь, мое дело женское, ничего я не знаю… Как это можно без мужчины!..

Карповна. Так вот, матушка, не было ни гроша, да вдруг алтын. Такой туз, что рукой не достанешь.

Анна Петровна. Кто ж такой — говори, не мучай.

Карповна. Сава Савич Белугин.

Анна Петровна. Что ты! Ведь миллионщик!

Карповна. Миллионщик, миллионщик.

Анна Петровна. Как же это он вздумал?

Карповна. Да что, матушка, дети одолели. Ведь у него дети-то поди-ка какие. Сам-от он в большом доме не живет, знаешь, что с балконом-то. Сыновья-то там запрутся, да и пьют, кранболь у них

там всякий идет. Да что ж выдумали: выскочит это который-нибудь на балкон, глаза вытаращит, руки подымет, закричит страшным голосом да назад; потом, погодя немного, другой, так и прокуратят. Что хорошего!

Анна Петровна *(качая головой).* А-я-яй, а-я-яй!

Карповна. Ну, сама посуди, отец-то смотрит, смотрит…

Анна Петровна *(заглянув в окно и увидав идущую Харькову).* Ну, хорошо, Карповна, спасибо тебе. Сама ты знаешь, мое дело женское… зайди на днях, потолкуем… теперь некогда, — вон Хорькова идет.

Карповна. Зайду, зайду. *(Кланяется и уходит.)*

Входит Хорьков а.

Явление девятое

Анна Петровна и Хорькова.

Анна Петровна. Арина Егоровна! Милости просим! Присядьте!

Хорькова. Я ведь, Анна Петровна, на минуточку, совершенно на минуточку. Вообразите, была в городе — дай, думаю, зайду к Анне Петровне; они хоть и спесивы, никогда нас не навестят, ну

да уж, думаю, зайду.

Анна Петровна. Извините, матушка, все дела, ей-богу, некогда, сами посудите, дело мое женское: везде сама должна. Вот у нас теперь тяжба об доме, так ведь ночи не сплю. Ну, как отнимут, куда я денусь?.. А у меня дочь невеста.

Хорьков а. Вот я, Анна Петровна, благодарю бога. Вы знаете моего Мишу, такой скромный, такой почтительный. Мне, говорит, маменька, нужды нет, что вы женщина простая и необразованная, а я, говорит, образованный человек — я вас люблю и обожаю. Вы представьте, ведь он у меня теперь на линии дворянина. Старостиха наша говорит мне намедни: «У вас такой сын, Арина Егоровна, такой сын, что мы, говорит, все завидуем: скромный, почтительный, и никаких, говорит, шалостей за ним не слыхать. Что, говорит, вы его, Арина Егоровна, не жените?» А я думаю себе: понимаю, куда ты метишь. У нее, представьте, три дочери, и она помногу денег дает за ними; только девушки, я вам скажу, без всякого образования; хоть я и сама женщина необразованная, но очень хорошо могу понимать это. Прихожу домой, говорю: «Миша! Не хочешь ли, друг мой, жениться; мне, говорю, от богатых невест отбою нет, все, говорю, друг мой, в тебя,

за твою кротость и образование, влюбляются. Я, говорю, с тебя, друг мой, воли не снимаю — ты сам умнее меня и образованнее; а когда ты задумаешь, открой, говорю, мне свои мысли, я тебе найду невесту». — «Хоть я, говорит, маменька, и образованный человек, но я завсегда предпочитаю с вами об деле разговаривать». — «Всякая, говорю, девушка за тебя пойдет с радостию, есть, говорю, у меня для тебя невеста и с богатством, и с красотой». Миша меня, представьте себе, обнял и говорит мне: «Милая маменька, не в богатстве счастие, все, говорит, это тлен. Сходите, говорит, к Анне Петровне: я их уважаю; какое они обо мне мнение имеют; душевное, говорит, мое есть желание понравиться Марье Андревне».

Анна Петровна. Покорно вас благодарю, Арина Егоровна! Мне самой ваш сын очень нравится. Я все к вам думала побывать, да памяти нет: совсем и забуду, как забуду. Вы знаете мое душевное желание видеть Машеньку замужем поскорее; все средства употребляю, чтобы ей хорошего человека найти. Я, признаться вам сказать, смолоду была женщина избалованная: при муже, при покойнике, как за каменной стеной жила, ни во что не входила, а теперь, сами видите, маюсь, маюсь — разломит всю. Как это без мужчины в

доме, посудите? Женщина я слабая, сырая, позабывчивая. Кабы мне ее с рук сбыть, я бы была гораздо покойнее.

Хорьков а. Чего ж думать, Анна Петровна. Мишу моего вы знаете с хорошей стороны; в обществе он, по своему званию, превозвышен. Я, конечно, женщина простого звания, но совсем не тех понятий: я довольно далека от этого круга и довольно облагорожена в своих чувствах.

Анна Петровна. Я принуждать Машеньку не могу — это ее воля. Вы скажите Михаилу Иванычу, чтобы он постарался понравиться Машеньке, — я буду очень рада.

Хорьков а. Он у меня такой застенчивый, всего боится. Странно, я говорю ему, Миша, ты человек образованный, а такой застенчивый; чего тебе, друг мой, с твоим умом и образованием бояться? — всякая девушка с радостию тебя полюбит. Так уж вы мне позвольте его обнадежить, Анна Петровна.

Анна Петровна. Скажите ему, что я с своей стороны согласна и переговорю об этом с Машенькой.

Хорьков а. Покорно вас благодарим, мы будем надеяться. *(Молчание.)* Какой миленький чепчик на вас; почем вы брали ленточки?

Анна Петровна. Уж и не спрашивайте — память ведь у меня плоха; кажется, по восьми, не то по семи гривен.

Хорькова. Миленький, очень миленький… Вы мне одолжите выкроечку вашей визитки, хочется черный муаре сделать. Вот, представьте себе, так и сплю и вижу — непременно черный муаре.

Анна Петровна. Куда это я ее засунула? Спросить у Дарьи надобно. Вот кабы Машенька замуж вышла, уж я к свадьбе-то бы себе какую-нибудь на Кузнецком мосту заказала, понарядней.

Хорькова. Не советую, Анна Петровна, не советую. У меня есть знакомая портниха, она вам сделает просто и благородно. Я женщина простого звания, а люблю одеваться со вкусом и чтобы все было благородно. Мне Миша всегда говорит: «Вам, говорит, маменька, удивляться надобно, какой вы имеете вкус и рассудок. Я, говорит, вас люблю и уважаю; мне, говорит, нужды нет, что вы не получили никакого образования». Прощайте, Анна Петровна, поищите мне выкроечку.

Анна Петровна *(встает).* Пойдемте, она, должно быть, у меня в комнате; поищемте вместе.

Идут к двери. Милашин входит.

Явление десятое

Те же и Милашин.

Милашин. Здравствуйте, Анна Петровна!

Анна Петровна. Здравствуйте, Иван Иваныч! Машенька, должно быть, в саду гуляет.

Милашин подходит к окну.

Хорькова *(осматривает Милашина).* Кто это, Анна Петровна?

Анна Петровна. Милашин, Иван Иваныч.

Хорькова. Ну, это вашей дочке не жених.

Анна Петровна. Какой жених!

Уходят.

Явление одиннадцатое

Милашин *(один у окна).* Что это! Мерич опять здесь! Ну, так и есть. Я этого и ожидал. Черт возьми, это досадно! Нет, я этого не позволю. *(Ходит по комнате.)* Сколько времени я все силы употребляю, чтоб ей понравиться, бьюсь, бьюсь — и все ничего; а тут какой-нибудь… Я решительно не могу видеть, как она с ним любезничает. Как

бы мне его выжить отсюда! Жениться на ней? Так она за меня не пойдет, потому что мне жить нечем, да и, кажется, она не любит меня. Да из чего ж я бьюсь? Просто уйти, бросить и не обращать внимания. Но, однако же, надобно ей дать почувствовать. Надобно ей сказать: «У вас теперь, Марья Андреевна, есть новые знакомые, с которыми вам веселей, чем со старыми; но вы теряете друга, который был вам предан». Она, конечно, будет меня уговаривать, а я ей: «Нет, скажу, коли у вас есть лучше, так уж что же мне здесь делать; может быть, я вам уж надоел; прощайте, скажу… навсегда». — «Но зачем же навсегда, Иван Иваныч?» — «Нет, скажу, если прощаться, так навсегда, у меня такой характер». Взять шляпу и уйти… Ну, что ж потом! А, черт возьми! Она еще, пожалуй, будет рада, что я ушел, а Мерич и подавно! Так нет же, останусь, назло им; буду ходить каждый день, буду в глаза смеяться над Меричем: уж как-нибудь да я его выживу отсюда!.. Я на всякое средство решусь!.. *(Ходит по комнате.)*

Входят Марья Андреевна и Мерич.

Явление двенадцатое

Милашин, Мерич и Марья Андреевна.

Марья Андреевна. Здравствуйте, Иван Иваныч! Что, ушли свахи?

Милашин. Кажется, ушли; мне навстречу две попались.

Марья Андреевна. Как это скучно! *(Стоит, задумавшись.)* Заходите к нам, Владимир Васильич, почаще. Обещайте.

Мерич. Смею ли я ослушаться, когда вы приказываете. Только я вам повторяю, Марья Андревна, я вас боюсь.

Марья Андреевна. Полноте шутить-то!

Милашин делает гримасы довольно заметно.

(Милашину). Что с вами: вы нынче как будто не в духе?

Милашин. Так-с, у меня что-то голова болит.

Мерич. Голова болит! Это нехорошо. Вы лечитесь. Прощайте, Марья Андревна, засвидетельствуйте мое почтение маменьке.

Марья Андреевна. Когда же вы к нам?

Мерич. Завтра, если можно.

Марья Андреевна. Очень можно! Так завтра. Я буду ждать.

Мерич. Непременно. *(Уходит.)*

Марья Андреевна подходит к двери.

Марья Андреевна. Смотрите же, не обманите.

Мерич *(за сценой).* Честное слово!

Явление тринадцатое

Марья Андреевна и Милашин.

Милашин. Что это он с вами говорил в саду, Марья Андревна?

Марья Андреевна. А вам какое дело? Вы очень любопытны.

Милашин. Извините, Марья Андревна, я думал, что у вас с Меричем нет особенных секретов. Я не знал… Может быть, это что-нибудь такое, чего и сказать нельзя.

Марья Андреевна. Может быть.

Милашин *(после непродолжительного молчания).* Скажите, Марья Андревна, за что вы меня не любите?

Марья Андреевна. Полноте, что вы! За что мне вас не любить?

Милашин. Конечно, я не так хорош, как Мерич; не бываю в обществе; не говорю по-французски. Нынче эти качества очень ценят. Будь глуп, как пробка, только умей любезничать, болтать… Вот что нынче нравится. Это смерть досадно!

Марья Андреевна. Вы очень любезны.

Милашин. Вы меня извините, Марья Андревна, а я говорю правду; я не виноват, если это вам не нравится… Чем я хуже какого-нибудь Мерича? Если б я захотел, я бы мог во сто раз быть лучше его. Мальчишка! Нигде не учился; выучился только болтать по-французски в каком-то пансионе. Я, по крайней мере, в гимназии курс кончил. Как он смеет смеяться надо мной! Ничего не делает, только числится на службе, чтобы первый чин получить. Что у него отец-то богат, так невелика важность!

Марья Андреевна. Что он вам мешает?

Милашин. Да помилуйте, самый пустой человек!

Молчание.

Марья Андреевна. Послушайте, Иван Иваныч, вы влюблены в меня?

Милашин в смущении.

Бедный, мне вас жаль! Извините вы меня…

Милашин. Пожалуйста, не жалейте! Что ж делать, насильно мил не будешь. Осчастливьте того, кто достойнее меня!

Дарья *(входит с самоваром).* Матушка барышня, Платон Маркыч пришел.

Милашин. Очень кстати!

Марья Андреевна. Отчего ж не кстати?

Милашин. Да так, я его не люблю что-то.

Марья Андреевна. Вы, кажется, никого не любите.

ВходятАнна Петровна с Добротворским.

Явление четырнадцатое

Те же, Анна Петровна и Добротворский.

Добротворский. Так вот, сударыня, дело-то какого роду.

Анна Петровна. Понимаю, понимаю, Платон Маркыч. *(Садится к столу и наливает чай.)*

Добротворский. Здравствуйте, матушка барышня, что это вы невеселы?

Марья Андреевна. Да чему же мне радоваться-то, Платон Маркыч?

Добротворский. Да и то правда. Неурожай нын-

че, барышня, на женихов-то неурожай.

Анна Петровна. Чаю не угодно ли?

Добротворский. Выпью-с. Не с чего невестам веселым-то быть. Ну, да уж для вас, матушка барышня, постараюсь отыскать хорошего — будете благодарить. Я еще папеньку вашего знал покойного: благодетель для меня был. Так уж не извольте беспокоиться, постараюсь. Пожалуйте ручку.

Марья Андреевна. Нет, зачем, Платон Маркыч!

Добротворский. Ничего-с, пожалуйте. *(Целует РУКУ-)*

Анна Петровна. Подвигайтесь, Платон Маркыч, сюда поближе.

Анна Петровна и Добротворский садятся с одной стороны стола, а Марья Андреевна и Милашин с другой.

Добротворский. Слушаю, сударыня! Народ-то нынче, я говорю, сударыня, поизветреничался, женихов-то трудно искать. В наше-то время, когда мы-то были молоды, бывало, чуть мальчик пооперится, поступит на службу, глядишь — женится. Тогда, сударыня, Анна Петровна, холостых-то что-то мало было и видно, а у нас в суде, так, поверите ли, ни одного холостого чиновника

не было. А нынче как живут молодые люди, так только дивиться надо. А уж это непорядок.

Анна Петровна. Какой уж это порядок! Что хорошего! Ох, да никак я вам сахару-то забыла. Что, Маша, положила я сахару Платону Маркычу?

Марья Андреевна. Положили, маменька.

Добротворский. Что вы, сударыня, изволите говорить?

Анна Петровна. Говорю, что хорошего, — нехорошо.

Добротворский. Нет, как можно, что хорошего! В наше-то время совсем не так было. Вот оно и невестам-то веселей было: долго-то не засиживались; разве уж которая с каким-нибудь недостатком телесным, горбатая там какая, да и теми не брезгали. Вот у моей у невестки, сударыня, шесть пальцев было на правой руке, мать-то все ахала, что, говорит, не возьмут…

Анна Петровна. Скажите!

Добротворский. Хороший человек взял — и ничего. Так я и говорю, сударыня, что невестам-то веселей было, задумываться-то было не о чем.

Марья Андреевна. Да я совсем об этом и не думаю.

Добротворский. Как, чай, не думать, барышня! Не скажете только, а то как не думать! Конечно,

дело девичье: этого не говорят, как будто от совести; а то как не думать, все думают. Так ли я, сударыня, говорю?

Анна Петровна. Так, Платон Маркыч, так, уж что толковать! Не хотите ли еще чашечку?

Добротворский. Пожалуйте. Вот, матушка барышня, и ваша маменька то же говорит. *(Говорит потихоньку с Анной Петровной.)*

Милашин. Дурак!

Марья Андреевна. За что вы его браните?

Милашин. Он вас совсем не понимает! Он думает, что вы так же о женихах хлопочете, как невестка его, у которой было шесть пальцев.

Марья Андреевна. А пусть его думает, что хочет; он очень добрый человек.

Милашин. Однако что они там шепчут?

Марья Андреевна. Что-нибудь о своих делах.

Добротворский/^олголош/ Прекрасный, сударыня, человек, и молодой еще, очень молодой. Он секретарь.

Анна Петровна. Что?

Добротворский *(громче).* Секретарь, говорю. Чин небольшой — да место хорошее. Всего у него в доме много, лошади свои.

Анна Петровна. Что? Не слышу.

Добротворский. Лошади свои.

Марья Андреевна. Что такое он говорит?

Милашин. Это что-то интересно.

Анна Петровна. Послушай-ка, Машенька, Платон Маркыч какое нам одолжение делает: нашел человека, который хочет взяться за наше дело. Говорит, что очень хороший молодой человек.

Добротворский. Прекрасный, барышня, человек; а уж делец какой — беда!

Анна Петровна. Никак я про вас-то и забыла, Иван Иваныч. *(Наливает ему чай.)* А не пьет он, Платон Маркыч?

Добротворский. Как, чай, не пить, да, должно быть, немного: кабы много пил, так бы слышно было.

Анна Петровна. Вот, Машенька, хорошо, кабы ты ему понравилась.

Марья Андреевна. Да вы, маменька, опять за свой разговор.

Анна Петровна. Ах, боже мой! Что ж такое за важность! Ты ведь его еще не видала; посмотришь, может быть, и самой понравится.

Добротворский. Мы, сударыня, с ним к вам приедем.

Анна Петровна. Ах, Платон Маркыч, как я вам благодарна! Уж я, право, не знаю, как вам это и выразить. — Сами видите, наше дело женское,

что мы знаем. Так только маешься.

Добротворский. И, сударыня, что это вы говорите! Я вашему супругу покойному много обязан был…

По гроб не забуду. Благодетель мне был, дай ему, господи, царство небесное, место покойное. Чем же мне ему заплатить-то? Ну, стар стал, не на все ума хватает.

Марья Андреевна *(встает).* Вы слышали, Иван Иваныч?

Милашин *(встает).* Слышал. Это ужасно!

Марья Андреевна. Вот это у нас вечно такой разговор.

Милашин. Я не знаю. Я не могу прийти в себя. Одна мысль, что вы когда-нибудь будете принадлежать другому, убивает меня. Я, кажется, этого не перенесу.

Марья Андреевна. Вы все о себе. Вы обо мне-то подумайте хоть немножко.

Милашин. Что же об вас-то! Вы посмотрите, может быть, он вам понравится. Вы будете счастливы. — Что ж! Я готов пожертвовать даже жизнию, чтобы вы были счастливы.

Марья Андреевна. Это что такое! Полноте, перестаньте. Пойдемте в сад.

Уходят.

Добротворский. Так мы завтра приедем, сударыня. Об деле потолкуем, да он Марью Андревну посмотрит. Может, она ему и понравится. Вот два дела разом и сделаем.

Анна Петровна. Хорошо бы, Платон Маркыч, очень хорошо. Тяжба-то эта у меня из головы нейдет, — ночи ведь не сплю. Ну, как дом-то отнимут, куда я денусь? Да и Машеньку-то уж пора выдавать, право, пора.

Добротворский. Чего, матушка, ждать! Самое время. Покорно благодарствуйте, сударыня! *(Перевертывает чашку.)* Прощенья просим.

Анна Петровна. Прощайте, Платон Маркыч; так мы ждать будем.

Добротворский. Хорошо-с.

Уходят.

Действие второе

Сцена представляет небольшой тенистый сад: направо от зрителей скамейка, сзади которой большой куст. Хорьков сидит на скамейке, повеся голову.

Сцена I
Явление первое

Хорьков. Ушел, струсил! Какой я жалкий человек! Однако что я делаю, наконец! За что же я гублю себя? Вот уж три года, как я кончил курс, и в эти три года я не сделал ровно ничего для себя. Меня обдает холодом, когда я вспомню, как я прожил эти три года! Лень, праздность, грязная холостая жизнь — и никаких стремлений выйти из этой жизни, ни капли самолюбия! Для себя я ни на что не решусь, я это знаю. В ней мое единственное спасение, а я не смею сказать ей, что люблю ее. Нет, надобно кончить! Неужели она не сжалится надо мной? Для нее я бы стал работать, трудиться; она одна только способна привязать меня к жизни. *(Садится.)* Боже мой, как я люблю

эту девушку! Как я люблю ее!

Хорькова входит.

Явление второе

Хорьков и Хорькова.

Хорькова/*садясь на скамейку).* Как это тебе, Миша, не стыдно! Зачем ты ушел? Только что я стала выражать Марье Андревне, как ты их любишь и как ты об них относишься, ты сейчас и бежать… Я необразованная женщина, да никогда не конфужусь, а ты всего конфузишься.

Хорьков. Ах, маменька! Не говорите, сделайте милость, обо мне с Марьей Андревной! Я сам поговорю. Вы и так про меня всегда бог знает что рассказываете.

Хорькова. Да, дождешься тебя! Странно это, Миша, ты человек образованный…

Хорьков. Да, маменька, я образован, у меня сердце доброе; кроме этого я знаю, что со мной она будет счастлива, что только я один могу оценить ее, что она погибнет в этом кругу жертвой расчета или невежества… но я боюсь, что она мне откажет.

Хорькова. Ах, боже мой! Свет-то не клином

сошелся — найдем другую.

Хорьков. Где я найду другую? Хорошо, что случай свел меня с Марьей Андревной, я ее узнал, полюбил… Да поверьте же вы мне, что я так люблю Марью Андрев-ну, что никого не могу видеть, кроме ее… Я и не думал, что так могу полюбить. Я измучился в последнее время… Вы видите, я плачу… Я не могу жить без нее.

Хорькова. А коли любишь, так откройся — это всегда так делают.

Хорьков. Я поговорю с ней, непременно поговорю: надобно же чем-нибудь кончить… А что, если она мне откажет? Теперь, по крайней, мере есть надежда, есть мечты, а тогда что?

Хорькова. Странно это, Миша: ты человек образованный, а что ты делаешь, как погляжу я на тебя. Никакого ты знакомства не имеешь, делом не занимаешься, валяешься дома в халате с трубкой. Вот теперь влюбился, а сказать боишься. Ты посмотри, как другие-то образованные люди живут: барышни за ними сами ухаживают… Вот, кажется, Марья Андревна сюда идет.

Хорьков. Маменька! Ради бога, не говорите ни слова!

Хорьков а. Сделай милость, не учи! Я хоть женщина и необразованная, а умею себя вести.

Марья Андреевна входит.

Явление третье

Те же и Марья Андреевна.

Хорькова *(встает).* Погулять вышли?

Марья Андреевна. Да, немножко освежиться. *(КХарькову.)* Вы что здесь делаете?

Хорьков. Так-с, мечтаю…

Хорькова. Он у меня все тоскует.

Марья Андреевна. Об чем?

Хорькова. Влюблен, должно быть: я так замечаю по его словам.

Хорьков. Маменька!

Хорькова. Посмотрите, как страдает: право, мне на него даже тяжело смотреть.

Хорьков. Маменька! Ах, боже мой!

Марья Андреевна. Право, мне не верится. В кого же влюблен Михайло Иваныч?

Хорькова. Уж это извольте спросить сами. Миша!

(Делает, ему знак и уходит.)

Явление четвертое

Хорьков и Марья Андреевна.

Марья Андреевна *(садясь подле Хорькова).* Что вы такие скучные? Вы в самом деле влюблены?

Хорьков. Да, я не знаю, что со мной делается.

Марья Андреевна. А я так плачу нынче целое утро.

Хорьков. Об чем же вы плачете?

Марья Андреевна. Маменька все с женихами пристает. Какой-то купец старик, да нынче еще чиновник приедет. Как вам это покажется?

Хорьков. Это ужасно!

Марья Андреевна. Да и к тому же, Михайло Иваныч, — я с вами буду говорить откровенно, потому что мы очень дружны с вами. Не правда ли? *(Протягивает ему руку.)*

Хорьков *(берет ее руку).* Говорите, говорите.

Марья Андреевна. Я сама влюблена немножко.

Хорьков *(встает быстро).* Вы?

Марья Андреевна. Что вы так испугались? Не бойтесь, не в вас.

Хорьков *(садится).* Нет-с. Я так, извините.

Марья Андреевна. Как вы испугались! А вы

думали, что в вас? Не бойтесь, не бойтесь: я не потревожу вашей солидности. *(Молчание.)* Вот какое мое положение, Михайло Иваныч. Что вы мне посоветуете?

Хорьков. Я-с? Я решительно ничего.

Марья Андреевна. Я теперь не могу ни за кого идти… Неделю прежде я бы пошла, если бы нашелся хороший человек.

Хорьков. Неужели ни за кого?

Марья Андреевна. Решительно ни за кого.

Хорьков. А если б я за вас посватался? *(Принужденно смеется.)* Я шутя вас спрашиваю.

Марья Андреевна. И за вас бы не пошла. Я с вами дружна, а любить вас не могу.

Хорьков *(с возрастающим волнением).* А как бы я любил вас! Как бы я старался угождать вам! С какой бы готовностью исполнял малейшее ваше желание! С какой бы благодарностью я принимал каждую вашу ласку!

Марья Андреевна *(взглянув на него).* Вы шутите?.. Впрочем, если бы вы посватались, мне все-таки было бы не так тяжело: я вам могу откровенно сказать, что вас не люблю, и вы не обидитесь, а другие еще обижаются.

Хорьков. Да, да, конечно. *(Молчание.)*

Марья Андреевна. Что, каков человек — Ме-

рич?

Хорьков. Мерич?

Марья Андреевна. Да, Владимир Васильич.

Хорьков. Не знаю, Марья Андревна, что вам сказать; право, не знаю.

Марья Андреевна. То есть вы не хотите. Однако прощайте: мне пора к маменьке. *(Уходит.)*

Хорьков. Ия, дурак, мечтал о счастии!.. Боже мой, боже мой!.. *(Сидит, закрывши лицо руками.)*

Милашин и Мерич входят.

Явление пятое

Хорьков, Милашин и Мерич.

Мерич. Что нынче здесь за праздник? Дарья такая нарядная; так разрядилась, что смотреть не хочет. Бегает взад и вперед с крахмальными юбками.

Милашин. Гостей ждут.

Мерич. Каких же это гостей?

Милашин. Приедет какой-то чиновник по делу Анны Петровны. Да его, кажется, прочат в женихи Марье Андревне. Это ужасно досадно!

Мерич. Что же вы не женитесь на Марье Андревне?

Милашин. Я-с? По самой простой причине. Нам будет жить нечем: у меня нет состояния, у нее также.

Мерич. А любовь? С милым рай и в шалаше. Мне кажется, что она вас любит.

Милашин. Может быть! Да-с, может быть! Разве вы что-нибудь заметили?

Мерич. Нет, я нарочно, Иван Иваныч, — она вас не любит.

Милашин. Почему же вы так думаете?

Мерич. Я не думаю, а наверное знаю. Она мне сама сказывала.

Милашин. Это странно, что Марья Андревна так говорит. Это обидно даже. Мне, конечно, все равно: любит ли она меня или нет, я на это никакого внимания не обращаю. Я сам к ней совершенно равнодушен. Да зачем говорить? Этим она хочет показать, что я за ней ухаживаю. Нет, уж я предоставлю это другим.

Мерич. И прекрасно! И я бы на вашем месте то же сделал. Однако это жалко, если она выйдет замуж: она такая хорошенькая. Мне всегда жаль, когда хорошенькие девушки замуж выходят. Вам не жаль?

Милашин. Нет, не жаль.

Мерич. Софи Барашкова тоже недавно вышла

замуж. Вы ее не знали?

Милашин. Нет, не знал.

Мерич. Мы были очень привязаны друг к другу. Вам я могу признаться, Иван Иваныч, вы, конечно, никому не скажете: она меня очень любила. Вот, посмотрите, какое она мне письмо написала перед свадьбой. *(Вынимает.)* Хотите прочесть?

Милашин. Зачем же я буду читать чужие письма?

Мерич. Как хотите! *(Прячет опять.)* Я надеюсь, что вы никому не скажете. Марья Андревна, вероятно, в комнатах, — я пойду к ней! *(Уходит.)*

Явление шестое

Милашин и Хорьков.

Хорьков. Иван Иваныч!

Милашин. А, вы здесь! Я вас и не заметил.

Хорьков. Что, этот Мерич часто здесь бывает?

Милашин. Прежде редко бывал, а теперь опять стал каждый день ходить.

Хорьков. Это дурно.

Милашин. Да вы представьте мое-то положение: каждый день ходит, черт знает, зачем!

Хорьков. Да вам-то что ж?

Милашин. Нет, как хотите, Михайло Иваныч, это мне ужасно неприятно.

Хорьков. Тут не об вас толк. Он может иметь очень дурное влияние на Марью Андревну. Я его давно знаю. Он еще мальчишкой был, сам к себе письма писывал да хвастался товарищам в пансионе, что от барышень получает. Если вы имеете влияние на Марью Андревну, так вы ее предостерегите: мне будет очень жаль, если она поверит этому пустому человеку.

Милашин. Хорошо, Михайло Иваныч. Покорно вас благодарю, что вы мне открыли глаза насчет этого человека. Я ей непременно скажу.

Хорьков. Да поверит ли она вам?

Милашин. Поверит, непременно поверит: она меня очень любит.

Хорьков. Едва ли, Иван Иваныч! Мне кажется, что она вас совсем не любит.

Милашин. Отчего вы так думаете? Разве я хуже других? Нет, уж извините! Вы меня не знаете: меня тоже женщины очень любят.

Хорьков. Ну, положим, что так. Только надо сделать поумнее, чтобы Марья Андревна не подумала, что мы из ревности хлопочем. Эх, не хочется мне с ним связываться-то только, а то бы я его сразу выгнал отсюда.

Милашин. Хотите, я это сделаю? Я буду в глаза смеяться над ним.

Хорьков. Из этого ничего не выйдет; Марья Андревна на вас рассердится, и только. А впрочем, что нам за дело, пусть их как хотят! *(Молчание.)* Чудак этот Мерич! Мне случайно попалась тетрадка из его дневника да несколько писем, которые он писал нашей соседке, а та отдавала мужу, — уж чего там нет!

Милашин. Одолжите мне этих писем на время.

Хорьков. На что они вам? Пожалуй, возьмите.

Милашин. Покорно вас благодарю! *(Берет его за руку.)* Вы меня очень обязали.

Хорьков. Да за что вы меня благодарите: я стараюсь об Марье Андревне, а не об вас, потому что очень люблю ее и принимаю в ней большое участие.

Милашин. И я люблю…

Хорьков. Я верю. Мерич может очень много вреда сделать Марье Андревне. Он человек совершенно без правил.

Милашин. Дай мне ужасно надоел: старается очернить меня в глазах Марьи Андревны, мешает мне.

Хорьков. Пойдемте домой, Иван Иваныч; нам, кажется, нечего здесь делать.

Милашин. Нет, мне нельзя уйти; мне надобно здесь остаться. Марья Андревна, пожалуй, рассердится, что я ушел.

Хорьков. Не беспокойтесь, не рассердится; ей теперь не до вас: нынче Анна Петровна ждет какого-то чиновника, которого она хочет просить о своем деле. Что вы будете здесь делать?

Милашин. Пожалуй, пойдемте.

Уходят. С другой стороны выходят Мерич и Марья Андреевна.

Явление седьмое

Марья Андреевна и Мерич.

Мерич. Прощайте, Марья Андревна.

Марья Андреевна. Куда вы? Мне будет скучно одной; посидимте здесь немножко.

Садятся.

Мерич. Я слышал от Милашина, Марья Андревна, что вам сватают какого-то жениха.

Марья Андреевна. Да, Владимир Васильич, поминутно сватают то одного, то другого.

Мерич. И вы пойдете?

Марья Андреевна. Не знаю; но что же мне делать? Надо же выйти замуж.

Мерич. Ну, я с своей стороны не вижу никакой необходимости; разве вас что-нибудь заставляет?

Марья Андреевна. Много причин. Вы не знаете наших обстоятельств.

Мерич. Но, боже мой, неужели это так необходимо?

Марья Андреевна. Маменька говорит, что необходимо.

Мерич. Это ужасно! Пожертвовать собой! Что вы делаете, Марья Андревна! Вы созданы для того, чтобы любить и быть любимой. Красотой должны любоваться все. Вы не имеете даже права отнять у нас это наслаждение и на всю жизнь отдаться одному человеку.

Марья Андреевна. Вы все шутите!

Мерич. Нет, не шучу. Вы рассудите, Марья Андревна, что это за жизнь! Одна минута истинной любви дороже такой жизни… Ну, в деле сердца я бы не послушался маменьки. Для маменьки вы хотите губить свое счастие и счастие других. Какой еще вы ребенок!

Марья Андреевна. Да, если б это счастие было возможно для меня! А то мне нечего жалеть, нечего ждать! Меня никто не любит, я тоже никого не люблю.

Мерич. Вы никого не любите?

Марья Андреевна. Никого.

Мерич. И вас никто не любит?

Марья Андреевна. Мне кажется.

Мерич. В таком случае другое дело. Но все-таки страшно пожертвовать собой расчетам других.

Марья Андреевна. Что ж делать-то! Я буду выбирать такого человека, который, имея состояние, удовлетворял бы несколько и моим требованиям.

Мерич. Откуда в вас такая положительность, такие практические правила?

Марья Андреевна. Нужда научит.

Мерич. Если вы решились, я не хочу поколебать вашей решимости; она делает вам честь. Но что, если б вы полюбили кого-нибудь, если б вам случилось встретить человека, который вас любит пламенно, со всем пылом юношеской страсти?

Марья Андреевна. Я не знаю, Владимир Васильич, но едва ли это случится когда-нибудь.

Мерич *(меланхолическим тоном).* Теперь, когда уж дело кончено, когда вы соглашаетесь пожертвовать собой для вашей маменьки, что, разумеется, очень похвально, я могу вам сказать, что я вас любил, Марья Андревна, любил страстно; я вас до сих пор люблю так, как никто вас

любить не будет!

Марья Андреевна. Вы меня не обманываете, Владимир Васильич?

Мерич. О нет, нет…

Марья Андреевна. Вы меня не обманываете?

Мерич. Все клятвы, какие я знаю…

Марья Андреевна. Не нужно, не нужно… Ах, Владимир Васильич! Не обманывайте меня, ради бога! Вам так легко меня обмануть — я сама вас… люблю…

Мерич. Ангел мой! Я не верю своему счастию… Зачем же слезы! Марья Андревна! Машенька! Мери! *(Целует руку.)* Ну, взгляни на меня. Ты хороша! Ах, как ты хороша в эту минуту! Я бы желал, чтобы теперь весь свет тебя видел с этими слезами на глазах.

Марья Андреевна. Я, кажется, дурно сделала, что призналась вам.

Мерич. Отчего же дурно? Тебе совестно, что у тебя есть сердце, что ты выше всех этих бесчувственных кукол, которые хвастаются тем, что не любили никогда. Я могу оценить твою любовь.

Марья Андреевна. Я надеюсь. *(Припадает к нему.)* Ах, не смотри на меня, я, право, такая глупая; я думала, что у меня достанет твердости скрыть мою любовь.

Мерич. Да зачем же скрывать ее?

Марья Андреевна. Да, теперь уж, конечно, незачем. Напротив, теперь я хотела бы тебе вдруг открыть свою душу, чтобы ты знал, как много я люблю тебя.

Мерич. Зачем? Ты и так для меня дороже всего на свете.

Марья Андреевна. Нет, Владимир, нет, ты так меня не любишь, как я тебя люблю. Ты для меня все теперь, все, все! Ты веришь моим словам?

Мерич. А ты моим веришь?

Марья Андреевна. Не знаю: и хочется верить, и боюсь… С твоей стороны будет безжалостно обмануть меня.

Мерич. К чему эти черные мысли! Посмотри, вся природа нам улыбается.

Сидят несколько времени молча.

Марья Андреевна. Ах, боже мой, я и забыла: нынче к нам хотел приехать чиновник какой-то. Маменька так хлопочет, велела мне одеться хорошенько.

Мерич. Уж не жених ли какой-нибудь?

Марья Андреевна. Не знаю. Ты, впрочем, не беспокойся. Я скажу маменьке, что не нравится… Уж как-нибудь сделаю.

Мерич. И скоро будет?
Марья Андреевна. Я думаю, скоро.
Мерич. Так я пойду, прощай.

Встают со скамейки.

Марья Андреевна. Прощай. Когда же ты придешь? Приходи завтра поутру, маменьки не будет дома.
Мерич *(целует ее).* Приду, приду. Прощай! *(Уходит.)*

Явление восьмое

Марья Андреевна I, *прислонившись к дереву).* Он ушел! Хорошо ли я сделала? Мне и стыдно, и весело. Что, если это только шалость с его стороны? Боже мой, как мне совестно за себя! *(Молчание.)* А если он любит в самом деле? Он всегда такой скучный, печальный. Он говорит, что до сих пор постоянно обманывался в женщинах. Ах, как бы мне хотелось знать, любит ли он меня… а я его очень люблю. Чего я для него не сделаю!., все, все, все!.. *(Стоит, закрывши лицо платком.)*

Входит Дарья.

Явление девятое

Марья Андреевна и Дарья.

Дарья. О, чтоб вас! Сбилась с ног нынче день-то деньской… Барышня, а барышня! Где вы тут?

Марья Андреевна. А! Что?

Дарья. Ищу, матушка, засовалась совсем, как угорелая кошка. Кто-то приехал, маменька вас спрашивает.

Марья Андреевна. Приехал! Ах, боже мой!

Дарья. Пойдемте, я вам головку причешу, да и платьице-то бы другое надели.

Марья Андреевна. Пойдем, пойдем.

Уходят.

Сцена II

Комната первого действия.

Явление десятое

Добротворский и Беневоленский входят.

Добротворский. Пожалуйте, Максим Дорофеич, пожалуйте. Признаться сказать, вас не ждали так рано. Поторопились, батюшка, раненько пожаловали. Ну, известно, женское дело. Повремените маленечко.

Беневоленский. Ты говорил, что здесь есть барышня хорошенькая. Ты смотри — я ведь разборчив.

Добротворский. Нет, как же можно, помилуйте, Максим Дорофеич. Такая барышня, что генералу взять не совестно. Я еще с папенькой ихним был знаком…

Беневоленский. А хорошо ли она образованна?

Добротворский. Отлично образованна.

Беневоленский. То-то же. Ты ведь знаешь меня, Платон Маркыч, у меня и состояние есть, и место, ну и знакомство. Мне такую невесту нужно, чтобы не стыдно было в люди показать: ну, чтоб и хозяйка в доме была, знаешь, в этаком чепчике, по-нынешнему, чтобы принять кого-нибудь… Ну, чтобы и тон этакий светский. Понял ты меня?

Добротворский. Как не понять! Уж, конечно, что вам за крайность на дурной жениться, сами-то вы ишь какой молодец! Ах, батюшка, голубчик! *(Треплет его по спине и потом кланяется.)*

Беневоленский. Ну, то-то же. Что, манишка у

меня тут вот сзади не выбилась?

Добротворский. Нет-с, ничего — в исправности. Причесаться вам разве не угодно ли — вот гребеночка.

Беневоленский *(берет и причесывается перед зеркалом).* Ну, так как же, братец, ты говоришь, хороша барышня-то?

Добротворский. А вот увидите, Максим Дорофеич. Что прежде времени говорить, сами посмотрите.

Беневоленский. Посмотрим, братец, посмотрим. А отдадут за меня, коли мне понравится?

Добротворский. Как, чай, не отдать. Да ведь что ж такое: попытка не шутка, а спрос не беда.

Беневоленский. Хорошо, братец, хорошо. *(Садится.)* Платон Маркыч! Ты не видал у меня дрожки?

Добротворский. Нет, не видал-с.

Беневоленский. А вороную, что на пристяжке ходит, не видал? Вот посмотри! *(Показывает в окно.)* Что, хороша?

Добротворский. Ах, проказник вы, проказник, Максим Дорофеич! Да ведь, чай, некупленая?

Беневоленский. Разумеется.

Добротворский. Ну, так даровому коню в зубы не смотрят.

Молчание.

Беневоленский. Послушай, Платон Маркыч, найди мне где-нибудь органчик небольшой.

Добротворский. Извольте, батюшка! На что вам?

Беневоленский. Канареек учить.

Добротворский. Хорошо, поищу.

Беневоленский. Поищи. *(Вынимает табакерку, нюхает.)* Хочешь?

Добротворский *(нюхает, потом берет табакерку и взвешивает то на одной, то на другой руке).* Вещичка-то хорошая! Где изволили приобрести?

Беневоленский. Так, нечаянно хороший человек набежал. Да не помнишь ли ты, было у нас дело купца Пересемкина с малолетными наследниками купеческой племянницы Акулины Незамайкиной, доходило до Правительствующего сената и возвращено для справок…

Анна Петровна входит.

Явление одиннадцатое

Те же и Анна Петровна.

Беневоленский. Честь имею представиться.

Коллежский секретарь Беневоленский.

Анна Петровна. Очень приятно познакомиться. Милости просим садиться. Служить изволите-с?

Беневоленский. Как же, служу-с с восемьсот тридцать восьмого года. Я вам скажу, — я очень доволен своим местом и своим начальством. К службе я человек усердный, с подчиненными строг.

Анна Петровна. И родство имеете здесь, в Москве?

Беневоленский. Нет, совершенно никого-с.

Анна Петровна. Я думаю, вам *(к Добротворскому)*... Как, бишь, Платон Маркыч, я все забываю?

Добротворский. Максим Дорофеич.

Анна Петровна. Памяти нет совсем, Максим Дорофеич! Вот что ты будешь делать, право. Я думаю, вам, Максим Дорофеич, скучно. Я вот по себе сужу, дело женское, сами знаете... Еще при покойнике-то было туда-сюда: ну знакомство все этакое, а теперь просто не знаю, что делать.

Беневоленский. Яс вами, сударыня, согласен.

Анна Петровна. Вот процесс теперь. Как это без мужчины; пожалуй, проиграешь.

Беневоленский. А позвольте узнать, в чем состоит ваше дело?

Анна Петровна. Яужи не запомню всего-то, еще,

пожалуй, перевру, а вот уж вам Платон Маркыч расскажет.

Добротворский. Вникните, батюшка, Максим Дорофеич, вникните!

Беневоленский. Хорошо, я посмотрю. Если можно что-нибудь, сударыня, сделать, так сделаем, а если нельзя, так не взыщите — наше дело такое. Конечно, кто богу не грешен, царю не виноват, но я вам доложу, нынче насчет этого очень строго.

Добротворский. Точно, матушка, строго. Это они правду говорят. Строгости пошли. Это так точно.

Анна Петровна. Скажите пожалуйста!

Беневоленский. Нынче уж держи ухо востро. Я вам про себя скажу: в постоянном страхе находишься. Нельзя, чтобы грешков не было; того гляди, под суд отдадут, выгонят из службы, куда денешься? Ну, хорошо, я холостой человек, а другой женатый…

Анна Петровна. А вы не намерены обзавестись семейством?

Беневоленский. Это вопрос, сударыня, очень важный в жизни, особенно в моей. Я имею состояние, всего у меня много, своих лошадей держу. Кабы посмотрели, какую я квартиру занимаю; вон Платон Маркыч видел. Ты видел, Платон

Маркыч, квартиру?

Добротворский. Как же, видел-с; квартира отличная.

Беневоленский. Следовательно, чего же я должен искать, я вас спрашиваю?

Анна Петровна. Подругу жизни, Максим Дорофеич, я так думаю.

Беневоленский. Я с вами согласен, сударыня. Но, сколько мне известно, всякая жена есть подруга жизни. Я должен преимущественно искать хозяйку. Мое дело приобретать всеми силами, а ее дело хозяйничать. У меня порядку нет в доме; ведь, пожалуй, и растащат у холостого человека. Все может случиться.

Анна Петровна. Что мудреного, Максим Дорофеич.

Добротворский. Мудрено ли, долго ли до греха. Это точно.

Беневоленский. Я желал бы, чтоб недурна была собой и образованна, чтобы не стыдно было в люди показаться, выехать куда-нибудь. Хотя у нас знакомство и не важное, все больше мелкие чиновники, но все-таки, знаете ли, я вам скажу откровенно, приятно иметь красивую и образованную жену. А главное — мне нужно хозяйку.

Анна Петровна. Вы справедливо рассуждаете,

Максим Дорофеич; но, может быть, вы захотите также большого приданого?

Беневоленский. Я? Нет-с, я не того ищу. Девушку с состоянием за меня не отдадут, по незначительности моего происхождения и даже самого положения в свете. А есть невесты благородные и образованные, но бедные — и для них-то, я вам без гордости скажу, такой жених, как я, — находка.

Анна Петровна. Яс вами согласна, Максим Дорофеич.

Беневоленский. Разумеется, я красотой не могу похвалиться; образование я тоже получил, сказать вам по простонародному выражению, на медные деньги; но я видел людей, не конфужусь в обществе и могу сказать, что очень развязен даже с дамами. Теперь я вас спрошу, что такое красота в мужчине? — Последнее дело.

Анна Петровна. Это одна глупость, Максим Дорофеич… Так, фантазии.

Беневоленский. Умная девушка не обратит внимания на красоту; для нее довольно, чтобы мужчина был умен, ну там… одет порядочно…

Анна Петровна. Непьющий…

Беневоленский. Конечно… А знаете ли вы, сударыня, я вам осмелюсь сказать, что в мужчине даже и это ничего. Как ты думаешь, Платон Мар-

кыч, об этом?

Добротворский. Ничего, сударыня Анна Петровна, мужчине это не мешает. Был бы добрый человек.

Анна Петровна. Ну, как же, Платон Маркыч? Разве уж изредка, а то как же?

Беневоленский. В женщине это порок, я с вами согласен, а для мужчины даже составляет иногда необходимую потребность. Особенно если деловой человек: должен же он иметь какое-нибудь развлечение. Разумеется, я сам первый осуждаю тех, которые имеют к этому большое пристрастие. *(Молчание.)* Так вот, сударыня, я какое мнение имею насчет женитьбы. Впрочем, мне еще торопиться некуда, я могу выбрать невесту совершенно по моему желанию.

Добротворский. Куда вам торопиться, что вам за крайность.

Входит Марья Андреевна.

Явление двенадцатое

Те же и Марья Андреевна.

Анна Петровна. Дочь моя, Машенька! Максим Дорофеич Беневоленский!

Беневоленский. Очень приятно познакомиться. *(Подходит к руке, потом садится рядом очень развязно.)* Вы, я слышал, очень любите музыку?

Марья Андреевна. Иногда, от скуки, играю.

Анна Петровна. Неправда, неправда: все сидит за фортепьянами, никак не отгонишь. Что, бишь, ты, Маша, играешь-то так часто, я все позабываю?

Марья Андреевна. Право, не знаю — я много играю.

Анна Петровна. Нет, вот это, что ты еще нынче играла?

Марья Андреевна. Из «Роберта-Дьявола» — Grace.

Анна Петровна. Да, да. *(Тихо.)* Будь поразвязнее.

Беневоленский. Вообразите, я никогда не видал этой оперы; говорят, очень хорошая музыка. Както раз собрались компанией, да и то не попали.

Анна Петровна. Как же это?

Беневоленский. Очень просто. Мы прямо из присутствия зашли обедать в трактир, чтобы оттуда отправиться в театр. Ну, люди молодые, про театр-то и позабыли; так и просидели в трактире.

Марья Андреевна *(тихо).* Это ужасно!

Беневоленский. Я сам тоже люблю музыку, но, к несчастию, я не играю ни на одном инструменте, да деловому человеку это и не нужно. Играл прежде на гитаре, да и то бросил — некогда, совершенно некогда.

Марья Андреевна *(про себя).* О господи!

Беневоленский. Вы, может быть, занимаетесь литературой? Барышни обыкновенно романы читают; еще в пансионах начинают читать потихоньку от надзирательницы.

Марья Андреевна. Да, я читаю кой-что. А вы?

Беневоленский. Я совершенно отстал; прежде читал, а теперь, знаете ли, дела, так решительно ничего не читаю.

Анна Петровна. Что это ты, Машенька! Когда читать Максиму Дорофеичу: у него и без того дела много, без этих глупостей.

Беневоленский. Что же нынче пишут, скажите?

Анна Петровна. Бог знает, что пишут, чего никогда не бывает — одни фантазии.

Добротворский. Именно, сударыня, фантазии. Так — мечта.

Беневоленский. Вероятно, больше все про любовь пишут.

Анна Петровна. Какая любовь! Все глупости,

никогда этого не бывает. Чайку, Максим Дорофеич, не угодно ли?

Беневоленский. Нет-с, покорно благодарю — я до него совсем не охотник.

Добротворский. Что, сударыня, за чай; не такие мы гости, чтоб чай пить. А вы велите-ка закусочку подать, так мы с Максимом Дорофеичем по рюмочке бы выпили.

Анна Петровна. Сейчас, батюшка, сейчас. Извините меня, я вас оставляю на минуточку. *(Уходит.)*

Явление тринадцатое

Те же, без Анны Петровны.

Беневоленский. Это ты недурно выдумал, Платон Маркыч. *(Вынимает часы. К Марье Андреевне.)* Я обыкновенно в это время водку пью, такую уж привычку сделал.

Добротворский. Хе, хе, хе! А то что за чай! Что мы, дети, что ль, маленькие!

Беневоленский. Ваша маменька об любви рассуждает, как старый человек; я им не хотел противоречить, потому что понимаю уважение к старшим. А я совсем противного мнения об

любви; я сам имею сердце нежное, способное к любви; только у нас дел очень много: вы не поверите, нам подумать об этом некогда. *(Смотрит на нее нежно.)* Какие вы конфекты любите?

Марья Андреевна. Я никаких не люблю.

Беневоленский. Не может быть, вы меня обманываете. Вы хотите, чтоб я угадал ваш вкус. Позвольте мне привезти вам в следующий раз. Платон Маркыч, какие Марья Андревна конфекты любят, они не сказывают?

Добротворский. Не знаю-с; надо у маменьки спросить.

Беневоленский. А вот мы спросим.

Марья Андреевна. Пожалуйста, не беспокойтесь; я не хочу никаких конфект.

Беневоленский. Ну, уж как вам угодно, аявсета-ки привезу. Позвольте вас попросить сыграть что-нибудь.

Марья Андреевна. Я, право, ничего не играю.

Беневоленский. Сделайте одолжение, я стану на коленях просить вас.

Марья Андреевна. Ах нет, зачем же! Извольте. *(Садится к фортепъянам, берет несколько аккордов и начинает играть.)*

Входит Анна Петровна, за ней Дарья вносит закуску, ставит на стол и уходит.

Явление четырнадцатое

Те же и Анна Петровна.

Анна Петровна. Не угодно ли, Максим Дорофеич; пожалуйте, без церемонии.

Беневоленский. Не беспокойтесь.

Добротворский. С вас начинать. *(Наливает.)* Пожалуйте.

Беневоленский *(пьет, потом закусывает и, еще не прожевавши, подходит к фортепъянам и начинает подпевать. Марья Андреевна оборачивается и взглядывает на него вопросительно).* Не в тон взял… Сделайте милость, продолжайте.

Анна Петровна. Играй, Машенька.

Добротворский. Марья Андревна отменно играют.

Беневоленский. Очень проворно. У меня был товарищ, он был регентом в певчих, так он на фортепьянах все, что вам угодно, самоучкой играл, по слуху; только проворства в пальцах нет; ну, вот что вы хотите, нет проворства.

Добротворский. Не повторить ли, Максим Дорофеич? Как это говорится-то: репетиция…

Беневоленский. Est mater studiorum[1]. Да, это правда. Налей.

Добротворский *(наливает).* Пожалуйте, готово-с.

Беневоленский *(пьет и закусывает).* Прекрасный балык.

Анна Петровна. Уж не знаю, Максим Дорофеич, коли не обманул купец, так хорош. Везде все сама. Дело женское, сами знаете, долго ли обмануть? Без мужчины в этом деле никак нельзя. Как это без мужчины, посудите сами!

Добротворский^*отводит к стороне Беневоленского и говорит тихо).* Ну, батюшка, Максим Дорофеич, как вам наша барышня показалась?

Беневоленский. Послушай ты, Платон Маркыч, довольно с тебя этого: я влюблен. Я деловой человек, ты меня знаешь, я пустяками заниматься не охотник, но я тебе говорю: я влюблен. Кажется, этого довольно. *(Подходит к Марье Андреевне и опять подпевает.)*

Анна Петровна *(Добротворскому).* Что он вам говорил?

Добротворский. Говорит: влюблен.

Анна Петровна. Что?

---

[1] Примечания: 1

...мать учения *(лат.).*

Добротворский. Влюблен, говорит.

Анна Петровна. Ну, и слава богу. Потчуйте его, отец мой, хорошенько.

Добротворский. Хорошо, сударыня, хорошо. Максим Дорофеич, винца не угодно ли?

Беневоленский. Налей.

Марья Андреевна *(перестает играть и остается на стуле). Я* устала.

Беневоленский. Чувствительно вам благодарен. Вы прекрасно играете, главное — нигде не сбиваетесь; а то барышни обыкновенно сбиваются. *(Смотрит на часы.)* Извините меня, Анна Петровна, мне пора, у меня дела много, я ведь человек деловой. Позвольте мне выпить рюмку вина и проститься с вами. *(Подходит к столу и пьет.)* Ты со мной, что ли, Платон Маркыч?

Добротворский. С вами, Максим Дорофеич.

Беневоленский. Ну, поедем, я тебя довезу.

Анна Петровна. Да вы бы, Максим Дорофеич, закусили чего-нибудь.

Беневоленский. Нет-с, покорно благодарю. Я выпью еще рюмку вина и имею честь откланяться. *(Пьет и раскланивается, подходит к Марье Андреевне и целует руку.)* До приятного свидания! Вы мне, вероятно, позволите еще раз посетить вас.

Анна Петровна. Сделайте милость, мы очень

будем рады.

Беневоленский. А уж конфект привезу, непременно привезу. *(Уходит с Добротворским.)*

Анна Петровна. Какой человек-то, Машенька, чудо просто!

Марья Андреевна. Господи! Что это за мука! *(Убегает.)*

Анна Петровна. Машенька! Машенька! Куда ты? постой! Ну, вот, теперь поди разговаривай с ней. Эко наказание!

Действие третье

Комната первого действия.

Явление первое

Анна Петровна входит в салопе, с большим ридикюлем; за ней Марья Андреевна.

Анна Петровна *(садится на стул подле двери).* Не забыть бы чего! Сначала в город… Ты все записала, что купить-то надо?

Марья Андреевна. Все, маменька.

Анна Петровна. Где, бишь, записочка-то? Постой! Да, в ридикюле. Так сначала в город, потом в суд зайти, об деле справиться. Еще чего не надо ли?

Марья Андреевна. Нет, ничего. Ступайте, маменька, скорей, а то опоздаете.

Анна Петровна. Прощай, бог с тобой! *(Идет, потом возвращается.)* Скажи Дарье, чтобы без меня никого не принимать, особенно из молодежи: ты теперь невеста, за тебя женихи сватаются. Что хорошего, еще какой-нибудь разговор пойдет.

Марья Андреевна. Хорошо, маменька, хорошо.

Ступайте скорей.

Анна Петровна. Ну, прощай! Я скоро буду. *(Уходит.)*

Явление второе

Марья Андреевна *(одна).* Насилу-то ушла. А уж я боялась, что Владимир придет при ней… Знает ли Владимир, с каким нетерпением я жду его?.. *(Садится к столу.) Я* только теперь узнала, какое блаженство любить и быть любимой!.. Что же это он нейдет?.. Я измучаюсь от нетерпения… Однако хорошо ли я сделала, что велела ему сегодня прийти?.. Мы будем одни… *(Молчание.)* Если б можно было знать будущее, как бы я желала узнать, чем кончится наша любовь. А впрочем, что мне за дело, чем это кончится — мне теперь хорошо: я люблю его, он меня любит, а там будь что будет. Кто-то идет! Не он ли? *(Бежит к двери.)*

Милашин входит.

Явление третье

Марья Андреевна и Милашин.

Марья Андреевна. Вы зачем?

Милашин. Как зачем? Я к вам пришел.

Марья Андреевна. Маменьки нет дома; она не велела никого принимать без себя.

Милашин. Полноте шутить-то!

Марья Андреевна. Я совсем не шучу! Право, маменька не велела никого пускать.

Милашин. Ну, я вашей маменьки не послушаюсь… Но, может быть, вам самим не угодно, чтобы я здесь оставался?

Марья Андреевна. Ну, а если мне не угодно?

Милашин. В таком случае я уйду.

Марья Андреевна. Ну и прощайте!

Милашин. Прощайте! Однако позвольте мне, по крайней мере, узнать, отчего вы меня гоните?

Марья Андреевна. Ах, боже мой! Ну, да так, из капризу. Неужели вы не хотите исполнить ни одной моей просьбы?

Милашин. Как же я смею не исполнить!

Марья Андреевна. Так ступайте!

Милашин. Я пойду, что вы беспокоитесь.

Марья Андреевна. А сами ни с места.

Милашин. Да ведь это странно: вдруг, ни с того ни с сего, вы меня гоните, не хотите даже сказать причины. Это ведь досадно!

Марья Андреевна. Ну, оставайтесь, пожалуй;

я уйду в свою комнату, а вы сидите здесь одни. *(Молчание.)* Так вы не уйдете?

Милашин. Уйду-с… Я ведь к вам нынче за делом пришел.

Марья Андреевна сидит, отвернувшись к окну.

Вы меня не слушаете, а это дело касается вас.

Марья Андреевна. Что еще такое?

Милашин. Я хотел вам открыть глаза насчет одного человека.

Марья Андреевна. То есть вы сплетничать пришли. Так это можно сделать в другой раз, когда-нибудь на досуге.

Милашин. Нет, не сплетничать, а я хотел только предостеречь вас.

Марья Андреевна. В другой раз, Иван Иваныч, пожалуйста, в другой раз! Ужо приходите.

Милашин. Да ведь только десять слов, Марья Андревна. Я узнал про одного человека очень хорошие вещи.

Марья Андреевна *сторону).* Это наказание! *(Милашину.)* Про кого же?

Милашин. Про Мерича…

Марья Андреевна. Не рассказывайте мне, пожалуйста, я все знаю. *(В сторону.)* Мерзавец, выдумал что-нибудь про него.

Милашин. И прекрасно, что вы знаете; мне только этого и хотелось. Каков! Каким прикидывается!

Марья Андреевна. Да, да, ужасный человек!

Милашин. Ничего нет ужасного. Просто смешон! Мальчишка! Над всеми его шутками смеяться нужно.

Марья Андреевна. Нуда, смешон! Иван Иваныч, вы меня любите?

Милашин. Люблю, Марья Андревна, ей-богу, люблю!

Марья Андреевна. Сделайте для меня одно одолжение.

Милашин. Все, что вам угодно; я для вас готов жизнию пожертвовать.

Марья Андреевна. Должно быть, на словах только? Я целый час прошу вас уйти, а вы все ни с места.

Милашин. Сейчас, сейчас! *(Берет шляпу.)* Прощайте! *(Идет, потом возвращается.)* Марья Андревна! Умоляю вас, скажите, зачем вам хочется одной остаться?

Марья Андреевна. Иван Иваныч, мы поссоримся!

Милашин. Виноват, виноват! *(Несколько времени стоит.)* Позвольте вашу ручку поцеловать

на прощанье.

Марья Андреевна. С удовольствием!

Милашин целует, потом уходит.

Явление четвертое

Марья Андреевна *(одна).* Наконец-то ушел. Бедный Владимир! Какой-нибудь Милашин смеет рассказывать про него, рассуждать об его поступках… Это ужасно! Он, бедный, нигде не находит сочувствия. Оттого, что он выше всех стоит, ему душно в этом обществе, — ему все завидуют. Я так его люблю в эту минуту, что, кажется, всем бы для него пожертвовала. *(Задумывается.)* Однако что же он нейдет? *(Садится у окна и смотрит.)* Это, кажется, он! Брошусь ему на шею прямо, ни об чем не думая! *(Отходит на середину комнаты.)*

Входит Мерич. Она робко подходит к нему.

Явление пятое

Марья Андреевна и Мерич.

Марья Андреевна. Как я рада! Как я ждала тебя, Владимир!

Мерич. Мы одни?

Марья Андреевна. Одни.

Мерич целует ее.

Ах, сколько передумала я, перечувствовала со вчерашнего дня — ты не поверишь. Мне хочется пересказать тебе это поскорей, поскорей — я боюсь забыть.

Мерич. Что же такое ты перечувствовала?

Марья Андреевна. Ты, может быть, будешь смеяться — смейся, пожалуй. Пойдем сядем к окну, оттуда видно будет, как маменька пойдет.

Мерич. А ты меня поцелуешь еще разик?

Марья Андреевна. Хоть десять раз, только поговорим немножко о моем положении.

Мерич. Ну, поговорим. Что же ты мне будешь рассказывать?

Марья Андреевна. Я тебе хотела много, много сказать. Вчерашнее наше свидание так было коротко, так много я думала о тебе вчера вечером, ночью, нынче поутру… а теперь я так взволнована: мне кажется, я уж все позабыла.

Мерич. Ну и хорошо, что позабыла.

Марья Андреевна. Ах, вообрази, Владимир! Вчера вдруг явился какой-то урод, говорил об музыке, об литературе, хотел мне конфект привезть. Каково было мое положение! Препротивный!

Маменька за ним ухаживает… Да ты меня не слушаешь!..

Мерич. Я гляжу на твои глазки. Какие они у тебя хорошенькие. Так и хочется поцеловать. Я помню другие такие глазки… Она умерла… Бедная женщина! Ну, да что толковать о прошедшем: будем пользоваться настоящим. Ах, Мери, много я пережил… Я боюсь, хватит ли у меня сил, чтоб отвечать твоей детской любви. Если б я встретил тебя, Мери, года два тому назад!..

Марья Андреевна. Да ты выслушай, ради бога.

Мерич. Хорошо, хорошо — слушаю.

Марья Андреевна. Приехал этот Беневоленский. Он груб, необразован — просто ужас!

Мерич. Мери! Ведь это скучная материя. Зачем нам на эти пустяки терять драгоценное время?

Марья Андреевна. Да как же мне быть с этим Беневоленским? Я просто его боюсь.

Мерич. Стоит об этом думать! Тебе что за дело до этого Беневоленского?

Марья Андреевна. А маменька-то? Как же мне быть с маменькой-то? Ах, Владимир, ты многого не знаешь и не хочешь слушать.

Мерич. Что мне знать! Я знаю только одно, что ты меня любишь; а если ты меня любишь, то я не думаю, чтоб ты пошла за Беневоленского.

Марья Андреевна. Но все-таки я в очень неловком положении. Посоветуй, что мне делать.

Мерич целует ее в плечо.

Ах, Владимир, кабы ты знал, как мне тяжело, а ты все с нежностями!

Мерич. Ах, боже мой, Мери, я люблю тебя! Я рад случаю, что застал тебя одну, а ты мне рассказываешь про маменьку, про женихов каких-то; да какое мне дело до них? *(Целует опять в плечо.)*

Марья Андреевна *(уклоняется от него).* Тебе, кажется, и до меня нет никакого дела, потому что ты не хочешь войти в мое положение. Бог с тобой!

Мерич. Ты сердишься… И это любовь!

Марья Андреевна. А это любовь, что ты меня слушать не хочешь? *(Плачет.)*

Мерич. Вот и слезы! Раненько! *(Садится на стул.)* Впрочем; я так и думал! Это уж обыкновенная история! Вот любовь-то ваша! Сначала признания, страстность, а потом — либо папенька, либо маменька, или там жених какой-нибудь.

Молчание.

Марья Андреевна. Владимир! Ты сердишься?

Мерич. Нет, я уж привык к этому. И тебе не

жаль меня, Мери? Я уж и так измучен жизнию, а ты мне не хочешь доставить ни одной минуты неотравленного удовольствия.

Марья Андреевна. Не сердись, Владимир… Помиримся. *(Целует его.)* Мало тебе этого?

Мерич. Очень мало.

Марья Андреевна целует его еще несколько раз.

Смелей, Мери, смелей! Вот теперь я вижу, что ты умная девушка. Ах, Мери, я вспомнил одну женщину: вот это была любовь!

Марья Андреевна. Зачем же ты мне это говоришь? Ты думаешь, мне это приятно слышать?

Мерич. Что ж это? Ревность! Ты разве ревнива? Я очень люблю дразнить ревнивых женщин.

Марья Андреевна. Нет, это не ревность, а мне обидно, что ты говоришь о других женщинах в то время, когда я к тебе ласкаюсь. Ты и про меня также станешь рассказывать…

Мерич. За кого же ты меня принимаешь! Нет, Мери, мне уж некого больше любить. Поцелуй меня, Мери!

Марья Андреевна. Довольно, Владимир, довольно. Лучше поговорим о чем-нибудь.

Мерич *(садится рядом с ней и обнимает ее).* О

чем говорить, о чем говорить?

Марья Андреевна *(проворно взглядывает в окно).* Ах! Маменька!..

Мерич *(вставая со стула).* В самом деле?

Марья Андреевна *(смеется).* Нет, я нарочно, только чтобы ты сел подальше. В самом деле, Владимир, сядь подальше, да поговорим. Мне так хочется поговорить с тобой.

Мерич *(рассеянно).* В следующий раз я тебе принесу свой дневник, мы его почитаем вместе, а теперь, знаешь ли что? Пойдем в сад.

Марья Андреевна. Как можно! Того и гляди, маменька придет.

Мерич. А скоро она придет?

Марья Андреевна. Я думаю, скоро.

Мерич. Так прощай.

Марья Андреевна. Тебе уж скучно стало, не правда ли? Тебе скучно? Какой ты, Владимир! Кабы ты знал, с каким нетерпением я ждала тебя! Какое мне наслаждение тебя видеть! А ты десяти минут не хочешь посидеть со мной.

Мерич. Я боюсь, что Анна Петровна меня здесь застанет; тебе же будут неприятности.

Марья Андреевна. Ну что ж, она побранит меня, да и все тут.

Мерич. Ведь и мне тоже достанется. А впрочем,

у меня есть дело необходимое: я, пожалуй, минут десять побуду, а больше нельзя. *(Садится подле нее.) Я* готов всю жизнь сидеть с тобой и любоваться на тебя.

Марья Андреевна. Ты, кажется, опять близко ко мне.

Мерич. Какие вы все странные: уйди от вас — вы сердитесь; очень близко к вам — вам тоже неприятно. Выбирай из двух: или уйти, или сидеть подле тебя.

Марья Андреевна. Останься, только с уговором: посиди подольше.

Мерич. Изволь, изволь. *(Обнимает ее. Сидят несколько времени молча.)* Погоди, мой друг Мери, придет время, когда я назову тебя своей торжественно, публично. Ты пойдешь за меня?

Марья Андреевна. Зачем же ты спрашиваешь?

М ерич. А может быть, тебя не отдадут за меня?

Марья Андреевна. Вот вздор какой!

Мерич. Впрочем, мне надобно устроить кой-какие дела свои — и тогда, Мери, тогда… мы с тобой заживем славно.

Марья Андреевна. Да только сбудется ли это?

Мерич. Сбудется, Мери, сбудется. Я не посмотрю ни на какие обстоятельства… Не отдадут тебя — я увезу.

Марья Андреевна. Маменька идет!

Мерич. Куда ж мне теперь деться? Ведь я ей навстречу попадусь. Мне бы этого не хотелось.

Марья Андреевна. Ступай через сад.

Мерич. Прощай. *(Целует ее.)*

Марья Андреевна. Прощай! Когда же?

Мерич. Скоро, скоро.

Марья Андреевна. Приходи поскорей!

Мерич уходит.

Явление шестое

Марья Андреевна *(одна, садится за работу).* Боже мой, как я счастлива! Я не могу опомниться!.. Теперь для меня не страшна жизнь. Что б ни делалось вокруг меня — у меня есть надежда. *(Сидит, задумавшись.)*

ВходятДобротворский и Анна Петровна, Дарья снимает с нее салоп и уходит.

Явление седьмое

Марья Андреевна, Добротворский и Анна Петровна.

Анна Петровна *(садится).* Что же нам теперь делать-то, Платон Маркыч?

Добротворский. Что делать-то, сударыня, — божья воля! В отчаяние только приходить не надо.

Анна Петровна. Куда я теперь денусь с дочерью-то? Посудите, Платон Маркыч! Что я знаю, что я умею? Уж и до этого-то горя я не знала, что делать, а теперь вовсе дура сделалась. Посоветуйте.

Марья Андреевна. Что такое, маменька, сделалось?

Анна Петровна. А то, что вот мы с тобой нищие теперь. Дело-то наше проиграно, дом-то отнимут, да еще взыскание положено.

Марья Андреевна. Ах, какое несчастие!

Анна Петровна. Что делать-то, Платон Маркыч? Посоветуйте.

Добротворский. Что я вам могу, сударыня, посоветовать? Ничего не могу. Вот хоть теперича прикажите меня казнить — ничего не выдумаю. Состарелся, поглупел. Делец был, Анна Петровна!.. Что ж делать-то?.. Вот уж и оглох совсем…

Анна Петровна. Да вы все-таки мужчина, а я и ума не приложу; женщина я слабая, сырая — да и памяти совсем нет.

Добротворский. Какой ужя мужчина! Эх, эх! Вот так-то и всегда бывает: не ждали, не чаяли, а тут

вдруг этакое несчастие. Акты, господи, боже мой! *(Качает головой.)*

Анна Петровна. Эко горе-то, Платон Маркыч, мне на старости лет-то! Одна-то одинешенька, без мужчины… Вон еще обуза-то: не знаю, как с рук сбыть.

Добротворский. Точно, сударыня, точно… Уж что говорить.

Анна Петровна. Да уж, горюй не горюй — этим не поможешь.

Добротворский. Не поможешь.

Анна Петровна. Хлопотать надо как-нибудь; говорят, в сенат надо жалобу подавать.

Добротворский. Надо, сударыня, непременно надо; как же можно не хлопотать…

Анна Петровна. Знакомых-то у меня нет, попросить-то некого.

Добротворский. Кого, сударыня, просить! Кто хлопотать станет! Попросить, так надо денег дать.

Анна Петровна. Поищите, Платон Маркыч, нет ли у вас кого из знакомых, чтобы делами-то занимался.

Добротворский. Да уж, кроме Максима Дорофеича, некого просить.

Анна Петровна. Вот и прекрасно! Он вчера с

вами говорил что-нибудь, как от нас-то поехал?

Добротворский. Как же, говорил-с. Он говорит: коли отдадут Марью Андревну, так я хлопотать стану. Это дело еще можно исправить. Мне, говорит, Марья Андревна очень нравится; мне, говорит, лучше и не надо; узнай, как их расположение, а я, говорит, хоть сейчас готов.

Анна Петровна. Что ж вы до сих пор молчали?

Добротворский. Извините, сударыня, совсем из ума вон, а теперь вот к слову пришлось, и сказал.

Анна Петровна. Слышишь, Машенька!

Марья Андреевна. Что такое?

Анна Петровна. Ты Максиму Дорофеичу очень понравилась.

Марья Андреевна. Очень рада.

Анна Петровна. Ну, и слава богу, что рада; он предложение делает.

Марья Андреевна. Ни за что на свете!

Анна Петровна. Ты никак с ума сошла, как я погляжу на тебя. Разве ты не видишь, что нам теперь больше делать нечего; не по миру же нам идти.

Марья Андреевна. Лучше, маменька, и не говорите про Беневоленского, я про него и слышать не хочу.

Анна Петровна. Что ты! Что ты! Ты опомнись — ведь не десятки женихов-то у тебя, выбирать-то не из кого; не сотни тысяч за тобой, чтоб такими женихами брезгать: такого-то жениха нам с тобою и не дождаться.

Марья Андреевна. Ради бога, маменька, не говорите мне про Беневоленского.

Анна Петровна. Ты дура совсем, я вижу. Да что с ней толковать, у нее еще все ветер в голове; она и сама не знает, что говорит... Неужто ее глупости слушать? Скажите, Платон Маркыч, Максиму Дорофеичу, что мы очень рады, чтобы он формальное предложение сделал.

Добротворский. Хорошо, сударыня, нынче же скажу.

Марья Андреевна *(быстро встает со стула).* Что вы делаете! Платон Маркыч, не ходите к Беневоленскому! Он мне не нравится, он мне противен!.. Я не пойду за него ни за какие сокровища!

Анна Петровна. Что вы ее слушаете, все вздор болтает! Я уж и не знаю, какой дрянью у ней голова-то набита. Делайте, как я вам говорю, что ее слушать; она еще одумается двадцать раз.

Марья Андреевна. Я не стану ничего говорить; делайте, что хотите, только я не пойду за Бене-

воленского.

Анна Петровна. Ты не пойдешь?

Марья Андреевна. Не пойду.

Анна Петровна. А мне кажется, что это только каприз у тебя; только, чтоб матери напротив что-нибудь сделать. Тебе меня только расстроить хочется. А ты пожалей меня на старости лет; ты видишь, я и так насилу ноги таскаю. Я женщина сырая, а тут этакой удар — последнее состояние отнимают! Вот, говорят, в сенат надо жалобу подать, а кто напишет-то… Мы, что ли, с тобой? Так мы и аза в глаза не знаем. Коли Максим Дорофеич не возьмется, так ведь мы нищие будем, понимаешь ли ты это? А что ему за радость браться за дело, коли ты от него свою физиономию-то отворачиваешь. Коли ты об себе-то не хочешь подумать, так ты хоть мать-то пожалей. Куда я денусь на старости лет — я женщина слабая, сырая, уж и теперь насилу ноги таскаю. В кухарки мне, что ли, идти?

Марья Андреевна. Господи! Что ж мне делать!

Анна Петровна. Матери послушайся.

Добротворский. Маменьки надо послушаться, матушка барышня.

Марья Андреевна. Нет, что хотите со мною делайте, я не могу!

Добротворский. Переломите себя как-нибудь.

Марья Андреевна. Не могу, не могу, не могу!..

Анна Петровна. Оставьте ее, Платон Маркыч! Бог с ней!.. Каково мне, Платон Маркыч, это видеть, матери-то, старухе-то! *(Плачет.)* Батюшки! Где платок-то! Так и есть — потеряла в городе, еще и с деньгами… Одно к одному. А! Да гори все прахом — ничего мне не нужно, коли уж дочь родная об моем горе и подумать не хочет. Живи, как знаешь, бог с тобой! Вот вырастила на свою голову!..

Марья Андреевна. Маменька, что вы говорите! За что вы меня терзаете!..

Анна Петровна. А ты слушайся матери! Ты думаешь, мне легко с тобой разговаривать… Иногда что и скажешь… У меня сердце слабое, женское.

Марья Андреевна. Маменька! Он мне очень не нравится. Я все для вас готова, все, что вам угодно, только не принуждайте меня замуж идти; я не хочу замуж. Я не пойду ни за кого.

Анна Петровна. Скажите пожалуйста, Платон Маркыч, она совсем сумасшедшая! Ведь ты не понимаешь, что говоришь! Ну, можно ли этакую вещь сказать: не пойду замуж! Это все только фантазии. Очень интересно быть старой девкой! А мне-то что ж, в богадельню, что ль, идти! Во-

первых, ты, коли любишь мать, должна выйти замуж, а во-вторых, потому что так нужно. Что такое незамужняя женщина? — Ничего! Что она значит? Уж и вдовье-то дело плохо, а девичье-то уж и совсем нехорошо! Женщина должна жить с мужем, хозяйничать, воспитывать детей, а ты что ж будешь делать-то старой девкой? Чулок вязать! Подумала ли ты об этом?

Марья Андреевна. Нет, маменька, я об этом не думала.

Анна Петровна. Ну, поди сюда, сядь подле меня! Поговорим с тобой хорошенько. Я сердиться не буду.

Марья Андреевна садится подле нее.

Выслушай ты меня хладнокровно. Я ведь знаю, у вас один разговор: по любви выйти замуж. Влюбляются-то, Машенька, только те, которым жениться нельзя, либо рано, потому что еще в курточках ходят, либо нечем жить с женой; так вот они и влюбляются. Порядочный человек не станет вам в любви открываться да влюбления-то свои высказывать, а просто придет к матери да скажет: «Мне ваша дочка нравится», да и тебе-то тоже прямо, без разных там фарсов дурацких: «Сударыня, маменька ваша согласны, вы мне

нравитесь, угодно вам меня осчастливить?» И все это честно и благородно. — Вот как это бывает, Машенька. Ты вот с Беневоленским и десяти слов не сказала, а уж и слышать про него не хочешь. А будет ездить, познакомишься, может быть, и увидишь, что хороший человек. Ведь вертопрахи-то ваши только мастера разговаривать, а что от них толку — только слава дурная.

Добротворский. Это правда, сударыня.

Молчание.

Анна Петровна. Машенька, потешь ты меня на старости лет, послушайся матери.

Марья Андреевна *(встает).* Маменька! Я не могу теперь идти ни за Беневоленского, ни за кого. Сделайте милость — не принуждайте меня. Я одного у вас прошу: не говорите мне про замужество, подождите немного. Ради бога, дайте мне пожить на свободе.

Анна Петровна. Эка невидаль девичье житье! Жаль расстаться!

Марья Андреевна. Пусть Беневоленский к нам ездит, я буду с ним ласкова, все, что вам угодно; только пусть он подождет... Ну, месяц, один месяц. Я посмотрю на него хорошенько, узнаю его. Согласны?

Анна Петровна^*целует Марью Андреевну).* Ну,

что с тобой делать, так и быть. Что, утешилась теперь? Вот ведь ты какая глупая!

Марья Андреевна уходит.

Что делать-то, Платон Маркыч! Скажите Максиму Дорофеичу, что я очень рада, но чтоб он месяц погодил делать предложение… Да и об деле-то попросите.

Добротворский. Очень хорошо-с.

Хорьков а входит.

Явление восьмое

Те же и Хорькова.

Хорьков а. Покорно благодарю, матушка Анна Петровна, покорно благодарю! Одолжили, нечего сказать!

Анна Петровна. Что такое? Что я вам сделала?

Хорькова. Я хоть необразованная женщина, а над собой смеяться не позволю. Вы тогда меня обнадежили. Я, разумеется, прихожу домой, говорю: «Миша, друг мой, Анна Петровна согласна; открой, говорю, друг мой, свои мысли Марье Андревне», — а та ему напрямки отказала! Приходит такой расстроенный. «Нет, говорит, мне,

маменька, счастия в моей жизни; вы, говорит, меня обманули». — «Я, говорю, мой друг, никогда обманщицей не была, а если нами пренебрегают, так нечего тебе, говорю, беспокоиться: ты, с твоим образованием, всегда найдешь себе невесту не хуже Марьи Андревны… А уж я не утерплю, пусть меня ругают, я все-таки пойду отчитаю Анне Петровне».

Анна Петровна. Что ж делать-то мне? Ее воля, я ее принуждать не могу.

Хорькова. Это, Анна Петровна, просто насмешка; я так это за насмешку и принимаю.

Анна Петровна. Да помилуйте, матушка, какая же это насмешка?

Хорькова. Насмешка, насмешка! Вам просто хотелось из меня перед сыном дуру сделать. Я хоть и необразованная женщина, а понимаю…

Анна Петровна. Что вы тут понимаете! Нечего вам тут понимать-то.

Хорькова. Ну, уж не говорите, пожалуйста… Знаем мы кой-что. У вас теперь какой-то богатый жених на примете, так вы другими-то и брезгаете. Только вы поторопитесь, Анна Петровна, я вам советую, а то чтобы разговору какого не было.

Анна Петровна. Какого разговору? Что вы, ссориться, что ли, со мной пришли, Арина Его-

ровна?

Хорькова. Уж там, матушка, как хотите принимайте: я сама вами кругом обижена. Что я не знаю, про то говорить не стану, а что знаю, про то напрямки отпечатаю. Люди ложь, и мы то ж.

Анна Петровна. Язык-то без костей, говорить все можно, только слушать-то нечего.

Хорькова. Слушай не слушай, как кому угодно, а уж коли говорят, так, значит, что-нибудь есть.

Анна Петровна. Кто говорит и что говорит? Кому нужно про меня говорить что-нибудь?

Хорькова. Не про вас и речь, а про Марью Андрееву; а то горда уж очень она у вас, вот теперь гордости-то поубудет. Нам-то отказали, а этот-то ваш богатый жених как бы сам не отказался, коли прослышит что-нибудь.

Анна Петровна. Да что вы, Арина Егоровна, рехнулись, должно быть! Да кто же смеет что-нибудь сказать про мою Машеньку?

Хорькова. Ах, матушка, никому рта не зажмешь; всякий волен говорить, на то язык дан.

Анна Петровна. Что ж это такое! Вот послушайте, Платон Маркыч, еще тут сплетни какие-то распустили про Машеньку! На что это похоже!

Добротворский. На всякое чиханье, сударыня, не наздравствуешься. Слушать-то не приходится.

Анна Петровна *(Добротворскому).* Да что же можно сказать про мою Машеньку, скажите на милость?

Хорькова. Уж известно что! Зачем к вам Мерич каждый день ходит? Ведь соседи видят — скрыть нельзя. И при вас, и без вас бывает. Вы-то, может быть, еще и сами всего не знаете. Я необразованная женщина, да не позволила бы этого своей дочери. Мне сын говорит, что его ни в один порядочный дом не пускают за его пошлости. Своими глазами видела, как он от вас из саду крадется, точно вор какой.

Анна Петровна. Что же это, господи! Вот что значит без мужчины-то в доме — всякий и сочиняет, что ему в голову придет. Вот дело-то женское какое. Пожалейте вы меня, Арина Егоровна! Я женщина слабая, сырая, что вы меня расстроиваете, как вам не грех!

Хорькова. Снявши-то голову, по волосам не плачут. Сами виноваты, что допустили до этого. Теперь вот ищите-ка женихов: не всякий-то польстится. Хоть бы вы и согласны были, а уж я теперь своему Мише не позволю. Нет, покорно вас благодарю!

Анна Петровна. Да мы ни в Мише, ни в вас не нуждаемся! Эка важная партия! Невидаль какая!

Вам бы только сплетничать!..

Хорькова *(встает).* Да уж, матушка, не взыщите; что слышала, того от других не потаю.

Анна Петровна. Где утаить! Еще своего прибавите. Вы уж обрадовались, что вам случай есть. От вас только этого и ждать можно.

Хорькова. Я сама от вас, кроме обиды да насмешки, ничего не видала. Только вот не могла вытерпеть, чтобы не выговорить вам за Мишу, а то бы и нога моя в вашем доме не была. А Мише я и думать не позволю о вашей дочери: с его умом и образованием мы и почище найдем. *(Уходит.)*

Явление девятое

Те же, без Хорьковой.

Анна Петровна. Что ж это такое, Платон Маркыч, посудите вы сами. Опомниться-то ведь я не успела, а то бы уж я напела ей. Ведь теперь, чего доброго, расславит везде… погубит она мою голову! Вот как без мужчины-то, Платон Маркыч! И туды, и сюды — все сама, да еще и за дочерью смотри; отлучиться из дому нельзя, а я женщина сырая. Маша! Маша! Дарья! Дарья!

Входит Дарья.

Анна Петровна. Что ты, оглохла, что ли? Не докличешься тебя!.. Позови барышню.

Дарья. У меня ведь не одно дело-то; сложа руки не сижу. *(Уходит.)*

Анна Петровна. Ох, измаялась я нынче день-то, а тут еще напасть этакая. И руки и ноги дрожат. Что ж это Маша со мной делает! Чувствую, что слабая мать. Поддержите меня, Платон Маркыч!

Входит Марья Андреевна.

Явление десятое

Те же и Марья Андреевна.

Марья Андреевна. Вы меня кликали, маменька?

Анна Петровна. Что ты, в гроб, что ли, хочешь меня вогнать прежде времени! Что ты еще затеяла!..

Марья Андреевна. Что такое?

Анна Петровна. Был здесь Мерич без меня?

Молчание.

Что ж ты молчишь?

Марья Андреевна. Был ненадолго. Я ему сказала, что вас дома нет, он и ушел.

Анна Петровна. Не обманывай ты меня; что у тебя с ним за шашни? Говори!

Марья Андреевна. Да какие шашни, кто вам сказал, маменька?

Анна Петровна. Кто сказал? Все говорят. Мне теперь глаза показать никуда нельзя. Сейчас Хорькова приходила — уж и она знает. Чтоб его у нас и духу не было, я его и пускать не велю. Слышишь, сударыня?

Марья Андреевна. Нет, маменька, этого нельзя.

Анна Петровна. Отчего это нельзя? Что с ним церемониться, что ли? Не велик барин! Прогоню, да и все тут. Тебе надо замуж идти, а с этими-то разговорами не скоро жениха сыщешь. Осрамила ты меня совсем. Или сейчас же Максиму Дорофеичу надо слово дать, или завтра же скажу Меричу, чтоб он и глаз к нам не показывал.

Марья Андреевна. Не делайте этого, ради бога. Я вас умоляю, маменька. Как это можно!

Анна Петровна. Так ступай замуж.

Марья Андреевна. Маменька, дайте мне подумать. Я совершенно растерялась, у меня голова кругом идет. Дайте мне подумать.

Анна Петровна. Об чем тут думать! Надо сейчас что-нибудь делать, а то услышит Максим Дорофеич эти сплетни, пожалуй, откажется. Что ты тогда

с моей головой сделаешь? Какой тогда срам-то будет! Завтра надо сказать Максиму Дорофеичу, что мы согласны.

Марья Андреевна. Нет, маменька, это выше сил моих!

Анна Петровна. Ну, так живи, как знаешь! Мне теперь до тебя и дела нет. Я тебя растила, я тебя воспитывала, хлопочу, ни дня ни ночи покою себе не имею, а ты меня знать не хочешь! Для тебя мать-то дешевле всякого, прости господи! Я теперь слова тебе не скажу, повесничай, с кем хочешь! Ты мать позабыла, ты для матери ничего не хочешь сделать; авось, добрые люди найдутся, не оставят старуху. Пойдемте, Платон Маркыч, ко мне в комнату. *(Встает и идет.)* Видно, уж мне, старухе, век горе мыкать.

Марья Андреевна *(за ней).* Маменька!..

Анна Петровна. Ты не ходи за мной! Я теперь тебя и видеть не хочу. *(Уходит.)*

Явление одиннадцатое

Марья Андреевна и Добротворский.

Марья Андреевна *(садится на стул и закрывает лицо платком. Добротворский стоит против*

нее). Это мученье!

Добротворский. Что, побранила вас маменька-то! Ну, ничего! Не плачьте, барышня! Помиритесь как-нибудь.

Марья Андреевна. Ах, Платон Маркыч! Быть может, маменька и права, но она требует от меня невозможного.

Добротворский. Отчего ж, матушка барышня, невозможно? Ей-богу, возможно! Утешьте старуху. Ведь уж лучше Максима Дорофеича жениха не найти вам.

Марья Андреевна. Послушайте, Платон Маркыч, — вы человек добрый, я с вами буду говорить откровенно. Я люблю другого; он хорош, умен, образован; посудите сами, как же мне променять его на Беневоленского.

Добротворский. Да он молодой человек, барышня?

Марья Андреевна. Очень молодой…

Добротворский. Свистуны ведь они, матушка, никакой основательности нет. Не верьте вы им. Нынче любит, а завтра разлюбит. Им потеха, а бедные девушки плачут.

Марья Андреевна. Я не знаю, разлюбит он меня или нет, только я его люблю.

Добротворский. Матушка барышня, я вас еще

вот какую знал: ребенок были, несмысленочек, на руках носил. Ваш папенька покойник мне благодетель, в люди меня вывел, я прежде очень маленький человек был. Как умирал покойник, — ты, говорит, Платон, жену с дочерью не оставь! Слушаю, говорю, батюшка Андрей Петрович, служить буду, пока сил хватит. Я вас, барышня, больше родной люблю, так горько мне будет, как вертопрах какой-нибудь посмеется над вами. Плюньте вы на них! А ведь и то сказать, барышня, вы лучше нас знаете, мы люди старые, из ума выжили! Советовать не смею, рассудите сами. Вот на старости лет для вас, сударыня, за сватовство принялся. Нашел человека, кажется, хорош, а ведь бог его знает, где мне разобрать, посмотрите сами; как бы греха на душу не взять. А все мой совет — лучше маменьки послушаться, меньше греха будет.

Марья Андреевна. Платон Маркыч, помирите меня с маменькой, она вас любит.

Добротворский. Не беспокойтесь, матушка, помирю, об этом не беспокойтесь.

Марья Андреевна. Подите скажите ей, что я через три дня ей дам ответ. Мне нужно подумать, поговорить с ним, он обещал жениться на мне.

Добротворский. Хорошо, барышня. Сейчас при-

кажете к маменьке сходить?

Марья Андреевна. Да, пожалуйста, сейчас. Мне всегда тяжело, когда она сердится, за дело ли, не за дело ли.

Добротворский. Как же, матушка, не тяжело — ведь мать. Хорошо-с. *(Уходит.)*

Явление двенадцатое

Марья Андреевна одна и потом Дарья.

Марья Андреевна. Что мне делать, я решительно не знаю! Я чувствую, что дурно делаю, что ссорюсь с маменькой, но идти за Беневоленского я не могу — я люблю Владимира. Да если б я и решилась пожертвовать собой, я теперь не имею права. За что же я обману бедного Владимира: он так меня любит.

Дарья *(входит).* О! чтоб вас!.. Вечно все растеряет! *(Берет платок Анны Петровны.)*

Марья Андреевна. Даша, что маменька делает?

Дарья. Разговаривают с Платоном Маркычем.

Марья Андреевна. Сердита она?

Дарья. Приступу нет! *(Уходит.)*

Марья Андреевна. Жаль мне маменьку, ей-бо-гу, жаль! Если б я не наделала глупостей, я бы теперь

с ней поговорила откровенно, что Беневоленский мне не нравится, а теперь не могу, — теперь мне одно средство: поговорить с Владимиром, потом скажем маменьке — и не об чем думать. Ах, дура, да об чем же я плачу? Человек говорит мне прямо, что он женится на мне, а я плачу да выдумываю разные несчастия. *(Смеется, потом задумывается.)* А если нет? Если нет? Что ж тогда? Впрочем, какое же я имею право так дурно думать о нем: я его еще не знаю. Да что это, господи! Что я говорю! Я помешалась совсем. Другая бы на моем месте прыгала от радости, а мне всякий вздор в голову лезет. Нет, нет, не хочу ни об чем думать! Владимир на мне женится. О, кабы мне его увидать поскорей!

Входит Добротворский.

Явление тринадцатое

Марья Андреевна и Добротворский.

Добротворский. Пожалуйте к маменьке, барышня. Я ее уговорил немножко. Не бойтесь ничего, теперь браниться не станет, поговорить хочет. Пусть, говорит, она увидит, что мать ей зла не желает. Вот сейчас и поговорим все вместе,

авось, барышня, как-нибудь и уладим.

Уходят.

Действие четвертое

Комната первого действия.

Явление первое

Марья Андреевна *(одна).* Вот уж третий день его нет. Что это значит? Третий день ужасных мучений! Он, должно быть, нездоров! Что, если он и нынче не придет, я, кажется, сойду с ума. Как незаметно подкралось ко мне это горе. Неделю тому назад я была весела и ни об чем не думала. Я так и жду, что приедет Беневоленский и сделает предложение. Что я буду делать? Маменька так уверена во мне, так меня любит… Теперь ее спокойствие зависит от меня. Неужели у меня хватит сил противиться ей.

Дарья входит.

Явление второе

Марья Андреевна и Дарья.

Дарья. О, чтоб!.. Вот везде одна, поспевай тут…

Что это вы, барышня, какие скучные?

Марья Андреевна. С чего же мне веселой-то быть. Погадай-ка мне, Даша, на картах.

Дарья. Извольте, барышня, сейчас разложу. *(Раскладывает карты.)*

Марья Андреевна. Что, Даша, выходит что-нибудь? Чай, все вздор.

Дарья. Нет, матушка, не говорите этого. Вот недавно куме Аксинье гадала: все винновый туз выходит. Смотри, говорю, будет тебе горе какое-нибудь. Что ж, барышня, так и есть: шубку новенькую украли, с иголочки. *(Разводитруками.)* При своем антиресе от треф!., в собственном доме… исполнение желания… бубновый король марьяжный…

Марья Андреевна. Кто же это бубновый король?

Дарья. Уж, известно, Владимир Васильевич, кому ж быть!

Входит Ан на Петровна.

Явление третье

Те же и Анна Петровна.

Анна Петровна. Что это вы, никак гадаете? По-

гадай-ка, Дарья, и мне.

Дарья. Извольте, матушка, сейчас.

Анна Петровна. На какую, бишь, я даму-то гадаю? Не помнишь ли, Машенька?

Дарья. Я вас червонной, матушка, положу. Ах, барышня, почтальон идет. *(Идет за письмом.)*

Марья Андреевна. От кого это? Боже мой, как у меня сердце забилось!

Дарья возвращается с письмом.

Анна Петровна. Поищи-ка, Даша, очки. *(Распечатывает письмо.)*

Дарья. Вот они, матушка.

Анна Петровна *(смотрит на подпись).* От Беневоленского.

Марья Андреевна. От Беневоленского? Что ж он пишет?

Анна Петровна *(читает).* «Милостивая государыня, многоуважаемая Анна Петровна! Принимая в уважение ваше расположение и радушный прием, оказанные мне в прошедший четверток, я беру на себя смелость предложить свою руку и сердце вашей бесподобнейшей дочке Марье Андревне, коей достоинствами и красотою я очарован. Причем честь имею присовокупить, что я слышал от Платона Марковича о вашем

деле, в котором, как знающий человек, могу быть ходатаем, конечно, только в том случае, когда вы согласитесь принять мое предложение. Я человек деловой, и мне терять время понапрасну на чужие хлопоты нельзя. Состояние мое вы знаете, и я неусыпно стараюсь о приращении оного, употребляя на это все свои способности; ибо, как вам известно, состояние дает вес в обществе. Принимая в соображение все оное, а равно положение, в котором вы находитесь, я не думаю, чтобы вы отказались породниться со мной. Ожидаю вашего ответа сегодня же или, в крайнем случае, завтра, чтобы не оставаться в неизвестности. Засвидетельствуйте мое нижайшее почтение Марье Андревне и передайте им, что я, как страстный их обожатель, с душевным трепетом ожидаю их ответа. С истинным почтением и таковою же преданностию честь имею пребыть Максим Беневоленский». Ну, что же, Машенька, надобно писать.

Марья Андреевна *(в волнении).* Погодите, маменька, погодите…

Анна Петровна. Чего ж годить-то? Маша! Послушай ты меня, — ведь уж этакой партии нам с тобой не дождаться. Максим Дорофеич человек деликатный, надо же ему что-нибудь написать,

чтоб не сумневался, по крайней мере.

Марья Андреевна. Погодите, маменька, ради бога, погодите, завтра… завтра…

Анна Петровна. Да отчего ж не теперь?

Марья Андреевна. Теперь я не могу. Я не знаю, что отвечать; я так взволнована… Мне нездоровится что-то, у меня голова болит. Я решительно не могу!..

Анна Петровна. Ну, как хочешь! Завтра так завтра. А я все-таки пойду подумаю, как написать поскладней. *(Уходит.)*

Явление четвертое

Марья Андреевна и Дарья.

Марья Андреевна. Даша, ты знаешь, где Владимир Васильич живет?

Дарья. Знаю, матушка.

Марья Андреевна. Беги к нему, Даша, голубушка, беги поскорей.

Дарья. Что вы, матушка! Ну, как маменька узнает!

Марья Андреевна. Ступай, ничего, ступай. Я как-нибудь скажу маменьке. Только, ради бога, поскорей. Скажи ему, чтоб он сейчас же пришел

сюда, сию минуту.

Дарья. Ну, видно, нечего с вами делать.

Марья Андреевна. Проворней, Даша, проворней!

Дарья уходит.

Явление пятое

Марья Андреевна *(одна).* Нет, этого не будет! Владимир спасет меня… Ну, как она его дома не застанет! Ну, а если… нет, этого не может быть, он меня любит. Ну, уж я теперь и сама не разберу, что я думаю, что я чувствую… мне только страшно чего-то. Ах, кабы она поскорей воротилась. Кто-то идет, не он ли? Нет, это Милашин.

Милашин входит.

Явление шестое

Марья Андреевна и Милашин.

Марья Андреевна. Скажите, Иван Иваныч, не видали ли вы Владимира Васильича?

Милашин. На что он вам?

Марья Андреевна. Ах, боже мой, когда я спра-

шиваю, значит, что нужно.

Милашин. Кто ж его знает. Помилуйте, разве можно знать, где подобные люди бывают!

Марья Андреевна отворачивается и плачет.

Вы думаете, я это говорю из ревности. Вы глубоко ошибаетесь. Мне вас жаль, и больше ничего.

Марья Андреевна. Сделайте милость, не жалейте. Да какое право вы имеете жалеть меня?

Милашин. Как вам угодно! Я из привязанности к вам, к вашей маменьке говорю это. Я опять-таки повторю, что такого человека, как Мерич, я бы, на месте Анны Петровны, к воротам бы не подпустил. Если Анне Петровне угодно, чтоб он расславлял везде, хвастался, что вы влюблены в него, так пускай принимает.

Марья Андреевна. Вы лжете!

Милашин. Я лгу? Нет, я никогда не лгу-с. Лжет кто-нибудь другой, только не я.

Марья Андреевна. Зачем вы мне говорите про него: вы знаете, что я не поверю вам. Я его люблю, слышите ли, люблю, люблю! Не смейте при мне говорить про него дурно.

Милашин. Вы его любите? А он вас любит, вы думаете?

Марья Андреевна. Послушайте, я начинаю те-

рять терпение! Или замолчите, или убирайтесь прочь от меня!

Милашин *(садится на другой стороне комнаты; молчание).* Вы меня обидели, Марья Андревна, жестоко обидели. Я желал вам добра, я с малолетства с вами знаком, а вы меня от себя гоните. Скажите, пожалуйста, чем я это заслужил? *(Молчание.) Я* только, по правам дружбы, хотел предостеречь вас.

Марья Андреевна. От кого предостеречь? Не нужно мне ваших предостережений.

Милашин. Теперь уж я вижу, что не нужно, — вы так ему слепо верите, что никого слушать не хотите. Я и не стану вас разуверять; а все-таки это не мешает мне знать про него кой-какие вещи, не очень хорошие.

Марья Андреевна. Вы можете знать и можете говорить кому угодно, а все-таки вам никто не поверит.

Милашин. Что я, подлец, что ли, по-вашему? Вот чего я дождался от вас за мою привязанность!

Марья Андреевна. Что ж вы узнали? Говорите.

Милашин. Много узнал, всего не перескажешь.

Марья Андреевна. И есть у вас доказательства?

Милашин. Какие же доказательства? Его поведение и без доказательств ясно.

Марья Андреевна. Ну, а если у вас нет доказательств, так я вам говорю: не верю, не верю, не верю!

Милашин. Может быть, когда-нибудь я и докажу вам мои слова на самом деле; только не будет ли поздно.

Марья Андреевна. Это уж не ваше дело. Когда будете иметь доказательства, тогда и говорите, а до тех пор молчите. *(Молчание.)* Что ж это так долго? *(Смотрит в окно. Молчание.)* Наконец-то!

Милашин. Что такое?

Марья Андреевна. Владимир Васильич. Ну, уж достанется ему от меня.

Мерич входит.

Явление седьмое

Те же и Мерич.

Марья Андреевна. Что это вы пропали? Как вам не совестно!

Мерич *(целует руку).* Виноват, Марья Андревна, виноват! И оправдываться не стану. Здравствуйте, Иван Иваныч.

Марья Андреевна. Мне нужно рассказать вам кой-какие новости, не совсем приятные.

Мерич. Неприятные! Это дурно. Вы меня пугаете.

Марья Андреевна. Да, для меня — очень неприятные.

Мерич. А если для вас они неприятны, так уж и для меня также.

Милашин. Отчего же это так? Позвольте вас спросить.

Мерич. По очень простой причине, Иван Иваныч: я принимаю очень близко к сердцу все, что касается до Марьи Андревны. Теперь вы поняли?

Марья Андреевна. Да, Иван Иваныч, это дело касается нас обоих.

Милашин. В таком случае извините.

Мерич. Что это вы похудели, побледнели, Марья Андревна?

Марья Андреевна. Я вам говорю, что у меня есть много неприятного; да уж и того довольно — я три дни вас не видала. Чего я не передумала в это время!..

Мерич. Если я был хоть сколько-нибудь причиной вашего горя, то я считаю себя так виноватым, что не смею и оправдываться. Сердце у вас доброе. А я постараюсь загладить свой проступок. Дайте ручку, в знак примирения. *(Целует у Марьи Андреевны руку.)*

Марья Андреевна. Да уж, конечно, виноваты. Как это не заглянуть почти неделю! Бог с вами! Я уж к вам посылала Дарью.

Мерич. Она, вероятно, меня не застала дома; мы с ней разошлись.

Милашин *(в сторону).* Это невыносимо!

Мерич. Зачем же вы присылали Дарью ко мне?

Марья Андреевна. За вами. Мне очень нужно с вами поговорить об одном весьма важном деле.

Милашин. Прощайте, Марья Андревна.

Марья Андреевна. Куда вы?

Милашин. За доказательствами.

Марья Андреевна. Желаю вам успеха.

Милашин уходит.

Явление восьмое

Марья Андреевна и Мерич.

Марья Андреевна. Владимир, Владимир! Что ты со мной делаешь! Я жду тебя не дождусь!

Мерич. Что такое, что такое! Об чем ты плачешь?

Марья Андреевна. Владимир, у нас страшное горе: мы проиграли дело… у нас отнимают все.

Мерич. Ах, боже мой!

Марья Андреевна. Что теперь делать? Маменька говорит, что нам будет жить нечем. Единственное средство мне — пожертвовать собой, выйти за Беневоленского. Я не могу опомниться, нынче я должна дать ответ.

Мерич. Как это скверно!

Марья Андреевна *(обнимает его).* Владимир, спаси меня!

Мерич *(освобождаясь).* Погоди, погоди. Поговорим хладнокровно.

Марья Андреевна. Как же я могу говорить об этом хладнокровно! Владимир, что мне делать!.. Жизнь и смерть моя от этого зависят. *(Обнимает его.)*

Мерич. Как ты, Мери, неосторожна! Ну, как кто увидит, что скажут?

Марья Андреевна. Мне теперь уж все равно, что бы ни говорили.

Мерич. А я-то чем же виноват! Ведь все на меня падет; скажут, что я тут бог знает что. Ты знаешь, у меня и без того какая репутация.

Марья Андреевна. Ты боишься? Ты, кажется, прежде не боялся.

Мерич. Ты не понимаешь, теперь совсем другое дело; тогда не было твоей маменьки.

Марья Андреевна. Что же мне делать! Я, ей-бо-

гу, не знаю.

Мерич. Ах, как это нехорошо, я совсем этого не ожидал.

Марья Андреевна. Владимир! Пока я не видала тебя, я бы пошла за кого угодно маменьке. Я полюбила тебя; ты мне говорил, что меня любишь, — как же мне теперь расстаться с тобой?

Мерич. Скажи же мне, Мери, сделай милость, чего тебе от меня хочется?

Марья Андреевна. Владимир, опомнись, что ты говоришь! В какое ты меня ставишь положение! Мне стыдно за себя. Я тебе, как другу, рассказываю свое горе, а ты спрашиваешь, чего мне хочется! Что же мне сказать тебе: женись на мне? Пощади меня!

Мерич. Ах, Мери! Мери! Ты не знаешь, в каких я теперь странных обстоятельствах. *(Ходит по комнате.)* Я решительно теперь ничего не могу придумать… решительно ничего.

Марья Андреевна. Ничего?

Мерич. Ничего.

Марья Андреевна. О боже мой! *(Закрывает лицо руками.)*

Мерич. То-то вот все еще неопытность! Мне надобно было бежать от тебя. Зачем я тебя встретил! О, судьба, судьба! Мне легче бы было совсем не

видать тебя, нежели смотреть, как ты страдаешь. Впрочем, я не думал, что ты так привяжешься ко мне.

Марья Андреевна. Что же ты думал?

М ер ич. Я думал, что из наших отношений не выйдет ничего серьезного.

Марья Андреевна. Ты хотел позабавиться от скуки, для развлечения, не правда ли? Не ты ли сам говорил, что играть любовью тебе надоело.

Мерич. Да разве я не люблю тебя? Разве я не страдаю теперь? О, кабы ты могла заглянуть в мою душу! Но как же быть? Надобно покориться своей участи; надобно быть тверже, Мери!

Марья Андреевна. Я была тверда, покаты не обманул меня так жестоко. И тебе не жаль меня? Скажи, ради бога!

Мерич. Мне очень жаль тебя, Мери, и тем больше жаль, что я не могу никак помочь тебе. Жениться я не могу на тебе, да и отец мой не позволит. Конечно, я бы не посмотрел на него, а обстоятельства, обстоятельства, которые гнетут меня всю жизнь…

Марья Андреевна. Ах, боже мой! Скажи ты мне, для чего ты меня обманывал, зачем клялся, когда я от тебя этого не требовала?

Мерич. Я люблю тебя, Мери! Я увлекся, я не

сообразил. Я человек очень страстный.

Марья Андреевна. Ты любил? Никогда ты не любил меня. Я одна любила. Теперь мне поведение твое стало ясно. Хоть уж и поздно, а я узнала тебя. Господи, боже мой! И ты смеешь называть это любовью! Хороша любовь! — не только без самопожертвования, даже без увлечения! На нас весь суд, нам не прощают ничего… Я к тебе бросаюсь на шею, а ты оглядываешься, не увидал бы кто. Ты вспомни хорошенько: бывало, ждешь тебя не дождешься; все глаза проглядишь, а ты придешь, как ни в чем не бывало, только разве обдумаешь дома, что говорить, да как бы сделать шаг вперед.

Мерич. Ты меня обижаешь. Что ж, ты можешь говорить, что хочешь, — ты вправе.

Марья Андреевна. Не говори, ради бога! Вспомни о совести хоть теперь-то. Теперь уж тебе нет никакой нужды лгать. Теперь тебе остается только хвастаться своими успехами.

Мерич. Послушай, однако за кого ж ты меня считаешь?

Марья Андреевна. За кого нужно.

Мерич. Я, наконец, не могу переносить этого. *(Берет шляпу.)*

Марья Андреевна. Ты уходишь? Прощай!

Мерич. Не могу же я слушать этого! Ну, я виноват, я сознаюсь, да все не так же, как ты говоришь. Все-таки я честный человек. Ведь обстоятельства, Мери, много значат… Где же вам это все знать — вы женщины.

Марья Андреевна. Верю, верю.

Мерич. Нет, право. Ты не сердись на меня. Я не мог и не могу иначе поступить при всей любви к тебе. Ты что хочешь говори, а я все-таки буду утверждать, что люблю тебя. Ты этому не веришь! Ты ошибаешься и обижаешь меня. Могу ли я не любить тебя, такое прекрасное, невинное создание!

Марья Андреевна. Перестань, ради бога!

Мерич. При других обстоятельствах я бы отдал все на свете за счастие обладать тобой.

Марья Андреевна. Перестань же наконец.

Мерич. Но мне не суждено; что ж делать! Нам нужно расстаться.

Марья Андреевна. Прощайте, прощайте!

Мерич целует руку, уходит медленно, потом возвращается.

Мерич. Нет, я решительно не могу уйти без того, чтоб еще раз не взглянуть на тебя. *(Стоит, сложа руки на груди.)* Ты на меня не сердишься?

Марья Андреевна. Не сержусь.

Мерич. Вот и прекрасно. Прощай, Мери, прощай! Желаю тебе всякого счастия. *(Отходит немного.)* Обо мне забудь! *(Уходит.)*

Явление девятое

Марья Андреевна *(одна).* И я поверила этому человеку! Как мне стыдно за себя… Он ушел, и ему ничего! Он даже рад, я думаю, что развязался… А я, я? За что же я страдаю, чем я виновата! О господи! зачем в людях так мало правды! Могла ли я знать, что он меня обманывает! Как мне было знать! Почем мне было знать!.. За что он меня обманул! *(Плачет.)*

Входит Милашин.

Явление десятое

Марья Андреевна и Милашин.

Милашин. Вот доказательства, Марья Андревна.

Марья Андреевна. Теперь уж не нужно.

Милашин. Значит, правду я говорил. Помилуй-

те, я его знаю очень хорошо. *(Читает.)* «Простите моей дерзости, но я не могу более скрывать страсти, которая меня сожигает». Скажите, какие нежности!

Марья Андреевна. Что вы там еще читаете?

Милашин. Вот, извольте посмотреть. *(Подает ей записки. Марья Андреевна читает про себя.)* Вы давеча говорили, что я лгу; я это помню, Марья Андревна.

Марья Андреевна *(рвет записки и бросает их за окно).* Только этого недоставало! Это ужасно!

Милашин. Вот у меня еще есть. Не хотите ли?

Марья Андреевна. Ах, боже мой! Да на что мне они? Оставьте меня, ради бога. Вы видите, в каком я положении. *(После непродолжительного молчания.) Я* сейчас видела Владимира Васильича.

Милашин. Что же он?

Марья Андреевна *(плачет).* Ему нет никакого дела до меня. Он говорит, что нужно покориться своей участи.

Милашин. Мерзавец! Марья Андревна, перестаньте, не плачьте! Я готов жизнию пожертвовать для вас.

Скажите, Марья Андревна, чем я могу быть для вас полезен, — я на все готов.

Марья Андреевна. Вы ничего не можете для

меня сделать. Дайте мне немного успокоиться. Мое самолюбие оскорблено, мне стыдно за себя. Я не о том плачу, что мне нужно пожертвовать собой — я уж примирилась с этой мыслию, — а об том, что я была игрушкой пустого человека. Чем вы мне можете помочь?

Милашин. Хотите, я его вызову на дуэль? Вы думаете, не вызову? Непременно вызову.

Марья Андреевна. Что вы выдумываете! Зачем вы это сделаете, как, по какому праву?

Милашин. Да, в самом деле, неловко! Я так только спросил у вас, а то, как вам угодно. Мне жизнь не дорога… Я не могу видеть, как вы страдаете! Неужели я решительно ничем не могу вам помочь?

Марья Андреевна. Одним только: оставьте меня в покое.

Милашин. Вы меня гоните! Вы вот как со мной поступаете! Ну, так я вам докажу, что я не заслуживаю этого. Я, Марья Андревна, не Мерич! Я очень хорошо понимаю ваше положение! Выйти за Беневоленского! Какому-нибудь скоту придет фантазия за вас свататься, а вы должны идти за него! Нет, это невыносимо! Это ужасно досадно! Знаете ли что, Марья Андревна? Я человек бедный, я, может быть, сам не знаю, чем содержать

себя одного, не только с женой, но я не сделал бы так, как Мерич: не уступил бы вас на жертву Беневоленскому. Марья Андревна! Я предлагаю вам свою руку, мне хочется доказать вам, что я благородный человек.

Марья Андреевна. Ах, Иван Иваныч, не хотелось бы мне вас обидеть, да нечего делать. Не нуждаюсь я ни в вашей помощи, ни в вашем благородстве; не пойду я за вас ни за что на свете.

Милашин. Да, конечно, я не Беневоленский; он завидный жених.

Марья Андреевна. Беневоленский человек с состоянием, да и маменька хочет, чтоб я за него вышла; вот почему я предпочту Беневоленского.

Милашин. Не угодно? Как вам угодно! Мне только одно обидно: за что вы меня унижаете, ставите хуже какого-нибудь Мерича. Я делаю вам честное предложение, а вы на меня сердитесь; а Мерича не гнали прочь, когда он ухаживал за вами.

Марья Андреевна. Послушайте, за кого вы меня принимаете? Вы даже не имеете уважения ко мне. Нет, надобно это покончить одним разом. Будет плакать. *(Утирает глаза.)* Если б теперь Мерич сделал предложение, я б не пошла за него. Я выхожу за Беневоленского — это решено. Незаметно, что я плакала? Мне хочется показать

маменьке, что я без всякого усилия решилась выйти замуж. Пусть она будет весела и покойна, я возьму все на себя. Полноте дуться и вы. Посмотрите, в самом деле, незаметно слез?

Милашин. Почти незаметно.

Марья Андреевна. Ну и слава богу! Станемте смеяться, станемте разговаривать о чем-нибудь о постороннем. Не были ли вы в театрах как-нибудь на днях?

Милашин. Вы думаете меня обмануть и себя также. Для чего это? Ведь я знаю, что у вас на душе.

Марья Андреевна *(топает ногой).* Я совсем вас не обманываю; мне, право, что-то вдруг весело сделалось. Давайте играть во что-нибудь. Ах, вот карты! Давайте играть в карты.

Милашин. Давайте, пожалуй, если вам угодно. *(Садится к столу.)*

Марья Андреевна. Во что же? В дураки давайте.

Милашин *(сдает).* Поиграемте, поиграемте. Послушайте, Марья Андревна, вы притворяетесь. Вы не хотите, чтоб я видел ваши слезы. Зачем же вы от меня-то скрываетесь: я вам не чужой. Это досадно!

Марья Андреевна. Играйте, играйте, а то останетесь.

Милашин. Вы так горды, что не хотите мне позволить принимать в вас участие. Ведь это заметно, что вы притворяетесь.

Марья Андреевна. Что, остались! *(Смеется.)*

Милашин. Ну что ж, остался. *(Мешает карты, сдает.)* Ведь это ужасно досадно! Это гордость! Вы меня этим унижаете, не считаете ни за что!..

Марья Андреевна. Вы принимаете! Еще принимаете. Ну, так вы опять остались! *(Хохочет.)*

Милашин. Ведь это невыносимо просто.

Марья Андреевна. Сдавайте, сдавайте. Что же вы!

Милашин сдает.

(Марья Андреевна задумывается, закрывает глаза платком и опирается на стол, потом утирает глаза и берет карты.) Кому ходить, мне?

Анна Петровна входит.

Явление одиннадцатое

Те же и Анна Петровна.

Анна Петровна. Что это у вас за смех?

Марья Андреевна. Да вот Иван Иваныч все остается. Вы совсем не умеете играть. Когда же мы,

маменька, напишем ответ Максиму Дорофеичу? *(Продолжает играть в карты.)* Поблагодарите его за предложение и напишите, что я согласна.

Анна Петровна. Ты, Маша, согласна? Ну, спасибо тебе, утешила ты меня. Вот теперь я вижу, что ты меня любишь. Обрадовала ты меня… Уж так обрадовала, что и сказать нельзя… Вот, Иван Иваныч, у меня дочка… И красавица и умница. Где тут бумага была? Вот теперь вдруг-то и не придумаешь, что написать. *(Берет бумагу и пишет.)*

Марья Андреевна и Милашин играют в карты.

Марья Андреевна *(Милашину).* Хоть бы поскорее это кончилось, моих сил больше нестает. *(Встает.)* Дайте, я вам помогу. Что вы пишете?

Анна Петровна. А вот: «Милостивый государь, Максим Дорофеич! Благодарю вас за лестное для нас предложение. Машенька согласна и просит вас сегодня на чашку чаю». Хорошо ли так-то? Уж я не знаю. А? Аль другое написать?

Марья Андреевна. Нет, прекрасно, прекрасно! Вот и отошлите поскорей.

Анна Петровна. Нет, в самом деле хорошо? Иван Иваныч, хорошо?

Милашин. Очень хорошо.

Анна Петровна. А не надо ли чего прибавить?

Марья Андреевна. Нет, не надо, ничего не на-

до… довольно и этого. Пошлите поскорей. Дарья, Дарья!

Входит Дарья.

Пошли поскорей кого-нибудь с этим письмом к Максиму Дорофеичу. Ступай, Дарья, поскорей. Я не выдержу больше… Иван Иваныч, мне дурно!

Милашин подбегает, подает ей стул,
Марья Андреевна сидит несколько времени в изнеможении, потом заливается слезами.

Анна Петровна. Машенька! Машенька! Что ты? Что с тобой?

Милашин *(в сторону).* Что же это такое!

Марья Андреевна. Ничего, это пройдет. Мне дурно что-то. Не беспокойтесь.

Анна Петровна. Поцелуй меня, Машенька! Умница ты моя…

Марья Андреевна. Что, маменька, хороший он человек?

Анна Петровна. Хороший! Уж я не отдам тебя за дурного.

Марья Андреевна *(в слезах).* Он меня станет любить? Если он меня будет любить, и я его буду любить.

Анна Петровна. Дао чем же ты плачешь-то,

глупенькая?

Милашин. Неужели это вас удивляет, что Марья Андревна плачет? Это странно!

Анна Петровна. А что ж тут, батюшка, странного? Она сама объявила желание выйти за Беневоленского, а теперь плачет. Чем же не партия?

Милашин. А что ж особенно завидного в Беневоленском?

Анна Петровна. А то, что ты молод еще судить-то постарше себя. Он солидный человек, с небольшим в тридцать лет уж состояние имеет; делом занимается, а у вас все гулимоны да пошлости на уме.

Милашин. Состояние! А где взял он это состояние, спросить надобно. У нас совесть есть, оттого и состояния нет. Состояние нажить немудрено.

Анна Петровна. Да, поди вот, наживи, да тогда уж и разговаривай!

Милашин. Яи теперь могу рассуждать, кто честный человек, а кто нет. Счастие не в богатстве, а в душевном спокойствии. Соединить свою судьбу с таким человеком, которого, того и гляди, отдадут под суд…

Анна Петровна. Да, очень нужны мне все эти резоны! Я, батюшка, мать! Так, зря, дела не сде-

лаю. Еще молод очень учить-то меня! Наживи-ка своих детей, да тогда и выдавай, как знаешь. Учить-то всякий умеет, а попробуй-ка за дело-то взяться, так и нет ничего. Все одни фантазии дурацкие. Вот тут с вами табатерку потеряла. О! чтоб вас! Дарья! Дарья!

Дарья *(входит).* Что угодно?

Анна Петровна. Что глаза-то вытаращила! Сыщи табатерку!

Дарья уходит.

Милашин. Меня вы можете бранить, сколько вам угодно, а за что же должна гибнуть Марья Андревна?

Анна Петровна. Поди ты, я тебя и слушать-то не хочу. А она должна понимать, кажется, что такое мать для нее. Чего мне стоило ее вырастить-то. Надо мне видеть от нее какое-нибудь утешение. Полно плакать-то!

Марья Андреевна. Разве я вам, маменька, не угождала? Разве вы были недовольны мной когда-нибудь?

Анна Петровна. Что там про старое толковать, я того и знать не хочу. Легко ли дело, нужно мне очень помнить, когда ты мне угодила, когда нет. Вот теперь я вижу твою благодарность. Мать на

старости лет ни дня, ни ночи покою не знает, женское дело, измаялась вся. Нашла ей жениха, что она и сама-то его не стоит, а она плачет да убивается, как будто я ей злодейка какая!

Марья Андреевна. Да ведь я, маменька, согласна.

Анна Петровна. Вижу я, как ты согласна-то.

Входит Дарья.

Что ты еще?

Дарья. Табатерку извольте.

Анна Петровна. Ишь ты, тебя принесло, нашла время!

Дарья *(идет).* Ну, раскудахталась.

Анна Петровна. Другая бы радовалась да не знала, как благодарить мать-то за такого жениха, а не то чтоб расстраивать. Мое дело женское, я женщина сырая, а тебе все ничего. Ты об матери-то и не думаешь, как бы мать порадовать.

Марья Андреевна. Маменька! Ради бога! Что вы говорите! *(Плачет.)* Боже мой, что это такое!

Анна Петровна *(помолчавши и успокоившись).* Что ж, конечно, я на тебя не могу пожаловаться, ты меня всегда слушалась… Да что ж теперь-то ты, Машенька!

Ну, полно, перестань! Мне ведь и самой тебя

жаль. Я тебя обидела… Что ж делать, прости. Я ведь женщина, у меня сердце слабое, горячее, раскипится другой раз, и не уймешь; сами виноваты, что до этого доводите! Иногда что и скажется сгоряча… Обижаться-то на меня за это грех, дело женское.

Марья Андреевна. Я на вас не обижаюсь…

Анна Петровна. Что ж делать, хороша ли, худа ли, все-таки мать. Выдешь замуж, и такой не будет. Ну, полно же, друг мой. Мне разве весело смотреть на тебя, как ты плачешь. Бог с тобой, что ты это!

Все лица на левой стороне;

входит Хорьков и останавливается среди сцены.

Явление двенадцатое

Те же и Хорьков.

Хорьков. Марья Андревна! Моя мать вас обидела; я пришел просить прощения за нее.

Анна Петровна. Да, батюшка, нечего сказать, хорошая женщина ваша маменька.

Марья Андреевна *(тихо).* Маменька, он, кажется, пьян; молчите, пожалуйста.

Милашин *(Марье Андреевне).* Он уж четвертый день пьет; как ушел тогда от вас, и запил. Ходит по комнате, плачет и пьет.

Марья Андреевна. Неужели? Ах, бедный!

Хорьков. Что такое? Слезы! Об чем вы плачете? Я не хотел вас обидеть… Я бы умер для вас, Марья Андревна. Это мать… Она простая женщина. Я не знал, что она была у вас, не знал… Я б ее не пустил к вам… Она простая женщина, не понимает ничего… Где же ей вас понять! Что же делать! Мать… любит… воспитала… Марья Андревна, простите! *(Становится на колени.)*

Марья Андреевна. Что вы, что вы, Михайло Иваныч! Встаньте! Я ни на вас, ни на вашу маменьку не сержусь; напротив, я вам очень благодарна за ваше расположение.

Хорьков *(встает).* Об чем же вы плачете? Скажите мне, об чем вы плачете? Кто вас обидел?

Анна Петровна. Ах, молодой человек, молодой человек…

Хорьков. Что вы, Анна Петровна!.. Ах, вы не знаете!.. Уж молчите лучше! *(К Марье Андреевне.)* Вас, вероятно, маменька обидела? Не сердитесь на нее… Бог с ними… они не знают… не сердитесь на нее… ведь любят… воспитывали… учили…

Анна Петровна. Пойдем, Машенька, пора

одеваться, скоро Максим Дорофеич приедет. *(Милашину тихо.)* Уведите его, Иван Иваныч.

Милашин *(берет шляпу).* Пойдемте, Михайло Иваныч.

Хорьков. Что? Мальчишка!

Милашин. Что же вы бранитесь! Я вас хочу увести отсюда, потому что вы пьяны.

Хорьков стоит, задумавшись.

Марья Андреевна *(встает).* Перестаньте, Иван Иваныч!

Милашин. Что же он бранится! Это досадно.

Хорьков. Да, скверно, скверно! Извините… Куда я годен! Пьяный… в чужом доме…

Марья Андреевна. Ах, как мне его жаль! Как мне его жаль!

Хорьков. Марья Андревна, не презирайте меня! Я люблю вас… Я не мог перенести вашего отказу. Конечно, это гадко… подло… недостойно… Но что ж делать, я жалкий человек! Я ведь люблю вас, очень люблю!..

Марья Андреевна. Я сама вас люблю, Михайло Иваныч. Я очень жалею, что поздно вас узнала. Я выхожу замуж… за Беневоленского. *(Плачет.)*

Хорьков. За Беневоленского!.. Это жертва… да, жертва. Что ж, благородно… благородно…

слезы…

Марья Андреевна *(садится на стул).* Ах, Михайло Иваныч, мне тяжело, очень тяжело!

Анна Петровна. Она это для матери делает. Максим Дорофеич — человек хороший и с состоянием.

Хорьков. Да, с состоянием. Слезы, слезы… вечные слезы… чахотка, не живши, не видавши радостей жизни… Прощайте. *(Становится на колени, берет руку Марьи Андреевны и целует.) Я* сам не переживу!

Марья Андреевна в обмороке, все суетятся около нее; Хорьков плачет, прислонившись к стене.

Действие пятое

Сцена представляет небольшую комнату. Направо от зрителей дверь в залу; ближе к зрителям трюмо; прямо — дверь в переднюю, налево диван, перед диваном круглый стол, далее еще дверь, в углу простой стол, на котором чашки и бутылки. Дарья устанавливает бутылки на столе, официант устанавливает чашки на поднос, потом берет поднос и идет к двери. Входит Добротворский.

Явление первое

Дарья, официант и Добротворский.

Добротворский. Ты что это, любезный, несешь?
Официант. Чай-с.

Добротворский. Арому-то что ж не захватил?

Официант. Сперва так обнесем-с.

Добротворский. Эх, братец! Не знаешь ты, кого чем потчевать. Ишь, все деловые люди собрались, со светлыми пуговицами сидят.

Официант. Дарья Семеновна, пожалуйте рому-с.

Дарья. Что там еще! О! Чтоб вас! Рому, что ль?

Официант. Рому требуют-с. *(Берет бутылку и ставит на поднос.)*

Добротворский. Дай уж и мне, я тут к сторонке сяду, на просторе пушнику попью. *(Берет чашку и садится на диван.)*

Официант уходит в дверь направо.

Входит женщина в капоте и в платке.

Женщина в капоте. Танцы будут, матушка? Барышни прислали спросить. У нас, матушка, семь барышень. Беспременно, говорят, узнай: коли танцы будут, так и мы придем посмотреть.

Дарья. Будут, будут. О! Чтоб вас тут!

Женщина уходит. Входят несколько лиц ипроходят к двери направо; в дверях показывается кучер.

Ты зачем?

Кучер. Свадьбу смотреть.

Дарья. О! Мужлан, туда же лезет!

Кучер. А ты что за барыня!

Дарья. Да ты не хайли! Что горло-то распустил?

Кучер. А вы потише, а то неравно испугаюсь.

Дарья. Говорят, пошел вон!

Кучер. Пойду. *(Уходит.)*

Дарья. О! Чтоб вас, так бы, кажется!.. *(Уходит.)*

Входят разные лица и смотрят в дверь направо.

Между ними две женщины, довольно хорошо одетые, девушка, покрытая платочком, и двое молодых людей в синих чулках.

Первый молодой человек *(девушке, покрытой платком).* Позвольте узнать, который жених-с?

Девушка. Вот этот.

Первый молодой человек. Так-с. А где невеста-с?

Девушка. Вот она.

Первый молодой человек. Так-с. А вы далеко живете-с?

Девушка. Не доходя — прошедши.

Первый молодой человек. Я сам оттедова недалечко-с. Позвольте вас проводить.

Девушка. И без вас дорогу знаем.

Второй молодой человек *(первому молодому человеку).* Что! Налетел с ковшом на брагу! *(Девушке.)* Что вы его слушаете, он у нас уж известный по этим делам. *(Кпервому.)* Что ты пристаешь, в самом деле! Тут, брат, тебе нечего взять. Ишь, разлетелся! *(Девушке.)* Он намедни из городу одну в Рогожскую провожал, а там его метлой дворник и пугнул; так взад-вперед даром пешком и проходил.

Пер вый молодой человек. Буде врать-то, любезный!

Второй молодой человек. Что врать-то! Не с твоим, брат, рылом! Ты видишь, барышня какая! Что вы, сударыня, здешние?

Продолжают говорить шепотом. Из толпы выходят на авансцену две женщины — Дуня и Паша.

Паша. Будто тебе его, Дуня, и не жаль?

Дуня. Ничего-таки не жаль. Что я жила — маялась! Приедет, бывало, пьяный да олаберный — так как обеснующий какой. Я уж давно ему говорю: развяжи ты мою голову; хоть бы ты женился; авось остепенишься немножко. Взял бы, говорю, хорошенькую барышню, так и сам бы, может быть, стал порядочным человеком, а то что так-то мотаешься!

Паша. Что ты говоришь!

Дуня. Да право, так, Паша.

Паша. Так это другое дело. Пойдем посмотрим приданое.

Дуня. Пойдем, Паша.

Уходят в дверь налево. Толпа мало-помалу расходится, остаются несколько старух. Добротворский пьет пунш.

Входят Марья Андреевна и Беневоленский.

Явление второе

Добротворский, Беневоленский и Марья Андреевна.

Беневоленский. Вы, сударыня, только извольте приказывать, а уж я буду все исполнять в точности.

Марья Андреевна. Вы меня станете слушаться во всем, Максим Дорофеич?

Беневоленский. Честное слово благородного человека.

Марья Андреевна. Я вам откровенно скажу: мне в вашем характере кой-что не нравится; мне бы хотелось, чтобы вы оставили некоторые привычки. С тем и иду за вас. Вы меня послушаетесь?

Беневоленский. Все, что вам угодно. Из любви к вам я на все готов. Вам не угодно было, чтоб я водку пил, — я ее бросил; вы мне не приказывали табак нюхать — я и не нюхаю. А, Платон Маркыч, ты здесь! Приходи ко мне как-нибудь, я тебе подарю серебряную табакерку.

Добротворский. Покорно благодарю, Максим Дорофеич, зайду как-нибудь.

Беневоленский. Я ваш покорнейший слуга на всю жизнь. Позвольте ручку поцеловать. Вам, может быть, угодно здесь одним остаться?

Марья Андреевна. Да, мне нужно поговорить с Платоном Маркычем.

Беневоленский. Ухожу-с. Видите, как я послушен. *(Подходит к Платону Марковичу.)* Что, ловко я себя держу?

Добротворский *(одобрительно кивая головой).* Хорошо.

Беневоленский уходит.

Явление третье

Марья Андреевна и Добротворский.

Марья Андреевна. Глупая, Платон Маркыч, скажите мне. Так ведь, не правда ли?

Добротворский. Что вы! Кто смеет сказать! Нет, вы у нас умница.

Марья Андреевна. Послушайте, Платон Маркыч, что мне в голову пришло. Может быть, вам это смешно покажется. Я думала, думала… да знаете ли, до чего додумалась?

Добротворский смотрит на нее.

Только вы не смейтесь надо мной… Мне по-

казалось, что я затем иду за него замуж, чтобы исправить его, сделать из него порядочного человека. Глупо ведь это, Платон Маркыч? Ведь это пустяки, нельзя этого сделать, а? Платон Маркыч, не так ли? Все это детские мечты?

Добротворский. Звери лютые, и те укрощаются…

Марья Андреевна. Без этой мысли, Платон Маркыч, мне было бы очень тяжело. Только этим я теперь и живу. Поддерживайте меня, Платон Маркыч.

Добротворский. Знаете ли, барышня, я вам русскую пословицу скажу: что будет, то будет, а что будет, то бог даст. А другая еще пословица говорится: суженого конем не объедешь.

Марья Андреевна садится на стул к трюмо и задумывается; входит Дарья и выгоняет со сцены зрителей, которые проходят в заднюю дверь.

Явление четвертое

Те же и Дарья.

Дарья. О, чтоб вас! Куда зашли! Коли хотите смотреть, так стойте в передней. Да чего и смотреть-то! Эка невидаль какая!

Марья Андреевна. Поправь мне прическу.

Добротворский уходит.

Дарья *(поправляет прическу).* Барышня, Владимир Васильич здесь в саду.

Марья Андреевна. Ну так что ж?

Дарья. Они просят позволения войти, хотят поговорить с вами.

Марья Андреевна. Это что еще? Затвори эту дверь. Позови его.

Дарья уходит.

Зачем он? Послушаем, что он скажет. Странно, как скоро я его разлюбила. Мне теперь он представляется совершенно посторонним человеком. Я его жду без всякого волнения. А прежде?

Мерич входит.

Явление пятое

Марья Андреевна и Мерич.

Марья Андреевна *(не оборачиваясь к нему).* Зачем вы?

Мерич. Поглядеть на вас последний раз. Неужели вы мне в этом откажете!

Марья Андреевна (поворачиваясь к нему). Хо-

роша я?

Мерич. Обворожительна.

Марья Андреевна. Прощайте, мне пора к жениху.

Мерич. Ах, погодите, Марья Андревна, ради бога. Выслушайте меня. Позвольте мне хоть полюбоваться на вас еще несколько минут.

Марья Андреевна. Я слушаю. Что вам угодно?

Мерич. Не сердитесь на меня, Марья Андревна.

Марья Андреевна. Я на вас не сержусь.

Мерич. Вы хотите сказать, что я не стою того, чтобы вы на меня сердились. Извините, вы, кажется, меня не так поняли. Мне хочется перед вами оправдаться.

Марья Андреевна. В чем вам оправдываться? Я во всем виню себя. Я думала, что вы человек, способный любить, и ошиблась. Я искала любви, вы — интриги, побед. Мы с вами не пара.

Мерич. Вас я любил истинно, Марья Андревна…

Марья Андреевна. Это неправда, Владимир Васильич. *(Подумав.)* Скажите, пожалуйста, кого вы обманываете? Чем вы берете? Все ваши победы, вероятно, то же, что было со мной. Девушка сама бросается к вам, а вы потом хвастаетесь победой. Не так ли? Я бы вас сама разлюбила скоро, как бы

далеко ни зашла наша любовь. Немного больше страданий, раскаяния, стыда, а все-таки разлюбила бы вас. Мне нужно было, чтоб меня любили! Только этого я хотела.

Мерич. Бесценная женщина!

Марья Андреевна. Вы прежде не хотели меня слушать, теперь вы выслушаете меня. Как бы я была счастлива, если б я родилась полегкомысленнее. Меня бы занимали наряды, маленькие интрижки, и все бы было так легко, весело; я бы влюблялась, забавлялась. Я теперь иначе смотрю на жизнь: я выхожу замуж и хочу быть хорошей женой.

Мерич. Боже мой, как я ошибался! Я не знал вас, Марья Андревна. Я теперь вижу всю пошлость своего поведения…

Марья Андреевна. Не знаю, от души вы сознаетесь или нет, но я вам верю, не хочу вас обижать. За себя я на вас не сержусь; я бы желала только, чтобы это послужило вам уроком. Расстанемся друзьями. *(Протягивает ему руку.)*

Мерич *(целуя ее руку).* Мери, я люблю тебя!

Марья Андреевна. Поздно, Владимир Васильич, поздно… Передо мной новый путь, и я его наперед знаю. У меня еще много впереди для женского сердца! Говорят, он груб, необразован, взяточник;

но это, быть может, оттого, что подле него не было порядочного человека, не было женщины. Говорят, женщина много может сделать, если захочет. Вот моя обязанность. И я чувствую, что во мне есть силы. Я заставлю его любить меня, уважать и слушаться. Наконец — дети, я буду жить для детей. Вы улыбаетесь! Как это честно с вашей стороны! Даже если бы все, что я вам говорю, были мечты одни, которым никогда не осуществиться, вы все-таки не должны разочаровывать меня. Мне они нужны, чтобы поддержать меня в моем теперешнем положении… Ах, Владимир Васильич, бог с вами… Ведь мне тяжело… Мне очень тяжело, — и никто не хочет знать этого.

Мерич. Я вам желаю всякого счастия. Но мне кажется, что с таким человеком оно для вас невозможно.

Марья Андреевна. Нет, Владимир Васильич, вам не видать моих страданий. Я не доставлю вам удовольствия пожалеть меня. Какие бы ни были обстоятельства, я хочу быть счастливой, хочу, — чего бы мне это ни стоило. За что же мне страдать? Рассудите сами, — ну, рассудите. За то, что я ошибалась, что меня безжалостно обманывали, что я, наконец, исполняю долг и спасаю мать… Нет, нет, нет!.. Я буду счастлива, буду лю-

бима… Не правда ли? Скажите… да, да… Говорите же! Мне так нужно, не противоречьте мне…

Мерич *(подумав).* Да!

Марья Андреевна. Покорно вас благодарю. Прощайте. *(Уходит.)*

Мерич *(один).* Какая умная девушка! Желал бы я знать, что она обо мне думает. Неужели она меня считает пустым человеком?.. А впрочем, еще слава богу, что так кончилось, — будь она поглупее, так не знал бы, как и развязаться; одним упрекам не было бы конца, а еще, пожалуй, женили бы.

Милашин входит.

Явление шестое

Мерич и Милашин.

Милашин. И вы здесь!

Мерич. Да, приходил проститься с Мери. Я ее любил, Иван Иваныч. Я от вас не скрою: для меня очень чувствительно потерять такую женщину. Ах, как она меня любила! И вы посмотрите на нее теперь: сколько у ней воли, как она твердо переносит свои страдания! Только я знаю, как она страдает. Я не говорю про себя — я мужчина. Вы здесь на вечере?

Милашин. Да.

Мерич. Сделайте милость, если заметите, что она будет очень грустить, утешайте ее, вы меня этим много обяжете. И, пожалуйста, старайтесь сделать так, чтобы ничто ей не напоминало меня. Я на вас надеюсь, Иван Иваныч. Прощайте… *(Уходит.)*

Явление седьмое

Милашин *(один).* Однако это ужасно! В целый вечер она не сказала со мной ни одного слова, а приходила сюда прощаться с Меричем. Я хожу, тоскую три часа сряду, и хоть бы один взгляд! Это ужасно досадно. Или лицо у меня не так выразительно, что ли? Мне хотелось бы, чтобы лицо мое выражало теперь самую глубокую скорбь. *(Смотрит в зеркало.)* Фу, какое глупое выражение… смешное даже! Нет, пусть же она заметит злую иронию в моих глазах. *(Смотрит в зеркало.)* А если она не захочет заметить… Ах, да из чего же я хлопочу?.. Уйти? Она, пожалуй, не заметит моего отсутствия. А, черт возьми!.. Нет, останусь. Буду хладнокровным зрителем, буду смотреть холодно. Из чего я в самом деле горячусь! А как она нынче хороша-то! Как держит себя! Нет, черт

возьми, это ужасно досадно. И какие скоты всё кругом нее! У меня, кажется, нынче разольется желчь. И этот жених, этот жених! И она еще к нему ласкается! Нет, она заметит, какими я глазами буду глядеть на него. *(Уходит.)*

Разные лица проходят по сцене к двери направо. Беневоленский и Добротворский входят под руку.

Явление восьмое

Беневоленский и Добротворский.

Беневоленский. Благодарен тебе, Платон Маркыч, весьма благодарен. Ты меня много, много обязал. Марья Андревна и умна и образованна. Именно такую жену мне и нужно.

Д о б р о т в о р с к и й. Хе, хе, хе, любезнейший! Что уж теперь толковать. Поддели молодца! Какова ни есть, уж теперь нечего назад пятиться!.. Шучу, шучу…

Беневоленский. Да-с, я тебе скажу, с этакой женой не стыдно показаться в общество. *(Останавливается перед зеркалом и гладит подбородок.)* Что ж, нас будет пара, как ты думаешь?

Добротворский. Ах вы, проказник! *(Хохочет.)*

Ишь ты, какие штучки выдумывает!

Беневоленский. Чему же ты смеешься?

Добротворский. Будет вам проказничать-то, уморили со смеху! Поцелуемтесь.

Целуются.

Беневоленский *(в сторону).* Чему он смеется? *(Добротворскому.)* Послушай, Платон Маркыч, у меня есть к тебе серьезное дело.

Добротворский. Что прикажете?

Беневоленский^*берет его под руку).* Все мы были молоды.

Добротворский кивает головой в знак согласия.

Молодость, как ты знаешь, имеет свои слабости. Ты сам это очень хорошо знаешь, иначе я бы тебе и не стал говорить.

Добротворский. Все мы грешны, и все мы смертны…

Беневоленский. Это правда, да не об том речь! Ты выслушай. Ошибки также весьма свойственны молодости. Я любил одну девушку…

Добротворский. Гм! Скажите! Хорошенькая была девушка?

Беневоленский. Очень недурна. Ну, конечно, из низкого сословия, но очень недурна. Только

характер у нее совсем не соответствовал наружности: ревнива…

Добротворский. Вам это кажется удивительно. Эх, молодость! Поживите-ка с наше, так не то увидите.

Вот я вам сейчас какую историю расскажу, вот послушайте, не вашей чета, а то, что вы мне рассказываете! Это еще до француза было…

Беневоленский. Ах, какой ты бестолковый, Платон Маркыч! Я боюсь, что она сюда придет.

Добротворский. Кто?

Беневоленский. Этадевушка-то.

Добротворский. Зачем? Нет, зачем она пойдет, что вы говорите!

Беневоленский. Пойми ты меня, Платон Маркыч: я тебе говорю, что она ревнива, так я боюсь, чтобы она тут шуму какого не наделала.

Добротворский. Вот что! а!.. Теперь я вас понял.

Беневоленский. Так уж ты распорядись, братец, так, чтобы не пускали никого посторонних.

Добротворский. Что ж вы, отец мой, у меня с Марьей-то Андревной делаете! Вы этак у меня ее уморите, сердечную… А уж вы, батюшка, эти глупости-то оставьте.

Беневоленский. Что ты, что ты! Я давно оставил. Только все-таки осторожность не мешает.

Понимаешь ты меня?

Добротворский. Хорошо-с, теперь понимаю. *(Уходит.)*

Явление девятое

Беневоленский *(один).* В жизни главное дело — ум и предусмотрительность. Что такое я был, и кто я теперь? Вот она история-то! Бывало, всякому встречному кланяешься, чтоб тебя не прибил как-нибудь, а теперь нас и рукой не достанешь. И капитал есть, и жену красавицу нашел. Черт возьми! *(Пожимает руки, потом дерет себя за хохол.)* Ах ты, Максимка Беневоленский! А думал ли ты об этом счастии, сидя в школе в затрапезном халате? Ничего, братец! Вот *(стучит себя пальцем полбу),* вот чем пробьем себе дорогу. Нужда ум родит, а ум родит деньгу, а с умом да с деньгами все можно сделать! *(Задумывается.)* Не поучиться ли мне танцевать? Поучусь. Или не надо? Нет, что! Деловому человеку неловко. А иногда так тебе и хочется плясать. *(Немного подпрыгивает.)*

Проходят разные лица из залы; он становится в приличную позу и закладывает руку за жилет. Из

двери налево выходят первая и вторая женщины — Паша и Дуня.

Дуня. Ах, Максим Дорофеич, здравствуйте. Наше вам почтение!

Беневоленский отворачивается в сторону.

Что ж, ты меня не узнал, что ли?

Беневоленский. Ах, это ты, Дуня! Зачем же ты…

Дуня. Невесту твою посмотреть.

Беневоленский. Да как же это! Ведь я не велел было…

Дуня. Что это не велел? Ты меня пускать не велел! Ах, бессовестный ты человек! Бесстыжие твои глаза!..

Беневоленский. Нет, я ничего… Я так! Что ж, Дуня, посмотри поди. Там вон невеста, там приданое…

Дуня. То-то, посмотри! Не глядели б мои глаза-то, кажется, на тебя. Вот, Паша, смотреть посылает, видишь, какой добрый! Сам все покажет. Что ж, матушка, ведь не чужой. Ах ты, соколик!

Беневоленский. Ты, Дуня, поосторожней — увидит кто-нибудь, нехорошо! *(Становится в позицию.)*

Дуня. А хочешь, сейчас дебош сделаю?

Беневоленский. Дура, дура! Что ты, что ты!

Дуня. Не бойся, не бойся! Что ты испугался? Я не в тебя.

Беневоленский. Нет, Дуня, полно, в самом деле. Коли тебе что нужно, ты лучше ко мне на дом приди.

Дуня. Не пойду я к тебе, не беспокойся.

Беневоленский. А здесь, Дуня, тебе что ж делать? Посмотри невесту и ступай.

Дуня. Уж я видела! Хороша ведь, Паша, уж можно сказать, что хороша. *(КБеневоленскому.)* Только сумеешь ли ты с этакой женой жить? Ты смотри, не загуби чужого веку даром. Грех тебе будет. Остепенись, да живи хорошенько. Это ведь не со мной: жили, жили, да и был таков. *(Утирает глаза.)*

Паша. А ты говорила, что тебе его не жаль.

Дуня. Ведь я его любила когда-то. Что ж, надо же когда-нибудь расставаться: не век так жить. Еще хорошо, что женится; авось будет жить порядочно. А все-таки, Паша, ты-то возьми, лет пять жили… ведь жалко. Конечно, немного я от него доброго видела… больше слез… одного сраму что перенесла. Так, ни за что прошла молодость, и помянуть нечем.

Паша. Что делать, Дуня.

Дуня. А ведь бывало, и ему рада-радешенька, как приедет. Смотри ж, живи хорошенько!

Беневоленский. Ну, уж конечно.

Дуня. То-то же. Эта ведь тебе навек, не то что я. Ну, прощай, не поминай лихом, добром нечем. Что это я, как дура, расплакалась, в самом деле! О! махнем рукой, Паша, завьем горе веревочкой!

Беневоленский. Прощай, Дуня!

Дуня. Адье, мусье! Пойдем, Паша.

Уходят.

Беневоленский. Сумасшедшая женщина! Еще хорошо, что так обошлось. Однако я было перетрухнул.

Входит официант.

Дай-ка мне, братец, рюмочку хересу. Фу! Как гора с плеч. Официант подает.

Благодарю, любезный. *(Уходит.)*

Появляются на сцене разные лица.

Две женщины.

Первая. Вот, говорят: не завидуй! Как тут не завидовать! Одна дочь, и той какого молодца поддели, а у меня вот три, да нейдут с рук. Что ты хочешь, делай!

А ведь, чай, малого-то опутали как-нибудь, а то где б ему жениться, ведь за ней ничего нет.

Вторая. Ну, уж, матушка, нашла, кому позавидовать!

Первая. А. что?

Вторая. Да, говорят, такой сокол, что беда!

Две старухи.

Первая старуха. Сундуки-то кованые, да, должно быть, пустые.

Вторая старуха. Ан нет, полные.

Первая старуха. Где уж полные! У них всего и добра-то кругом пальца обвести.

Вторая старуха. Ты в чужие сундуки-то лазила, что ль?

Первая старуха. Я не лазию — может, кто другой лазит.

Вторая старуха. Тебе только пересуживать, а самое-то с чем отдавали?

Первая старуха. Да уж почище тебя!

Вторая старуха. А кто по чужим дворам дрова ворует?

Первая старуха. Врешь, я не ворую.

Вторая старуха. Ан, воруешь.

Первая старуха. Ах, ты…

Скрываются в толпе. Из двери направо выходят

Анна Петровна, Добротворский иДарья.

Явление десятое

Анна Петровна, Добротворский и Дарья.

Анна Петровна. Ох, захлопоталась я нынче совсем, моченьки моей нет. Отдохнуть присесть. *(Садится на диван.)*

Добротворский. Что ж, свои ведь, сударыня, хлопоты. Своя ноша не тянет, говорит пословица. Благо все устроили.

Анна Петровна. Уж как я рада-то, Платон Маркыч, вы себе и представить не можете. Пора уж и мне знать покой. Женщина я слабая, сырая, во всем должна была себе отказывать. А я ведь как при покойнике-то жила, вы знаете, всем была избалована.

Добротворский. В холе жили и в неженье, Анна Петровна.

Анна Петровна. Ия вам скажу, Платон Маркыч, как я свадьбы всегда любила. Меня хлебом не корми, только где бы-нибудь на свадьбе пировать. Вот теперь бог привел дочку выдавать. Уж не чаяла, как и дождать-ся-то такой радости. Во сне сколько раз снилось. То приснится мне, что

пляшу я, вот так и пляшу, так и пляшу. Ведь я смолоду-то плясывала. А то вижу я раз, будто пьяна, вот так-таки совсем пьяна, и побранилась я с вами на чем свет стоит.

Добротворский. К радости, сударыня.

Анна Петровна. Ну да, слава богу, все теперь устроилось.

Добротворский. Слава богу, слава богу.

Анна Петровна. Дай-ка нам, Даша, винца какого-нибудь. Мы с Платоном Маркычем выпьем на радости.

Дарья подает на подносе бутылку и рюмки и ставит на стол,

Добротворский *(пьет).* Честь имею поздравить, Анна Петровна. Дай бог внучат и правнучат дождаться.

Анна Петровна. Покорно благодарю, Платон Маркыч. Вам, батюшка, мы всем этим обязаны.

Входит Марья Андреевна.

Явление одиннадцатое

Те же и Марья Андреевна.

Марья Андреевна. Вы здесь, маменька? Я вас

ищу. *(Подходит к матери.)*

Анна Петровна. Что тебе, душенька, что тебе?

Марья Андреевна. Так, маменька, что-то мне очень скучно стало. *(Садится на диван и припадает к матери головой.)*

Добротворский *(берет бокал).* Что делать-то, барышня, надобно привыкать! За ваше здоровье. Будете богаты, тогда и нас не забудьте. Хе, хе, хе! Пожалуйте ручку, барышня. *(Целует.)*

Анна Петровна *(пьет).* Ну, дочка, будь счастлива, не поминай лихом мать-старуху. Поживешь, сама узнаешь, что такое дети-то. *(Целует.)* Нравится ли он тебе? Признаться сказать, скоренько дело-то сделали; кто его знает, в него не влезешь.

Марья Андреевна *(в слезах).* Ничего, маменька, он мне нравится. Вы не глядите, что я плачу; это так, от волнения. Мне кажется, что я буду счастлива…

Голос из толпы. Другой, матушка, нравный, любит, чтоб ему угождали. Домой-то, известное дело, больше пьяные приезжают, так любят, чтоб сама ухаживала, людей к себе не подпускают.

Марья Андреевна. А если и не буду счастлива, так уж не вы виноваты; вы сделали для меня все, что могли, что умели. Благодарю вас, маменька, и вас, Платон Маркыч.

Из другой комнаты слышна музыка:

Беневоленский выходит, Марья Андреевна идет к нему навстречу и подает руку.

Добротворский *(подает руку Анне Петровне).* А мы с вами, сударыня, польскую пройдемся.

Уходят.

Одна из толпы. Эта, что ль, невеста-то?

Старуха. Эта, матушка, эта.

Женщина. Ишь ты, как плачет, бедная.

Старуха. Да, матушка, бедная: за красоту берет.

Гроза

Н. А. Добролюбов
Луч света в темном царстве[2]

(«Гроза». Драма в пяти действиях А.Н. Островского. СПб., 1860)

Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень подробно все произведения Островского. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда внимание на явления русской жизни, воспроизводимые в его пьесах, старались уловить их общий характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности, каким он представляется нам в произведениях нашего драматурга. Если читатели не забыли — мы пришли тогда к тому результату, что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображать резко и живо самые существенные ее стороны. «Гроза» вскоре послужила новым доказательством справедливости нашего заключения. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувствовали, что нам необходимо пришлось

---

[2] Примечания: 2
См. статьи «Темное царство» в «Современнике» 1859 года, № VII, IX.

бы при этом повторить многие из прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе», предоставив читателям, которые поинтересовались нашим мнением, поверить на ней те общие замечания, какие мы высказали об Островском еще за несколько месяцев до появления этой пьесы. Наше решение утвердилось в нас еще более, когда мы увидели, что по поводу «Грозы» появляется во всех журналах и газетах целый ряд больших и маленьких рецензий, трактовавших дело с самых разнообразных точек зрения. Мы думали, что в этой массе статеек скажется наконец об Островском и о значении его пьес что-нибудь побольше того, нежели что мы видели в критиках, о которых упоминали в начале первой статьи нашей о «Темном царстве»[3]. В этой надежде и сознании того, что наше собственное мнение о смысле и характере произведений Островского высказано уже довольно определенно, мы и сочли за лучшее оставить разбор «Грозы».

Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании и припоминая все, что было о ней писано, мы находим, что сказать о ней несколько слов с нашей стороны будет совсем не

---

[3] Примечания: 3
См. «Современник» 1859 года, № VII.

лишнее. Она дает нам повод дополнить кое-что в наших заметках о «Темном царстве», провести далее некоторые из мыслей, высказанных нами тогда, и — кстати — объясниться в коротких словах с некоторыми из критиков, удостоивших нас прямою или косвенною бранью.

Надо отдать справедливость некоторым из критиков: они умели понять различие, которое разделяет нас с ними. Они упрекают нас в том, что мы приняли дурную методу — рассматривать произведение автора и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в нем содержится и каково это содержимое. У них совсем другая метода: они прежде говорят себе — что *должно* содержаться в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере все *должное* действительно в нем находится (опять сообразно их понятиям). Понятно, что при таком различии воззрений они с негодованием смотрят на наши разборы, уподобляемые одним из них «приисканию морали к басне». Но мы очень рады тому, что наконец разница открыта, и готовы выдержать какие угодно сравнения. Да, если угодно, наш способ критики походит и на приискание нравственного вывода в басне: разница, например, в приложении к критике комедий Островского

— и будет лишь настолько велика, насколько комедия отличается от басни и насколько человеческая жизнь, изображаемая в комедиях, важнее и ближе для нас, нежели жизнь ослов, лисиц, тростинок и прочих персонажей, изображаемых в баснях. Во всяком случае, гораздо лучше, по нашему мнению, разобрать басню и сказать: «вот какая мораль в ней содержится, и эта мораль кажется нам хороша или дурна, и вот почему», — нежели решить с самого начала: в этой басне должна быть такая-то мораль (например, почтение к родителям) и вот как должна она быть выражена (например, в виде птенца, ослушавшегося матери и выпавшего из гнезда); но эти условия не соблюдены, мораль не та (например, небрежность родителей о детях) или высказана не так (например, в примере кукушки, оставляющей свои яйца в чужих гнездах), — значит, басня не годится. Этот способ критики мы видели не раз в приложении к Островскому, хотя никто, разумеется, и не захочет в том признаться, а еще на нас же, с больной головы на здоровую, свалят обвинение, что мы приступаем к разбору литературных произведений с заранее принятыми идеями и требованиями. А между тем чего же яснее, — разве не говорили славянофилы: следует

изображать русского человека добродетельным и доказывать, что корень всякого добра — жизнь по старине; в первых пьесах своих Островский этого не соблюл, и потому «Семейная картина» и «Свои люди» недостойны его и объясняются только тем, что он еще подражал тогда Гоголю. А западники разве не кричали: следует научать в комедии, что суеверие вредно, а Островский колокольным звоном спасает от погибели одного из своих героев; следует вразумлять всех, что истинное благо состоит в образованности, а Островский в своей комедии позорит образованного Вихорева перед неучем Бородкиным; ясно, что «Не в свои сани не садись» и «Не так живи, как хочется» — плохие пьесы. А приверженцы художественности разве не провозглашали: искусство должно служить вечным и всеобщим требованиям эстетики, а Островский в «Доходном месте» низвел искусство до служения жалким интересам минуты; потому «Доходное место» недостойно искусства и должно быть причислено к обличительной литературе!.. А г. Некрасов из Москвы разве не утверждал: Большов не должен в нас возбуждать сочувствия, а между тем 4-й акт «Своих людей» написан для того, чтобы возбудить в нас сочувствие к Большову; стало быть, четвертый акт лишний!.. А

г. Павлов (Н.Ф.) разве не извивался, давая разуметь такие положения: русская народная жизнь может дать материал только для балаганных представлений; в ней нет элементов для того, чтобы из нее состроить что-нибудь сообразное «вечным» требованиям искусства; очевидно поэтому, что Островский, берущий сюжеты из простонародной жизни, есть не более как балаганный сочинитель… А еще один московский критик разве не строил таких заключений: драма должна представлять нам героя, проникнутого высокими идеями; героиня «Грозы», напротив, вся проникнута мистицизмом, следовательно, не годится для драмы, ибо не может возбуждать нашего сочувствия; следовательно, «Гроза» имеет только значение сатиры, да и то неважной, и проч, и проч…

Кто следил за тем, что писалось у нас по поводу «Грозы», тот легко припомнит и еще несколько подобных критик. Нельзя сказать, чтоб все они были написаны людьми совершенно убогими в умственном отношении; чем же объяснить то отсутствие прямого взгляда на вещи, которое во всех них поражает беспристрастного читателя? Без всякого сомнения, его надо приписать старой критической рутине, которая осталась во многих

головах от изучения художественной схоластики в курсах Кошанского, Ивана Давыдова, Чистякова и Зеленецкого. Известно, что, по мнению сих почтенных теоретиков, критика есть приложение к известному произведению общих законов, излагаемых в курсах тех же теоретиков: подходит под законы — отлично; не подходит — плохо. Как видите, придумано недурно для отживающих стариков: покамест такое начало живет в критике, они могут быть уверены, что не будут считаться совсем отсталыми, что бы ни происходило в литературном мире. Ведь законы прекрасного установлены ими в их учебниках, на основании тех произведений, в красоту которых они веруют; пока всё новое будут судить на основании утвержденных ими законов, до тех пор изящным и будет признаваться только то, что с ними сообразно, ничто новое не посмеет предъявить своих прав; старички будут правы, веруя в Карамзина и не признавая Гоголя, как думали быть правыми почтенные люди, восхищавшиеся подражателями Расина и ругавшие Шекспира пьяным дикарем, вслед за Вольтером, или преклонявшиеся пред «Мессиадой» и на этом основании отвергавшие «Фауста». Рутинерам, даже самым бездарным, нечего бояться критики,

служащей пассивною поверкою неподвижных правил тупых школяров, — и в то же время — нечего надеяться на нее самым даровитым писателям, если они вносят в искусство нечто новое и оригинальное. Они должны идти наперекор всем нареканиям «правильной» критики, назло ей составить себе имя, назло ей основать школу и добиться того, чтобы с ними стал соображаться какой-нибудь новый теоретик при составлении нового кодекса искусства. Тогда и критика смиренно признает их достоинства; а до тех пор она должна находиться в положении несчастных неаполитанцев в начале нынешнего сентября — которые хоть и знают, что не нынче, так завтра к ним Гарибальди придет, а все-таки должны признавать Франциска своим королем, пока его королевскому величеству не угодно будет оставить свою столицу.

Мы удивляемся, как почтенные люди решаются признавать за критикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Ведь, ограничивая ее приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и временным явлениям, через это самое осуждают искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значение.

И это делают многие от чистого сердца! Один из авторов, о котором мы высказали свое мнение несколько непочтительно, напомнил нам, что неуважительное обращение судьи с подсудимым есть преступление. О, наивный автор! Как он преисполнен теориями Кошанского и Давыдова! Он совершенно серьезно принимает пошлую метафору, что критика есть трибунал, пред который авторы являются в качестве подсудимых! Вероятно, он принимает также за чистую монету и мнение, что плохие стихи составляют грех пред Аполлоном и что плохих писателей в наказание топят в реке Лете!.. Иначе — как же не видеть разницы между критиком и судьею? В суд тянут людей по подозрению в проступке или преступлении, и дело судьи решить, прав или виноват обвиненный; а писатель разве обвиняется в чем-нибудь, когда подвергается критике? Кажется, те времена, когда занятие книжным делом считалось ересью и преступлением, давно уже прошли. Критик говорит свое мнение, нравится или не нравится ему вещь; и так как предполагается, что он не пустозвон, а человек рассудительный, то он и старается представить резоны, почему он считает одно хорошим, а другое дурным. Он не считает своего мнения решительным приговором, обя-

зательным для всех; если уж брать сравнение из юридической сферы, то он скорее адвокат, нежели судья. Ставши на известную точку зрения, которая ему кажется наиболее справедливою, он излагает читателям подробности дела, как он его понимает, и старается им внушить свое убеждение в пользу или против разбираемого автора. Само собою разумеется, что он при этом может пользоваться всеми средствами, какие найдет пригодными, лишь бы они не искажали сущности дела: он может вас приводить в ужас или в умиление, в смех или в слезы, заставлять автора делать невыгодные для него признания или доводить его до невозможности отвечать. Из критики, исполненной таким образом, может произойти вот какой результат: теоретики, справясь с своими учебниками, могут все-таки увидеть, согласуется ли разобранное произведение с их неподвижными законами, и, исполняя роль судей, порешат, прав или виноват автор. Но известно, что в гласном производстве нередки случаи, когда присутствующие в суде далеко не сочувствуют тому решению, какое произносится судьею сообразно с такими-то статьями кодекса: общественная совесть обнаруживает в этих случаях полный разлад со статьями закона.

То же самое еще чаще может случаться и при обсуждении литературных произведений: когда критик-адвокат надлежащим образом поставит вопрос, сгруппирует факты и бросит на них свет известного убеждения — общественное мнение, не обращая внимания на кодексы пиитики, будет уже знать, чего ему держаться.

Если внимательно присмотреться к определению критики «судом» над авторами, то мы найдем, что оно очень напоминает то понятие, какое соединяют с словом *«критика»* наши провинциальные барыни и барышни и над которым так остроумно подсмеивались, бывало, наши романисты. Еще и ныне не редкость встретить такие семейства, которые с некоторым страхом смотрят на писателя, потому что он «на них критику напишет». Несчастные провинциалы, которым раз забрела в голову такая мысль, действительно представляют из себя жалкое зрелище подсудимых, которых участь зависит от почерка пера литератора. Они смотрят ему в глаза, конфузятся, извиняются, оговариваются, как будто в самом деле виноватые, ожидающие казни или милости. Но надо сказать, что такие наивные люди начинают выводиться теперь и в самых далеких захолустьях. Вместе с тем как

право «сметь свое суждение иметь» перестает быть достоянием только известного ранга или положения, а делается доступно всем и каждому, вместе с тем и в частной жизни появляется более солидности и самостоятельности и менее трепета пред всяким посторонним судом. Теперь уже высказывают свое мнение просто затем, что лучше его объявить, нежели скрывать, высказывают потому, что считают полезным обмен мыслей, признают за каждым право заявлять свой взгляд и свои требования, наконец, считают даже обязанностью каждого участвовать в общем движении, сообщая свои наблюдения и соображения, какие кому по силам. Отсюда далеко до роли судьи. Если я вам скажу, что вы по дороге платок потеряли или что вы идете не в ту сторону, куда вам нужно, и т. п., — это еще не значит, что вы мой подсудимый. Точно так же не буду я вашим подсудимым и в том случае, когда вы начнете описывать меня, желая дать обо мне понятие вашим знакомым. Входя в первый раз в новое общество, я очень хорошо знаю, что надо мною делают наблюдения и составляют мнения обо мне; но неужели мне поэтому следует воображать себя перед каким-то ареопагом — и заранее трепетать, ожидая приговора? Без всяко-

го сомнения, замечания обо мне будут сделаны: один найдет, что у меня нос велик, другой — что борода рыжая, третий — что галстук дурно повязан, четвертый — что я угрюм, и т. д. Ну и пусть их замечают, мне-то что за дело до этого? Ведь моя рыжая борода — не преступление, и никто не может спросить у меня отчета, как я смею иметь такой большой нос. Значит, тут мне и думать не о чем: нравится или нет моя фигура, это дело вкуса, и высказывать мнение о ней я никому запретить не могу; а с другой стороны, меня и не убудет от того, что заметят мою неразговорчивость, ежели я действительно молчалив. Таким образом, первая критическая работа (в нашем смысле) — подмечание и указание фактов — совершается совершенно свободно и безобидно. Затем другая работа — суждение на основании фактов — продолжает точно так же держать того, кто судит, совершенно в равных шансах с тем, о ком он судит. Это потому, что, высказывая свой вывод из известных данных, человек всегда и самого себя подвергает суду и поверке других относительно справедливости и основательности его мнения. Если, например, кто-нибудь на основании того, что мой галстук повязан не совсем изящно, решит, что я дурно воспитан, то такой судья рискует

дать окружающим не совсем высокое понятие о его логике. Точно так если какой-нибудь критик упрекает Островского за то, что лицо Катерины в «Грозе» отвратительно и безнравственно, то он не внушает особенного доверия к чистоте собственного нравственного чувства. Таким образом, пока критик указывает факты, разбирает их и делает свои выводы, автор безопасен и самое дело безопасно. Тут можно претендовать только на то, когда критик искажает факты, лжет. А если он представляет дело верно, то, каким бы тоном он ни говорил, к каким бы выводам он ни приходил, от его критики, как от всякого свободного и фактами подтверждаемого рассуждения, всегда будет более пользы, нежели вреда, — для самого автора, если он хорош, и, во всяком случае, для литературы — даже если автор окажется и дурен. Критика не судейская, а обыкновенная, как мы ее понимаем, — хороша уже и тем, что людям, не привыкшим сосредоточивать своих мыслей на литературе, дает, так сказать, экстракт писателя и тем облегчает возможность понимать характер и значение его произведений. А как скоро писатель понят надлежащим образом, мнение о нем не замедлит составиться и справедливость будет ему отдана, без всяких разрешений со стороны

почтенных составителей кодексов.

Правда, иногда, объясняя характер известного автора или произведения, критик сам может найти в произведении то, чего в нем вовсе нет. Но в этих случаях критик всегда сам выдает себя. Если он вздумает придать разбираемому творению мысль более живую и широкую, нежели какая действительно положена в основание его автором, — то, очевидно, он не в состоянии будет достаточно подтвердить свою мысль указаниями на самое сочинение, и, таким образом, критика, показавши, чем бы могло быть разбираемое произведение, чрез то самое только яснее выкажет бедность его замысла и недостаточность исполнения. В пример подобной критики можно указать, например, на разбор Белинским «Тарантаса»; написанный с самой злой и тонкой иронией, разбор этот многими принимаем был за чистую монету, но и эти многие находили, что смысл, приданный «Тарантасу» Белинским, очень хорошо проводится в его критике; но с самым сочинением графа Соллогуба ладится плохо. Впрочем, такого рода критические утрировки встречаются очень редко. Гораздо чаще другой случай — что критик действительно не поймет разбираемого автора и выведет из его сочинения то, чего совсем и не

следует. Так и тут беда не велика: способ рассуждений критика сейчас покажет читателю, с кем он имеет дело, и будь только факты налицо в критике — фальшивые умствования не надуют читателя. Например, один, г. П-ий, разбирая «Грозу», решился последовать той же методе, какой мы следовали в статьях о «Темном царстве», и, изложивши сущность содержания пьесы, принялся за выводы. Оказалось, по его соображениям, что Островский в «Грозе» вывел на смех Катерину, желая в ее лице опозорить русский мистицизм. Ну, разумеется, прочитавши такой вывод, сейчас и видишь, к какому разряду умов принадлежит г. П-ий и можно ли полагаться на его соображения. Никого такая критика не собьет с толку, никому она не опасна…

Совсем другое дело та критика, которая приступает к авторам, точно к мужикам, приведенным в рекрутское присутствие, с форменною меркою, и кричит то «лоб!», то «затылок!», смотря по тому, подходит новобранец под меру или нет. Там расправа короткая и решительная; и если вы верите в вечные законы искусства, напечатанные в учебнике, то вы от такой критики не отвертитесь. Она по пальцам докажет вам, что то, чем вы восхищаетесь, никуда не годится, а от чего

вы дремлете, зеваете или получаете мигрень, это-то и есть настоящее сокровище. Возьмите, например, хоть «Грозу»: это что такое? Дерзкое оскорбление искусства, ничего больше, — и это очень легко доказать. Раскройте «Чтения о словесности» заслуженного профессора и академика Ивана Давыдова, составленные им с помощию перевода лекций Блэра, или загляните хоть в кадетский курс словесности г. Плаксина, — там ясно определены условия образцовой драмы. Предметом драмы непременно должно быть событие, где мы видим борьбу страсти и долга — с несчастными последствиями победы страсти или с счастливыми, когда побеждает долг. В развитии драмы должно быть соблюдаемо строгое единство и последовательность; развязка должна естественно и необходимо вытекать из завязки; каждая сцена должна непременно способствовать движению действия и подвигать его к развязке; поэтому в пьесе не должно быть ни одного лица, которое прямо и необходимо не участвовало бы в развитии драмы, не должно быть ни одного разговора, не относящегося к сущности пьесы. Характеры действующих лиц должны быть ярко обозначены, и в обнаружении их должна быть необходима постепенность, со-

образно с развитием действия. Язык должен быть сообразен с положением каждого лица, но не удаляться от чистоты литературной и не переходить в вульгарность.

Вот, кажется, все главные правила драмы. Приложим их к «Грозе».

Предмет драмы действительно представляет борьбу в Катерине между чувством долга супружеской верности и страсти к молодому Борису Григорьевичу. Значит, первое требование найдено. Но затем, отправляясь от этого требования, мы находим, что другие условия образцовой драмы нарушены в «Грозе» самым жестоким образом.

И во-первых, «Гроза» не удовлетворяет самой существенной внутренней цели драмы — внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия увлечения страстью. Катерина, эта безнравственная, бесстыжая (по меткому выражению Н.Ф. Павлова) женщина, выбежавшая ночью к любовнику, как только муж уехал из дому, эта преступница, представляется нам в драме не только не в достаточно мрачном свете, но даже с каким-то сиянием мученичества вокруг чела. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно, вокруг нее все так дурно, что против нее у вас нет негодования, вы ее сожалеете, вы

вооружаетесь против ее притеснителей и, таким образом, в ее лице оправдываете порок. Следовательно, драма не выполняет своего высокого назначения и делается если не вредным примером, то по крайней мере праздною игрушкой.

Далее, с чисто художественной точки зрения находим также недостатки весьма важные. Развитие страсти представлено недостаточно: мы не видим, как началась и усилилась любовь Катерины к Борису и чем именно была она мотивирована; поэтому и самая борьба страсти и долга обозначается для нас не вполне ясно и сильно.

Единство впечатления также не соблюдено: ему вредит примесь постороннего элемента — отношений Катерины к свекрови. Вмешательство свекрови постоянно препятствует нам сосредоточивать наше внимание на той внутренней борьбе, которая должна происходить в душе Катерины.

Кроме того, в пьесе Островского замечаем ошибку против первых и основных правил всякого поэтического произведения, непростительную даже начинающему автору. Эта ошибка специально называется в драме — «двойственностью интриги»: здесь мы видим не одну любовь, а две — любовь Катерины к Борису и любовь Варвары

к Кудряшу. Это хорошо только в легких французских водевилях, а не в серьезной драме, где внимание зрителей никак не должно быть развлекаемо по сторонам.

Завязка и развязка также грешат против требований искусства. Завязка заключается в простом случае — в отъезде мужа; развязка также совершенно случайна и произвольна: эта гроза, испугавшая Катерину и заставившая ее все рассказать мужу, есть не что иное, как deus ex machina[4], не хуже водевильного дядюшки из Америки.

Все действие идет вяло и медленно, потому что загромождено сценами и лицами совершенно ненужными. Кудряш и Шапкин, Кулигин, Феклуша, барыня с двумя лакеями, сам Дико́й — все это лица, существенно не связанные с основою пьесы. На сцену беспрестанно входят ненужные лица, говорят вещи, не идущие к делу, и уходят, опять неизвестно зачем и куда. Все декламации Кулигина, все выходки Кудряша и Дикого, не говоря уже о полусумасшедшей барыне и о разговорах городских жителей во время грозы, — могли бы быть выпущены без всякого ущерба для

---

[4] Примечания: 4
Бог из машины *(лат.).*

сущности дела.

Строго определенных и отделанных характеров в этой толпе ненужных лиц мы почти не находим, а о постепенности в их обнаружении нечего и спрашивать. Они являются нам прямо ex abrupto[5], с ярлычками. Занавес открывается: Кудряш с Кулигиным говорят о том, какой ругатель Дико́й, вслед за тем является и Дико́й и еще за кулисами ругается… То же и Кабанова. Так же точно и Кудряш с первого слова дает знать себя, что он «лих на девок»; и Кулигин при самом появлении рекомендуется как самоучка-механик, восхищающийся природою. Да так с этим они и остаются до самого конца: Дико́й ругается, Кабанова ворчит, Кудряш гуляет ночью с Варварой… А полного, всестороннего развития их характеров мы не видим во всей пьесе. Сама героиня изображается весьма неудачно: как видно, сам автор не совсем определенно понимал этот характер, потому что, не выставляя Катерину лицемеркою, заставляет ее, однако же, произносить чувствительные монологи, а на деле показывает ее нам как женщину бесстыжую, увлекаемую одною чувственностью. О герое нечего и говорить — так

---

[5] Примечания: 5
Неожиданно *(лат.).*

он бесцветен. Сами Дико́й и Кабанова, характеры наиболее в genre'е[6] Островского, представляют (по счастливому заключению г. Ахшарумова или кого-то другого в этом роде) намеренную утрировку, близкую к пасквилю, и дают нам не живые лица, а «квинтэссенцию уродств» русской жизни.

Наконец, и язык, каким говорят действующие лица, превосходит всякое терпение благовоспитанного человека. Конечно, купцы и мещане не могут говорить изящным литературным языком; но ведь нельзя же согласиться и на то, что драматический автор, ради верности, может вносить в литературу все площадные выражения, которыми так богат русский народ. Язык драматических персонажей, кто бы они ни были, может быть прост, но всегда благороден и не должен оскорблять образованного вкуса. А в «Грозе» послушайте, как говорят все лица: «Пронзительный мужик! что ты с рылом-то лезешь! Всю нутренную разжигает! Женщины себе тела никак нагулять не могут!..» Что это за фразы, что за слова? Поневоле повторишь с Лермонтовым:

С кого они портреты пишут?

---

[6] Примечания: 6
Манере *(фр.). — Ред.*

Где разговоры эти слышат?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим.

Может быть, «в городе Калинове, на берегу Волги» и есть люди, которые говорят таким образом, но что же нам-то за дело до этого?

Читатель понимает, что мы не употребляли особенных стараний, чтоб сделать убедительной эту критику; оттого в ней легко приметить в иных местах живые нитки, которыми она сшита. Но уверяем, что ее можно сделать чрезвычайно убедительною и победоносною, можно ею уничтожить автора, раз ставши на точку зрения школьных учебников. И если читатель согласится дать нам право приступить к пьесе с заранее приготовленными требованиями относительно того, что и как в ней *должно* быть, — больше нам ничего не нужно: все, что несогласно с принятыми у нас правилами, мы сумеем уничтожить. Выписки из комедии явятся весьма добросовестно для подтверждения наших суждений; цитаты из разных ученых книг, начиная с Аристотеля и кончая Фишером, составляющим, как известно, последний, окончательный момент эстетической теории, докажут вам солидность нашего

образования; легкость изложения и остроумие помогут нам увлечь ваше внимание, и вы, сами не замечая, придете к полному согласию с нами. Только пусть ни на минуту не заходит в вашу голову сомнение в нашем полном праве предписывать автору обязанности и затем *судить* его, верен ли он этим обязанностям или провинился перед ними…

Но вот в этом-то и горе, что от подобного сомнения не убережется теперь ни один читатель. Презренная толпа, прежде благоговейно, разинув рот внимавшая вашим вещаниям, теперь представляет плачевное и опасное для нашего авторитета зрелище массы, вооруженной, по прекрасному выражению г. Тургенева, «обоюдоострым мечом анализа». Всякий говорит, читая нашу громоносную критику: «Вы предлагаете нам свою «бурю», уверяя, что в «Грозе» то, что есть, — лишнее, а чего нужно, того недостает. Но ведь автору «Грозы», вероятно, кажется совсем противное; позвольте нам разобрать вас. Расскажите, анализируйте нам пьесу, покажите ее, как она есть, и дайте нам ваше мнение о ней на основании ее же самой, а не по каким-то устарелым соображениям, совсем ненужным и посторонним. По-вашему, того-то и того-то не должно быть; а может быть, оно в

пьесе-то и хорошо приходится, так тогда почему ж не должно?» Так осмеливается резонировать теперь всякий читатель, и этому обидному обстоятельству надо приписать то, что, например, великолепные критические упражнения Н. Ф. Павлова по поводу «Грозы» потерпели такое решительное фиаско. В самом деле, на критика «Грозы» в «Нашем времени» поднялись все — и литераторы и публика, и, конечно, не за то, что он осмелился показать недостаток уважения к Островскому, а за то, что в своей критике он выразил неуважение к здравому смыслу и доброй воле русской публики. Давно уже все видят, что Островский во многом удалился от старой сценической рутины, что в самом замысле каждой из его пьес есть условия, необходимо увлекающие его за пределы известной теории, на которую указали мы выше. Критик, которому эти уклонения не нравятся, должен был начать с того, чтоб их отметить, охарактеризовать, обобщить и затем прямо и откровенно поставить вопрос между ними и старой теорией. Это была обязанность критика не только перед разбираемым автором, но еще больше перед публикой, которая так постоянно одобряет Островского, со всеми его вольностями и уклонениями, и с каждой новой

пьесой все больше к нему привязывается. Если критик находит, что публика заблуждается в своей симпатии к автору, который оказывается преступником против его теории, то он должен был начать с защиты этой теории и с серьезных доказательств того, что уклонения от нее — не могут быть хороши. Тогда он, может быть, и успел бы убедить некоторых, и даже многих, так как у Н. Ф. Павлова нельзя отнять того, что он владеет фразою довольно ловко. А теперь — что он сделал? Он не обратил ни малейшего внимания на тот факт, что старые законы искусства, продолжая существовать в учебниках и преподаваться с гимназических и университетских кафедр, давно уж, однако, потеряли святыню неприкосновенности в литературе и в публике. Он отважно принялся разбивать Островского по пунктам своей теории, насильно заставляя читателя считать ее неприкосновенною. Он счел удобным только поиронизировать насчет господина, который, будучи «ближним и братом» г. Павлова по месту в первом ряду кресел и по «свежим» перчаткам, осмелился, однако, восхищаться пьесою, которая была так противна Н. Ф. Павлову. Такое пренебрежительное обращение с публикою, да и с самым вопросом, за решение которого критик взялся,

естественно, должно было возбудить большинство читателей скорее против него, нежели в его пользу. Читатели дали заметить критику, что он с своей теорией вертится как белка в колесе, и потребовали, чтоб он вышел из колеса на прямую дорогу. Округленная фраза и ловкий силлогизм показались им недостаточными; они потребовали серьезных подтверждений для самых посылок, из которых г. Павлов делал свои заключения и которые выдавал как аксиомы. Он говорил: это дурно, потому что много лиц в пьесе, не содействующих прямому развитию хода действия. А ему упорно возражали: да почему же в пьесе не может быть лиц, не участвующих прямо в развитии драмы? Критик уверял, что драма потому уже лишена значения, что ее героиня безнравственна; читатели останавливали его и задавали вопрос: с чего же вы берете, что она безнравственна? и на чем основаны ваши нравственные понятия? Критик считал пошлостью и сальностью, недостойною искусства, — и ночное свидание, и удалой свист Кудряша, и самую сцену признания Катерины перед мужем; его опять спрашивали: отчего именно находит он это пошлым и почему светские интрижки и аристократические страсти достойнее искусства,

нежели мещанские увлечения? Почему свист молодого парня более пошл, нежели раздирательное пение итальянских арий каким-нибудь светским юношей? Н.Ф. Павлов, как верх своих доводов, решил свысока, что пьеса, подобная «Грозе», есть не драма, а балаганное представление. Ему и тут ответили: а почему же вы так презрительно относитесь о балагане? Еще это вопрос, точно ли всякая прилизанная драма, даже хоть бы в ней все три единства соблюдены были, лучше всякого балаганного представления. Относительно роли балагана в истории театра и в деле народного развития мы еще с вами поспорим. Последнее возражение было довольно подробно развито печатно. И где же раздалось оно? Добро бы в «Современнике», который, как известно, сам имеет при себе «Свисток», следовательно, не может скандализироваться свистом Кудряша и вообще должен быть наклонен ко всякому балаганству. Нет, мысли о балагане высказаны были в «Библиотеке для чтения», известной поборнице всех прав «искусства», высказаны г. Анненковым, которого никто не упрекнет в излишней приверженности к «вульгарным» началам. Если мы верно поняли мысль г. Анненкова (за что, конечно, никто поручиться не может), он на-

ходит, что современная драма с своей теорией дальше отклонилась от жизненной правды и красоты, нежели первоначальные балаганы, и что для возрождения театра необходимо прежде возвратиться к балагану и сызнова начинать путь драматического развития. Вот *с* какими мнениями столкнулся г. Павлов даже в почтенных представителях русской критики, не говоря уже о тех, которые благомыслящими людьми обвиняются в презрении к науке и в отрицании всего высокого! Понятно, что здесь уже нельзя было отделаться более или менее блестящими репликами, а надо было приступить к серьезному пересмотру оснований, на которых утверждался критик в своих приговорах. Но как скоро вопрос перешел на эту почву, критик «Нашего времени» оказался несостоятельным и должен был замять свои критические разглагольствия.

Очевидно, что критика, делающаяся союзницей школяров и принимающая на себя ревизовку литературных произведений по параграфам учебников, должна очень часто ставить себя в жалкое положение: осудив себя на рабство пред господствующей теорией, она обрекает себя вместе с тем и на постоянную бесплодную вражду ко всякому прогрессу, ко всему новому

и оригинальному в литературе. И чем сильнее новое литературное движение, тем более она против него ожесточается и тем яснее выказывает свое беззубое бессилие. Отыскивая какого-то мертвого совершенства, выставляя нам отжившие, индифферентные для нас идеалы, швыряя в нас обломками, оторванными от прекрасного целого, адепты подобной критики постоянно остаются в стороне от живого движения, закрывают глаза от новой, живущей красоты, не хотят понять новой истины, результата нового хода жизни. Они смотрят свысока на все, судят строго, готовы обвинять всякого автора за то, что он не равняется с их chef-d'oeuvre'aMn[7], и нахально пренебрегают живыми отношениями автора к своей публике и к своей эпохе. Это все, видите ли, «интересы минуты», — можно ли серьезным критикам компрометировать искусство, увлекаясь такими интересами! Бедные, бездушные люди! как они жалки в глазах человека, умеющего дорожить делом жизни, ее трудами и благами! Человек обыкновенный, здравомыслящий, берет от жизни, что она дает ему, и отдает ей, что может; но педанты всегда забирают свысока и

[7] Примечания: 7
Шедеврами

парализируют жизнь мертвыми идеалами и отвлечениями. Скажите, что подумать о человеке, который при виде хорошенькой женщины начинает вдруг резонировать, что у нее стан не таков, как у Венеры Милосской, очертание рта не так хорошо, как у Венеры Медицейской, взгляд не имеет того выражения, какое находим мы у рафаэлевских мадонн, и т. д. и т. д. Все рассуждения и сравнения подобного господина могут быть очень справедливы и остроумны; но к чему могут привести они? Докажут ли они вам, что женщина, о которой идет речь, не хороша собой? В состоянии ли они убедить вас даже в том, что эта женщина менее хороша, чем та или другая Венера? Конечно нет, потому что красота заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем выражении лица, в том жизненном смысле, который в нем проявляется. Когда это выражение симпатично мне, когда этот смысл доступен и удовлетворителен для меня, тогда я просто отдаюсь красоте всем сердцем и смыслом, не делая никаких мертвых сравнений, не предъявляя претензий, освященных преданиями искусства. И если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту — то умейте уловить в ней этот общий смысл, это

веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне: тогда только вы достигнете вашей цели. То же самое и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в верности отдельных умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли. Если до сих пор невежество и легковерие так еще сильны в людях, это поддерживается именно тем способом критических рассуждений, на который мы нападаем. Везде и во всем преобладает синтез; говорят заранее: это полезно — и

бросаются во все стороны, чтобы прибрать доводы, почему полезно; оглушают вас сентенцией: вот какова должна быть нравственность — и затем осуждают как безнравственное все, что не подходит под сентенцию. Таким образом, постоянно и искажается человеческий смысл, и отнимается охота и возможность рассуждать каждому самому. Совсем не то выходило бы, когда бы люди приучились к аналитическому способу суждений: вот какое дело, вот его послед-

ствия, вот его выгоды и невыгоды; взвесьте и рассудите, в какой мере оно будет полезно. Тогда люди постоянно имели бы перед собою данные и в своих суждениях исходили бы из фактов, не блуждая в синтетических туманах, не связывая себя отвлеченными теориями и идеалами, когда-то и кем-то составленными. Чтобы достигнуть этого, надобно, чтобы все люди получили охоту жить своим умом, а не полагаться на чужую опеку. Этого, конечно, еще не скоро дождемся мы в человечестве. Но та небольшая часть людей, которую мы называем «читающей публикой», дает нам право думать, что в ней эта охота к самостоятельной умственной жизни уже пробудилась. Поэтому мы считаем весьма неудобным третировать ее свысока и надменно бросать ей сентенции и приговоры, основанные бог знает на каких теориях. Самым лучшим способом критики мы считаем изложение самого дела так, чтобы читатель сам, на основании выставленных фактов, мог сделать свое заключение. Мы группируем данные, делаем соображения об общем смысле произведения, указываем на отношение его к действительности, в которой мы живем, выводим свое заключение и пытаемся обставить его возможно лучшим образом, но при

этом всегда стараемся держаться так, чтобы читатель мог совершенно удобно произнести свой суд между нами и автором. Нам не раз случалось принимать упреки за некоторые иронические разборы. «Из ваших же выписок и изложения содержания видно, что этот автор плох или вреден, — говорили нам, — а вы его хвалите — как вам не стыдно». Признаемся, подобные упреки нимало нас не огорчали: читатель получал не совсем лестное мнение о нашей критической способности, — правда; но главная цель была все-таки достигнута — негодная книга (которую иногда мы и не могли прямо осудить) так и показалась читателю негодною благодаря фактам, выставленным перед его глазами. И мы всегда были того мнения, что только фактическая, реальная критика и может иметь какой-нибудь смысл для читателя. Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нем есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нем нет и что бы должно было в нем находиться.

Разумеется, есть общие понятия и законы, которые всякий человек непременно имеет в виду, рассуждая о каком бы то ни было предмете. Но нужно различать между этими естественными

законами, вытекающими из самой сущности дела, и между положениями и правилами, установленными в какой-нибудь системе. Есть известные аксиомы, без которых мышление невозможно, и их всякий автор предполагает в своем читателе, так же как всякий разговаривающий в своем собеседнике. Довольно сказать о человеке, что он горбат или кос, чтобы всякий увидел этот недостаток, а не преимущество его организации. Так точно достаточно заметить, что такое-то литературное произведение безграмотно или исполнено лжи, чтобы этого никто не счел достоинством. Но когда вы скажете, что человек ходит в фуражке, а не в шляпе, этого еще недостаточно для того, чтобы я получил о нем дурное мнение, хотя в известном кругу и принято, что порядочный человек не должен фуражку носить. Так и в литературном произведении — если вы находите несоблюдение каких-нибудь единств или лица, не необходимые для развития интриги, так это еще ничего не говорит для читателя, не предубежденного в пользу вашей теории. Только то, что каждому читателю должно показаться нарушением естественного порядка вещей и оскорблением простого здравого смысла, могу я считать не требующим от меня опровержений,

предполагая, что эти опровержения сами собою явятся в уме читателя при одном моем указании на факт. Но никогда не нужно слишком далеко простирать подобное предположение. Критики, подобные Н.Ф. Павлову, г. Некрасову из Москвы, г. Пальховскому и проч., тем и грешат особенно, что предполагают безусловное согласие между собою и общим мнением гораздо в большем количестве пунктов, чем следует. Иначе сказать — они считают непреложными, очевидными для всех аксиомами множество таких мнений, которые только им кажутся абсолютными истинами, а для большинства людей представляют даже противоречие с некоторыми общепринятыми понятиями. Например, всякому понятно, что автор, желающий сделать что-нибудь порядочное, не должен искажать действительность: в этом требовании согласны и теоретики, и общее мнение. Но теоретики в то же время требуют и тоже полагают как аксиому — что автор должен совершенствовать действительность, отбрасывая из нее все ненужное и выбирая только то, что специально требуется для развития интриги и для развязки произведения. Сообразно с этим вторым требованием на Островского напускались много раз с великою яростию; а между тем

оно не только не аксиома, но даже находится в явном противоречии с требованием относительно верности действительной жизни, которое всеми признано как необходимое. Как вы, в самом деле, заставите меня верить, что в течение какого-нибудь получаса в одну комнату или в одно место на площади приходят один за другим десять человек, именно те, кого нужно, именно в то время, как их тут нужно, встречают, кого им нужно, начинают ex abrupto разговор о том, что нужно, уходят и делают, что нужно, потом опять являются, когда их нужно. Делается ли это так в жизни, похоже ли это на истину? Кто не знает, что в жизни самое трудное дело подогнать одно к другому благоприятные обстоятельства, устроив течение дел сообразно с логической надобностью. Обыкновенно человек знает, что ему делать, да не может так потрафить, чтобы направить на свое дело все средства, которыми так легко распоряжается писатель. Нужные лица не приходят, письма не получаются, разговоры идут не так, чтоб подвинуть дело… У всякого в жизни много своих дел, и редко кто служит, как в наших драмах, машиною, которою двигает автор, как ему удобнее для действия его пьесы. То же надо сказать и о завязке с развязкою. Много ли

мы видим случаев, которые бы в своем конце представляли чистое, логическое развитие начала? В истории мы еще можем приметить это в течение веков; но в частной жизни не то. Правда, что исторические законы и здесь те же самые, но разница в расстоянии и размере. Говоря абсолютно и принимая в соображение бесконечно малые величины, конечно, мы найдем, что шар — тот же многоугольник; но попробуйте играть на бильярде многоугольниками — совсем не то выйдет. Так точно и исторические законы о логическом развитии и необходимом возмездии — представляются в происшествиях частной жизни далеко не так ясно и полно, как в истории народов. Придавать им нарочно эту ясность значит насиловать и искажать существующую действительность. Будто бы в самом деле всякое преступление носит в себе самом свое наказание? Будто оно всегда сопровождается мучениями совести, если не внешнею казнью? Будто бережливость всегда ведет к достатку, честность награждается общим уважением, сомнение находит свое разрешение, добродетель доставляет внутреннее довольство? Не чаще ли видим противное, хотя, с другой стороны, и противное не может быть утверждаемо как общее правило…

Нельзя сказать, чтоб люди были злы по природе, и потому нельзя принимать для литературных произведений принципов вроде того, что, например, порок всегда торжествует, а добродетель наказывается. Но невозможно, даже смешно сделалось строить драмы и на торжестве добродетели! Дело в том, что отношения человеческие редко устраиваются на основании разумного расчета, а слагаются большею частию случайно, и затем значительная доля поступков одних с другими совершается как бы бессознательно, по рутине, по минутному расположению, по влиянию множества посторонних причин. Автор, решающийся отбросить в сторону все эти случайности в угоду логическим требованиям развития сюжета, обыкновенно теряет среднюю меру и делается похож на человека, который все измеряет на maximum[8]. Он, например, нашел, что человек может без непосредственного вреда для себя работать пятнадцать часов в сутки, и на этом расчете основывает свои требования от людей, которые у него работают. Само собою разумеется, что расчет этот, возможный для экстренных случаев, для двух-трех дней, оказывается совер-

[8] Примечания: 8
Максимальное, наибольшее количество *(лат.). — Ред.*

шенно нелепым как норма постоянной работы. Таковым же нередко оказывается и логическое развитие житейских отношений, требуемое теорией от драмы.

Нам скажут, что мы впадаем в отрицание всякого творчества и не признаем искусства иначе, как в виде дагеротипа. Еще больше — нас попросят провести дальше наши мнения и дойти до крайних их результатов, то есть что драматический автор, не имея права ничего отбрасывать и ничего подгонять нарочно для своей цели, оказывается в необходимости просто записывать все ненужные разговоры всех встречных лиц, так что действие, продолжавшееся неделю, потребует и в драме ту же самую неделю для своего представления на театре, а для иного происшествия потребуется присутствие всех тысяч людей, прогуливающихся по Невскому проспекту или по Английской набережной. Да, оно так и придется, если оставить высшим критериумом в литературе все-таки ту теорию, которой положения мы сейчас оспаривали. Но мы вовсе не к тому идем; не два-три пункта теории хотим мы исправить; нет, с такими исправлениями она будет еще хуже, запутаннее и противоречивее; мы просто не хотим ее вовсе. У нас есть для суждения о достоин-

стве авторов и произведений другие основания, держась которых мы надеемся не прийти ни к каким нелепостям и не разойтись с здравым смыслом массы публики. Об этих основаниях мы уже говорили и в первых статьях об Островском, и потом в статье о «Накануне», но, может быть, нужно еще раз вкратце изложить их.

Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа. Естественные стремления человечества, приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: «чтоб всем было хорошо». Понятно, что, стремясь к этой цели, люди, по самой сущности дела, сначала должны были от нее удалиться: каждый хотел, чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал другим — устроиться же так, чтоб один другому не мешал, еще не умели. Так неопытные танцоры не умеют распорядиться своими движениями и беспрестанно сталкиваются с другими парами, даже в довольно пространной зале. После, попривыкши, они станут лучше расходиться даже и в зале меньшего объема и при большем количестве танцующих. Но пока они не приобрели ловкости,

до тех пор, разумеется, и невозможно допустить, чтобы в зале пускались в вальс многие пары; чтобы не переколотиться друг об друга, необходимо многим пережидать, а самым неловким и вовсе отказаться от танцев и, может быть, сесть за карты, проиграть, и даже много… Так было и в устройстве жизни: более ловкие продолжали отыскивать свое благо, другие сидели, принимались за то, за что не следовало, проигрывали; общий праздник жизни нарушался с самого начала; многим стало не до веселья; многие пришли к убеждению, что к веселью только те и призваны, кто ловко танцует. А ловкие танцоры, устроившие свое благосостояние, продолжали следовать естественному влечению и забирали себе все больше простора, все больше средств для веселья. Наконец они теряли меру; остальным становилось от них очень тесно, и они вскакивали с своих мест и подпрыгивали — уже не затем, чтобы танцевать хотели, а просто потому, что им даже сидеть-то стало неловко. А между тем в этом движении оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные некоторой легкости, — и те пробовали вступить в круг веселящихся. Но привилегированные, первоначальные танцоры смотрели на них уже очень неприязненно,

как на непризванных, и не пускали их в круг. Начиналась борьба, разнообразная, долгая, большей частью неблагоприятная для новичков: их осмеивали, отталкивали, их осуждали платить издержки праздника, у них отнимали их дам, а у дам кавалеров, их совсем прогоняли с праздника. Но чем хуже становится людям, тем они сильнее чувствуют нужду, чтоб было хорошо. Лишениями не остановишь требований, а только раздражишь; только принятие пищи может утолить голод. До сих пор поэтому борьба не кончена; естественные стремления, то как будто заглушаясь, то появляясь сильнее, все ищут своего удовлетворения. В этом состоит сущность истории.

Во все времена и во всех сферах человеческой деятельности появлялись люди настолько здоровые и одаренные натурою, что естественные стремления говорили в них чрезвычайно сильно, незаглушаемо. В практической деятельности они часто делались мучениками своих стремлений, но никогда не проходили бесследно, никогда не оставались одинокими, в общественной деятельности они приобретали партию, в чистой науке делали открытия, в искусствах, в литературе образовали школу. Не говорим о деятелях общественных, которых роль в истории всякому

должна быть понятна после того, что мы сказали на предыдущей странице. Но заметим, что в деле науки и литературы за великими личностями всегда сохранялся тот характер, который мы обозначили выше, — сила естественных, живых стремлений. С искажением этих стремлений в массе совпадает водворение многих нелепых понятий о мире и человеке; эти понятия, в свою очередь, мешали общему благу.

Чтобы не заходить далеко, вспомним, сколько зла причинили человечеству нелепости фетишизма и всякого рода космогонические бредни, а потом астрологические и каббалистические мистерии на разные лады. Люди чистой науки, делавшие астрономические и физические открытия или установлявшие новые философские начала, умели слушать голос естественных здравых требований ума и помогали человечеству избавляться от тех или других искусственных комбинаций, вредивших устройству общего благоденствия. С каждым из этих людей человечество делало новый шаг в развитии правильных, естественных понятий, и по важности этих шагов можем мы определять личное достоинство каждого деятеля. То же самое прилагается и к людям прикладных знаний, техникам, механикам, агро-

номам, врачам и проч. То же видим и в области искусств, и в литературе.

Литератору до сих пор предоставлена была небольшая роль в этом движении человечества к естественным началам, от которых оно отклонилось. По существу своему литература не имеет деятельного значения, она только или предполагает то, что нужно сделать, или изображает то, что уже делается и сделано. В первом случае, то есть в предположениях будущей деятельности, она берет свои материалы и основания из чистой науки; во втором — из самых фактов жизни. Таким образом, вообще говоря, литература представляет собою силу служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует. В литературе, впрочем, являлось до сих пор несколько деятелей, которые в своей пропаганде стоят так высоко, что их не превзойдут ни практические деятели для блага человечества, ни люди чистой науки. Эти писатели были одарены так богато природою, что умели как бы по инстинкту приблизиться к естественным понятиям и стремлениям, которых еще только искали современные им философы с помощью строгой науки. Мало того: то, что философы только предугадывали в теории, гени-

альные писатели умели это схватывать в жизни и изображать в действии. Таким образом, служа полнейшими представителями высшей степени человеческого сознания в известную эпоху и с этой высоты обозревая жизнь людей и природы и рисуя ее перед нами, они возвышались над служебною ролью литературы и становились в ряд исторических деятелей, способствовавших человечеству в яснейшем сознании его живых сил и естественных наклонностей. Таков был Шекспир. Многие из его пьес могут быть названы открытиями в области человеческого сердца; его литературная деятельность подвинула общее сознание людей на несколько ступеней, на которые до него никто не поднимался и которые только были издали указываемы некоторыми философами. И вот почему Шекспир имеет такое всемирное значение: им обозначается несколько новых ступеней человеческого развития. Но зато Шекспир и стоит вне обычного ряда писателей; имена Данте, Гете, Байрона часто присоединяются к его имени, но трудно сказать, чтоб в каждом из них так полно обозначалась целая новая фаза общечеловеческого развития, как в Шекспире. Что же касается до обыкновенных талантов, то для них именно остается та служебная роль, о ко-

торой мы говорили. Не представляя миру ничего нового и неведомого, не намечая новых путей в развитии всего человечества, не двигая его даже и на принятом пути, они должны ограничиваться более частным, специальным служением: они приводят в сознание масс то, что открыто передовыми деятелями человечества, раскрывают и проясняют людям то, что в них живет еще смутно и неопределенно. Обыкновенно это происходит не так, впрочем, чтобы литератор заимствовал у философа его идеи, потом проводил их в своих произведениях. Нет, оба они действуют самостоятельно, оба исходят из одного начала — действительной жизни, но только различным образом принимаются за дело. Мыслитель, замечая в людях, например, недовольство настоящим их положением, соображает все факты и старается отыскать новые начала, которые бы могли удовлетворить возникающие требования. Литератор-поэт, замечая то же недовольство, рисует его картину так живо, что общее внимание, остановленное на ней, само собою наводит людей на мысль о том, что же именно им нужно. Результат один, и значение двух деятелей было бы одно и то же; но история литературы показывает нам, что, за немногими исключениями, литераторы

обыкновенно опаздывают. Тогда как мыслители, привязываясь к самым незначительным признакам и неотступно преследуя попавшуюся мысль до самых последних ее оснований, нередко подмечают новое движение в самом еще ничтожном его зародыше, — литераторы по большей части оказываются менее чуткими: они подмечают и рисуют возникающее движение тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. Зато, впрочем, они ближе к понятиям массы и больше имеют в ней успеха: они подобны барометру, с которым всякий справляется, между тем как метеорологo-астрономических выкладок и предвещаний никто не хочет знать. Таким образом, признавая за литературою главное значение пропаганды, мы требуем от нее одного качества, без которого в ней не может быть никаких достоинств, именно — *правды.* Надо, чтобы факты, из которых исходит автор и которые он представляет нам, были переданы верно. Как скоро этого нет, литературное произведение теряет всякое значение, оно становится даже вредным, потому что служит не к просветлению человеческого сознания, а, напротив, еще к большему помраченью. И тут уже напрасно стали бы мы отыскивать в авторе какой-нибудь талант, кроме разве таланта враля. В

произведениях исторического характера правда должна быть фактическая; в беллетристике, где происшествия вымышлены, она заменяется логическою правдою, то есть разумной вероятностью и сообразностью с существующим ходом дел.

Но правда есть необходимое условие, а еще не достоинство произведения. О достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся. И прежде всего, по принятому нами критерию, мы различаем авторов, служащих представителями естественных, правильных стремлений народа, от авторов, служащих органами разных искусственных тенденций и требований. Мы уже видели, что искусственные общественные комбинации, бывшие следствием первоначальной неумелости людей в устройстве своего благосостояния, во многих заглушили сознание естественных потребностей. В литературах всех народов мы находим множество писателей, совершенно преданных искусственным интересам и нимало не заботящихся о нормальных требованиях человеческой природы. Эти писатели могут быть и не лжецы; но произведения их тем не менее ложны, и в них мы не можем признать достоинств, раз-

ве только относительно формы. Все, например, певцы иллюминаций, военных торжеств, резни и грабежа по приказу какого-нибудь честолюбца, сочинители льстивых дифирамбов, надписей и мадригалов — не могут иметь в наших глазах никакого значения, потому что они весьма далеки от естественных стремлений и потребностей народных. В литературе они то же в сравнении с истинными писателями, что в науке астрологи и алхимики пред истинными натуралистами, что сонники пред курсом физиологии, гадательные книжки пред теорией вероятностей. Между авторами, не удаляющимися от естественных понятий, мы различаем людей более или менее глубоко проникнутых насущными требованиями эпохи, более или менее широко обнимающих движение, совершающееся в человечестве, и более или менее сильно ему сочувствующих. Тут степени могут быть бесчисленны. Один автор может исчерпать один вопрос, другой десять, третий может все их подвести под один высший вопрос и его поставить на разрешение, четвертый может указать на вопросы, которые поднимаются еще за разрешением этого высшего вопроса, и т. д. Один может холодно, эпически излагать факты, другой с лирической силой ополчаться на ложь и

воспевать добро и правду. Один может брать дело с поверхности и указывать надобность внешних и частных поправок; другой может забирать все с корня и выставлять на вид внутреннее безобразие и несостоятельность предмета или внутреннюю силу и красоту нового здания, воздвигаемого при новом движении человечества. Сообразно с широтою взгляда и силою чувства авторов будет разниться и способ изображения предметов, и самое изложение у каждого из них. Разобрать это отношение внешней формы к внутренней силе уже нетрудно; самое главное для критики — определить, стоит ли автор в уровень с теми естественными стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться по требованию современного порядка дел; затем — в какой мере умел он их понять и выразить и взял ли он существо дела, корень его, или только внешность, обнял ли общность предмета или только некоторые его стороны.

Считаем излишним распространяться о том, что мы здесь разумеем не теоретическое обсуждение, а поэтическое представление фактов жизни. В прежних статьях об Островском мы достаточно говорили о различии отвлеченного мышления от художнического способа представления. Повто-

рим здесь только одно замечание, необходимое для того, чтобы поборники чистого искусства не обвинили нас опять в навязыванье художнику «утилитарных тем». Мы нисколько не думаем, чтобы всякий автор должен был создавать свои произведения под влиянием известной теории; он может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде. Художественное произведение может быть выражением известной идеи — не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собою. Таким образом, например, философия Сократа и комедии Аристофана, в отношении к религиозному учению греков, служат выражением одной и той же общей идеи — разрушения древних верований; но вовсе нет надобности думать, что Аристофан задавал себе именно эту цель для своих комедий: она достигается у него просто картиною греческих нравов того времени. Из его комедий мы решительно убеждаемся, что в то время, когда он писал, царство греческой мифологии уже прошло; то есть он практически приводит нас к тому, что Сократ и Платон доказывают философским образом. Такова и вообще бывает разница

в способе действия произведений поэтических и собственно теоретических. Она соответствует разнице в самом способе мышления художника и мыслителя: один мыслит конкретным образом, никогда не теряя из виду частных явлений и образов, а другой стремится все обобщить, слить частные признаки в общей формуле. Но существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может: талант есть принадлежность натуры человека, и потому он, несомненно, гарантирует нам известную силу и широту естественных стремлений в том, кого мы признаем талантливым. Следовательно, и произведения его должны создаваться под влиянием этих естественных, правильных потребностей натуры; сознание нормального порядка вещей должно быть в нем ясно и живо, идеал его прост и разумен, и он не отдаст себя на служение неправде и бессмыслице, не потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может, — не выйдет у него ничего хорошего, если он и вздумает понасиловать свой талант. Подобно Валааму, захочет он проклинать Израиля, и против его воли в торжественную минуту вдохновения в его устах явятся благословения вместо проклятий. А если и удастся ему выговорить слово проклятия, то

оно лишено будет внутреннего жара, будет слабо и невразумительно. Нам нечего ходить далеко за примерами: наша литература изобилует ими едва ли не более всякой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя: как бедны и трескучи заказные стихотворения Пушкина; как жалки аскетические попытки Гоголя в литературе! Доброй воли было у них много, но воображение и чувство не давали достаточно материала для того, чтобы сделать истинно поэтическую вещь на заказные, искусственные темы. Да и немудрено: действительность, из которой почерпает поэт свои материалы и свои вдохновения, имеет свой натуральный смысл, при нарушении которого уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остов его. С этим-то остовом и принуждены были всегда оставаться писатели, хотевшие вместо естественного смысла придать явлениям другой, противный их сущности.

Но, как мы уже сказали, естественные стремления человека и здравые, простые понятия о вещах искажены и почти заглушены во многих. Вследствие неправильного развития часто людям представляется совершенно нормальным и естественным то, что, в сущности, составляет нелепейшее насилие природы. С течением време-

ни человечество все более и более освобождается от искусственных искажений и приближается к естественным требованиям и воззрениям: мы уже не видим таинственных сил в каждом лесе и озере, в громе и молнии, в солнце и звездах; мы уже не имеем в образованных странах каст и париев, мы не перемешиваем отношений двух полов, подобно народам Востока; мы не признаем класса рабов существенной принадлежностью государства, как было у греков и римлян; мы отрицаемся от инквизиционных начал, господствовавших в средневековой Европе. Если все это еще и встречается ныне по местам, то не иначе как в виде исключения; общее же положение изменилось к лучшему. Но все-таки и теперь еще люди далеко не пришли к ясному сознанию всех естественных потребностей и даже не могут еще согласиться в том, что для человека естественно, что нет. Общую формулу — что человеку естественно стремиться к лучшему — все принимают; но разногласия возникают из-за того, что же должно считать благом для человечества. Мы полагаем, например, что благо в труде, и потому труд считаем естественным для человека; а «Экономический указатель» уверяет, что людям естественно лениться, ибо благо состоит в поль-

зовании капиталом. Мы думаем, что воровство есть искусственная форма приобретения, к которой человек вынуждается крайностью; а Крылов говорит, что это есть естественное качество иных людей и что —

Вору дай хоть миллион,
Он воровать не перестанет.

А между тем Крылов знаменитый баснописец, а «Экономический указатель» издается г. Вернадским, доктором и статским советником: мнениями их пренебрегать невозможно. Что тут делать, как решить? Нам кажется, что окончательного решения тут никто не может брать на себя; всякий может считать свое мнение самым справедливым, но решение в этом случае более нежели когда-нибудь надо предоставить публике. Это дело до нее касается, и только во имя ее можем мы утверждать наши положения. Мы говорим обществу: «нам кажется, что вы вот к чему способны, вот что чувствуете, вот чем недовольны, вот чего желаете». Дело общества сказать нам, ошибаемся мы или нет. Тем более в таком случае, как разбор комедий Островского, мы прямо можем положиться на общий суд. Мы говорим: «вот что автор изобразил; вот что озна-

чают, по нашему мнению, воспроизведенные им образы, вот их происхождение, вот смысл; мы находим, что все это имеет живое отношение к вашей жизни и нравам и объясняет вот какие потребности, которых удовлетворение необходимо для вашего блага». Скажите, кому же иначе судить о справедливости наших слов, как не тому самому обществу, о котором идет речь и к которому она обращается? Его решение должно быть одинаково важно и окончательно — и для нас, и для разбираемого автора.

Автор наш принимается публикою очень хорошо; значит, одна половина вопроса решается положительным образом: публика признает, что он верно понимает и изображает ее. Остается другой вопрос: верно ли мы понимаем Островского, приписывая его произведениям известный смысл? Некоторую надежду на благоприятный ответ подает нам, во-первых, то обстоятельство, что критики, противоположные нашему воззрению, не были особенно одобряемы публикой, и, во-вторых, то, что сам автор оказывается согласным с нами, так как в «Грозе» мы находим новое подтверждение многих из наших мыслей о таланте Островского и о значении его произведений. Впрочем, еще раз — наши статьи и самые основа-

ния, на которых мы утверждаем свои суждения, у всех пред глазами. Кто не захочет согласиться *с* нами, тот, читая и поверяя наши статьи по своим наблюдениям, может прийти к собственному заключению. Мы и тем будем довольны.

Теперь, объяснившись относительно оснований нашей критики, просим читателей извинить нам длинноту этих объяснений. Их бы, конечно, можно было изложить на двух-трех страницах, но тогда бы этим страницам долго не пришлось увидеть света. Длиннота происходит оттого, что часто бесконечным перифразом объясняется то, что можно бы обозначить просто одним словом; но в том-то и беда, что эти слова, весьма обыкновенные в других европейских языках, русской статье дают обыкновенно такой вид, в котором она не может явиться пред публикой. И приходится поневоле перевертываться всячески с фразой, чтобы ввести как-нибудь читателя в сущность излагаемой мысли. Но обратимся же к настоящему предмету нашему — к автору «Грозы».

Читатели «Современника» помнят, может быть, что мы поставили Островского очень высоко, находя, что он очень полно и многосторонне умел изобразить существенные стороны и требования русской жизни. Другие авторы брали частные

явления, временные, внешние требования общества и изображали их с большим или меньшим успехом, как, например, требование правосудия, веротерпимости, здравой администрации, уничтожения откупов, отменения крепостного права и проч. Иные авторы брали более внутреннюю сторону жизни, но ограничивались очень тесным кругом и подмечали такие явления, которые далеко не имели общенародного значения. Таково, например, изображение в бесчисленном множестве повестей людей, ставших по развитию выше окружающей их среды, но лишенных энергии, воли и погибающих в бездействии. Повести эти имели значение, потому что ясно выражали собою негодность среды, мешающей хорошей деятельности, и, хотя смутно сознаваемое, требование энергического применения на деле начал, признаваемых нами за истину в теории. Смотря по различию талантов, и повести этого рода имели больше или меньше значения; но все они заключали в себе тот недостаток, что попадали лишь в небольшую (сравнительно) часть общества и не имели почти никакого отношения к большинству. Не говоря о массе народа, даже в средних слоях нашего общества мы видим гораздо больше людей, которым еще нужно

приобретение и уяснение правильных понятий, нежели таких, которые с приобретенными идеями не знают, куда деваться. Поэтому значение указанных повестей и романов остается весьма специальным и чувствуется более для кружка известного сорта, нежели для большинства. Нельзя не сознаться, что дело Островского гораздо плодотворнее: он захватил такие общие стремления и потребности, которыми проникнуто все русское общество, которых голос слышится во всех явлениях нашей жизни, которых удовлетворение составляет необходимое условие нашего дальнейшего развития. Мы не станем теперь повторять того, о чем говорили подробно в наших первых статьях; но, кстати, заметим здесь странное недоумение, происшедшее относительно наших статей у одного из критиков «Грозы» — г. Аполлона Григорьева. Нужно заметить, что г. А. Григорьев — один из восторженных почитателей таланта Островского; но, должно быть, от избытка восторга ему никогда не удается высказать с некоторой ясностью, за что же именно он ценит Островского. Мы читали его статьи и никак не могли добиться толку. Между тем, разбирая «Грозу», г. Григорьев посвящает нам несколько страничек и обвиняет нас в том, что мы прице-

пили ярлычки к лицам комедий Островского, разделили все их на два разряда — *самодуров и забитых личностей* и в развитии отношений между ними, обычных в купеческом быту, заключили все дело нашего комика. Высказав это обвинение, г. Григорьев восклицает, что нет, не в этом состоит особенность и заслуга Островского, а в *народности.* Но в чем же состоит народность, г. Григорьев не объясняет, и потому его реплика показалась нам очень забавною. Как будто мы не признавали народности у Островского! Да мы именно с нее и начали, ею продолжали и кончили. Мы искали, как и насколько произведения Островского служат выражением народной жизни, народных стремлений: что это, как не народность? Только что мы не кричали про нее с восклицательными знаками через каждые две строки, а постарались определить ее содержание, чего г. Григорьеву не заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он это попробовал, то, может быть, пришел бы к тем же результатам, которые осуждает у нас, и не стал бы попусту обвинять нас, будто мы заслугу Островского заключаем в верном изображении семейных отношений купцов, живущих по старине. Всякий, кто читал наши статьи, мог видеть, что мы вовсе не куп-

цов только имели в виду, указывая на основные черты отношений, господствующих в нашем быте и так хорошо воспроизведенных в комедиях Островского. Современные стремления русской жизни в самых обширных размерах находят свое выражение в Островском, как комике, с отрицательной стороны. Рисуя нам в яркой картине ложные отношения со всеми их последствиями, он чрез то самое служит отголоском стремлений, требующих лучшего устройства. Произвол с одной стороны и недостаток сознания прав своей личности с другой — вот основания, на которых держится все безобразие взаимных отношений, развиваемых в большей части комедий Островского; требования права, законности, уважения к человеку — вот что слышится каждому внимательному читателю из глубины этого безобразия. Что же, разве вы станете отрицать обширное значение этих требований в русской жизни? Разве вы не сознаетесь, что подобный фон комедий соответствует состоянию русского общества более, нежели какого бы то ни было другого в Европе? Возьмите историю, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокруг себя — вы везде найдете оправдание наших слов. Не место здесь пускаться нам в исторические изыскания; довольно заметить,

что наша история до новейших времен не способствовала у нас развитию чувства законности (с чем и г. Пирогов согласен; зри «Положение о наказаниях в Киевском округе»), не создавала прочных гарантий для личности и давала обширное поле произволу. Такого рода историческое развитие, разумеется, имело следствием упадок нравственности общественной: уважение к собственному достоинству потерялось, вера в право, а следовательно, и сознание долга — ослабли, произвол попирал право, под произвол подтачивалась хитрость. Некоторые писатели, лишенные чутья нормальных потребностей и сбитые с толку искусственными комбинациями, признавая эти несомненные факты, хотели их узаконить, прославить как норму жизни, а не как искажение естественных стремлений, произведенное неблагоприятным историческим развитием. Так, например, произвол хотели присвоить русскому человеку как особенное, естественное качество его природы — под названием «широты натуры»; плутовство и хитрость тоже хотели узаконить в русском народе под названием сметливости и лукавства. Некоторые критики хотели даже в Островском видеть певца широких русских натур; оттого-то и поднято было однажды такое

беснование из-за Любима Торцова, выше которого ничего не находили у нашего автора. Но Островский, как человек с сильным талантом и, следовательно, с чутьем истины, с инстинктивною наклонностью к естественным, здравым требованиям, не мог поддаться искушению, и произвол, даже самый широкий, всегда выходил у него, сообразно действительности, произволом тяжелым, безобразным, беззаконным — и в сущности пьесы всегда слышался протест против него. Он умел почувствовать, что такое значит подобная широта натуры, и заклеймил, ошельмовал ее несколькими типами и названием самодурства.

Но не он сочинил эти типы, так точно как не он выдумал и слово «самодур». То и другое взял он в самой жизни. Ясно, что жизнь, давшая материалы для таких комических положений, в каких ставятся часто самодуры Островского, жизнь, давшая им и приличное название, не поглощена уже вся их влиянием, а заключает в себе задатки более разумного, законного, правильного порядка дел. И действительно, после каждой пьесы Островского каждый чувствует внутри себя это сознание и, оглядываясь кругом себя, замечает то же в других. Следя пристальнее за этой мыслью, всматриваясь

в нее дольше и глубже, замечаешь, что это стремление к новому, более естественному устройству отношений заключает в себе сущность всего, что мы называем прогрессом, составляет прямую задачу нашего развития, поглощает всю работу новых поколений. Куда вы ни оглянетесь, везде вы видите пробуждение личности, предъявление ею своих законных прав, протест против насилия и произвола, большею частию еще робкий, неопределенный, готовый спрятаться, но все-таки уже дающий заметить свое существование. Возьмите хоть законодательную и административную сторону, которая хотя в частных своих проявлениях всегда имеет много случайного, но в общем своем характере все-таки служит указателем положения народа. Особенно этот указатель верен тогда, когда законодательные меры запечатлены характером льгот, уступок и расширения прав. Меры обременительные, стесняющие народ в его правах, могут быть вызваны, вопреки требованию народной жизни, просто действием произвола, сообразно выгодам привилегированного меньшинства, которое пользуется стеснением других; но меры, которыми уменьшаются привилегии и расширяются общие права, не могут иметь свое начало ни в чем

ином, как в прямых и неотступных требованиях народной жизни, неотразимо действующих на привилегированное меньшинство, даже вопреки его личным, непосредственным выгодам. Взгляните же, что у нас делается в этом отношении: крестьяне освобождаются, и сами помещики, утверждавшие прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь убеждаются и сознаются, что пора развязаться с этим вопросом, что он действительно созрел в народном сознании… А что же иное лежит в основании этого вопроса, как не уменьшение произвола и не возвышение прав человеческой личности? То же самое и во всех других реформах и улучшениях. В финансовых реформах, во всех этих комиссиях и комитетах, рассуждавших о банках, о податях и проч., что видело общественное мнение, чего от них надеялось, как не определения более правильной, отчетливой системы финансового управления и, следовательно, введения законности вместо всякого произвола? Что заставило предоставить некоторые права гласности, которой прежде так боялись, — что, как не сознание силы того общего протеста против бесправия и произвола, который в течение многих лет сложился в общественном мнении и наконец не мог себя сдерживать?

Что сказалось в полицейских и административных преобразованиях, в заботах о правосудии, в предположениях гласного судопроизводства, в уменьшении строгостей к раскольникам, в самом уничтожении откупов?.. Мы не говорим о практическом значении всех этих мер, мы только утверждаем, что самая попытка приступить к ним доказывает сильное развитие той общей идеи, на которую мы указали: хотя бы все они рушились или остались безуспешными, это бы могло показать только — недостаточность или ложность средств, принятых для их исполнения, но не могло бы свидетельствовать против потребностей, их вызвавших. Существование этих требований так ясно, что в литературе нашей они выразились немедленно, как только оказалась фактическая возможность их проявления. Сказались они и в комедиях Островского, с полнотою и силою, какую мы встречали у немногих авторов. Но не в одной только степени силы достоинство комедий его: для нас важно и то, что он нашел сущность общих требований жизни еще в то время, когда они были скрыты и высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса появилась в 1847 году; известно, что с того времени до последних годов даже лучшие наши

авторы почти потеряли след естественных стремлений народных и даже стали сомневаться в их существовании, а если иногда и чувствовали их веяние, то очень слабо, неопределенно, только в каких-нибудь частных случаях, и, за немногими исключениями, почти никогда не умели найти для них истинного и приличного выражения. Общее положение отразилось, разумеется, отчасти и на Островском; оно, может быть, во многом объясняет ту долю неопределенности некоторых его пьес, которая подала повод к таким нападкам на него в начале пятидесятых годов. Но теперь, внимательно соображая совокупность его произведений, мы находим, что чутье истинных потребностей и стремлений русской жизни никогда не оставляло его; оно иногда и не показывалось на первый взгляд, но всегда находилось в корне его произведений. Зато — кто хотел беспристрастно доискаться коренного их смысла, тот всегда мог найти, что дело в них представляется не с поверхности, а с самого корня. Эта черта удерживает произведения Островского на их высоте и теперь, когда уже все стараются выражать те же стремления, которые мы находим в его пьесах. Чтобы не распространяться об этом, заметим одно: требование права, уважение личности, про-

тест против насилия и произвола вы находите во множестве наших литературных произведений последних лет; но в них большею частию дело не проведено жизненным, практическим образом, почувствована отвлеченная, философская сторона вопроса и из нее все выведено, указывается *право,* а оставляется без внимания реальная *возможность.* У Островского не то: у него вы находите не только нравственную, но и житейскую, экономическую сторону вопроса, а в этом-то и сущность дела. У него вы ясно видите, как самодурство опирается на толстой мошне, которую называют «Божиим благословением», и как безответность людей перед ним определяется материальною от него зависимостью. Мало того, вы видите, как эта материальная сторона во всех житейских отношениях господствует над отвлеченною и как люди, лишенные материального обеспечения, мало ценят отвлеченные права и даже теряют ясное сознание о них. В самом деле — сытый человек может рассуждать хладнокровно и умно, следует ли ему есть такое-то кушанье; но голодный рвется к пище, где ни завидит ее и какова бы она ни была. Это явление, повторяющееся во всех сферах общественной жизни, хорошо замечено и понято Островским, и его пьесы яснее

всяких рассуждений показывают внимательному читателю, как система бесправия и грубого, мелочного эгоизма, водворенная самодурством, прививается и к тем самым, которые от него страдают; как они, если мало-мальски сохраняют в себе остатки энергии, стараются употребить ее на приобретение возможности жить самостоятельно и уже не разбирают при этом ни средств, ни прав. Мы слишком подробно развивали эту тему в прежних статьях наших, чтобы опять к ней возвращаться; притом же мы, припомнивши стороны таланта Островского, которые повторились в «Грозе», как и в прежних его произведениях, должны все-таки сделать коротенький обзор самой пьесы и показать, как мы ее понимаем.

По-настоящему этого бы и не нужно; но критики, до сих пор написанные на «Грозу», показывают нам, что наши замечания не будут лишни.

Уже и в прежних пьесах Островского мы замечали, что это не комедии интриг и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни», если бы это не было слишком обширно и потому не совсем определенно. Мы хотим сказать, что у него на первом плане является всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц обстановка жиз-

ни. Он не карает ни злодея, ни жертву; оба они жалки вам, нередко оба смешны, но не на них непосредственно обращается чувство, возбуждаемое в вас пьесою. Вы видите, что их положение господствует над ними, и вы вините их только в том, что они не выказывают достаточно энергии для того, чтобы выйти из этого положения. Сами самодуры, против которых, естественно, должно возмущаться ваше чувство, по внимательном рассмотрении оказываются более достойны сожаления, нежели вашей злости: они и добродетельны, и даже умны по-своему, в пределах, предписанных им рутиною и поддерживаемых их положением; но положение это таково, что в нем невозможно полное, здоровое человеческое развитие. Мы видели это особенно в анализе характера Русакова.

Таким образом, борьба, требуемая теориею от драмы, совершается в пьесах Островского не в монологах действующих лиц, а в фактах, господствующих над ними. Часто сами персонажи комедии не имеют ясного, или и вовсе никакого, сознания о смысле своего положения и своей борьбы; но зато борьба весьма отчетливо и сознательно совершается в душе зрителя, который невольно возмущается против положе-

ния, порождающего такие факты. И вот почему мы никак не решаемся считать ненужными и лишними те лица пьес Островского, которые не участвуют прямо в интриге. С нашей точки зрения, эти лица столько же необходимы для пьесы, как и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие, рисуют положение, которым определяется смысл деятельности главных персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растения, надо изучать его на той почве, на которой оно растет; оторвавши от почвы, вы будете иметь форму растения, но не узнаете вполне его жизни. Точно так не узнаете вы жизни общества, если вы будете рассматривать ее только в непосредственных отношениях нескольких лиц, пришедших почему-нибудь в столкновение друг с другом: тут будет только деловая, официальная сторона жизни, между тем как нам нужна будничная ее обстановка. Посторонние, недеятельные участники жизненной драмы, по-видимому занятые только своим делом каждый, имеют часто одним своим существованием такое влияние на ход дела, что его ничем и отразить нельзя. Сколько горячих идей, сколько обширных планов, сколько восторженных порывов рушится при одном взгляде

на равнодушную, прозаическую толпу, с презрительным индифферентизмом проходящую мимо нас! Сколько чистых и добрых чувств замирает в нас из боязни, чтобы не быть осмеянным и поруганным этой толпой! А с другой стороны, и сколько преступлений, сколько порывов произвола и насилия останавливается пред решением этой толпы, всегда как будто равнодушной и податливой, но, в сущности, весьма неуступчивой в том, что раз ею признано. Поэтому чрезвычайно важно для нас знать, каковы понятия этой толпы о добре и зле, что у ней считается за истину и что за ложь. Этим определяется наш взгляд на положение, в каком находятся главные лица пьесы, а следовательно, и степень нашего участия к ним.

В «Грозе» особенно видна необходимость так называемых «ненужных» лиц: без них мы не можем понять лица героини и легко можем исказить смысл всей пьесы, что и случилось с большею частью критиков. Может быть, нам скажут, что все-таки автор виноват, если его так легко не понять; но мы заметим на это, что автор пишет для публики, а публика если и не сразу овладевает вполне сущностью его пьес, то и не искажает их смысла. Что же касается до того, что некоторые подробности могли быть отдела-

ны лучше, — мы за это не стоим. Без сомнения, могильщики в «Гамлете» более кстати и ближе связаны с ходом действия, нежели, например, полусумасшедшая барыня в «Грозе»; но мы ведь не то толкуем, что наш автор — Шекспир, а только то, что его посторонние лица имеют резон своего появления и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, рассматриваемой как она есть, а не в смысле абсолютного совершенства.

«Гроза», как вы знаете, представляет нам идиллию «темного царства», которое мало-помалу освещает нам Островский своим талантом. Люди, которых вы здесь видите, живут в благословенных местах: город стоит на берегу Волги, весь в зелени; с крутых берегов видны далекие пространства, покрытые селеньями и нивами; летний благодатный день так и манит на берег, на воздух, под открытое небо, под этот ветерок, освежительно веющий с Волги... И жители, точно, гуляют иногда по бульвару над рекой, хоть уж и пригляделись к красотам волжских видов; вечером сидят на завалинках у ворот и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводят время у себя дома, занимаются хозяйством, кушают, спят — спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и

выдержать такую сонную ночь, какую они задают себе. Но что же им делать, как не спать, когда они сыты? Их жизнь течет так ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может изменяться, как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых началах, — обитатели городка Калинова будут себе существовать попрежнему в полнейшем неведении об остальном мире. Изредка забежит к ним неопределенный слух, что Наполеон с двадесятью язык опять подымается или что антихрист народился; но и это они принимают более как курьезную штуку, вроде вести о том, что есть страны, где все люди с песьими головами: покачают головой, выразят удивление к чудесам природы и пойдут себе закусить… Смолоду еще показывают некоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: сведения заходят к ним, точно в Древней Руси времен Даниила Паломника, только от странниц, да и тех уже нынче немного настоящих-то; приходится довольствоваться такими, которые «сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхали», как Феклуша в «Грозе». От них только и узнают жители Калинова о том,

что на свете делается; иначе они думали бы, что весь свет таков же, как и их Калинов, и что иначе жить, чем они, совершенно невозможно. Но и сведения, сообщаемые Феклушами, таковы, что не способны внушить большого желания променять свою жизнь на иную. Феклуша принадлежит к партии патриотической и в высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивых и наивных калиновцев: ее и почитают, и угощают, и снабжают всем нужным; она пресерьезно может уверять, что самые грешки ее происходят оттого, что она выше прочих смертных: «простых людей, говорит, каждого один враг смущает, а к нам, странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено, вот и надо их всех побороть». И ей верят. Ясно, что простой инстинкт самосохранения должен заставить ее не сказать хорошего слова о том, что в других землях делается. И в самом деле, прислушайтесь к разговорам купечества, мещанства, мелкого чиновничества в уездной глуши, — сколько удивительных сведений о неверных и поганых царствах, сколько рассказов о тех временах, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили, и т. п. — и как мало сведений о европейской жизни, о лучшем устройстве быта!

Даже в так называемом образованном обществе, в объевропеившихся людях, на множество энтузиастов, восхищающихся новыми парижскими улицами и мабилем, разве вы не найдете почти такое же множество солидных ценителей, которые запугивают своих слушателей тем, что нигде, кроме Австрии, во всей Европе порядка нет и никакой управы найти нельзя!.. Все это и ведет к тому, что Феклуша высказывает так положительно: «Бла-алепие, милая, бла-алепие, красота дивная! Да что уж и говорить — в обетованной земле живете!» Оно, несомненно, так и выходит, как сообразить, что в других-то землях делается. Послушайте-ко Феклушу:

«Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, над всеми людьми, и что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая девушка, ни одного дела рассудить праведно, — такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так

им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами».

«За что же так, с песьими?» — спрашивает Глаша. «За неверность», — коротко отвечает Феклуша, считая всякие дальнейшие объяснения излишними. Но Глаша и тому рада; в томительном однообразии ее жизни и мысли ей приятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. В ее душе смутно пробуждается уже мысль, «что вот, однако же, живут люди и не так, как мы; оно конечно, у нас лучше, а впрочем, кто их знает! Ведь и у нас нехорошо; а про те земли-то мы еще и не знаем хорошенько; кое-что только услышишь от добрых людей…». И желание знать побольше да поосновательнее закрадывается в душу. Это для нас ясно из слов Глаши по уходе странницы: «Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть: нет-нет да и услышишь, что на белом свету делается; а то бы так дураками и померли». Как видите, неправедность и неверность чужих земель не возбуждает в Глаше ужаса и негодования; ее занимает только новое сведение, которое представляется ей чем-то загадочным — «чудесами», как она выражается.

Вы видите, что она не довольствуется объяснениями Феклуши, которые возбуждают в ней только сожаление о своем невежестве. Она, очевидно, на полдороге к скептицизму. Но где ж ей сохранить свое недоверие, когда оно беспрестанно подрывается рассказами, подобными Феклушиным? Как ей дойти до правильных понятий, даже просто до разумных вопросов, когда ее любознательность заперта в таком круге, который очерчен около нее в городе Калинове? Да еще мало того, как бы она осмелилась не верить да допытываться, когда старшие и лучшие люди так положительно успокаиваются в убеждении, что принятые ими понятия и образ жизни — наилучшие в мире и что все новое происходит от нечистой силы? Страшна и тяжела для каждого новичка попытка идти наперекор требованиям и убеждениям этой темной массы, ужасной в своей наивности и искренности. Ведь она проклянет нас, будет бегать, как зачумленных, — не по злобе, не по расчетам, а по глубокому убеждению в том, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумными сочтет и будет подсмеиваться… Она ищет знания, любит рассуждать, но только в известных пределах, предписанных ей основными понятиями, в которых путается рассудок. Вы

можете сообщить калиновским жителям некоторые географические знания; но не касайтесь того, что земля на трех китах стоит и что в Иерусалиме есть пуп земли, — этого они вам не уступят, хотя о пупе земли имеют такое же ясное понятие, как о Литве в «Грозе». «Это, братец ты мой, что такое?» — спрашивает один мирный гражданин у другого, показывая на картину. «А это литовское разорение, — отвечает тот. — Битва! видишь! Как наши с Литвой бились». — «Что же это такое Литва?» — «Так она Литва и есть», — отвечает объясняющий. «А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала», — продолжает первый; но собеседнику его мало до того нужды: «Ну с неба так с неба», — отвечает он… Тут женщина вмешивается в разговор: «Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны». — «А что, братец ты мой! Ведь это так точно!» — восклицает вопрошатель, вполне удовлетворенный. И после этого спросите его, что он думает о Литве! Подобный исход имеют все вопросы, задаваемые здесь людям естественной любознательностью. И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были глупее, бестолковее многих других, которых мы встречаем в академиях и ученых обществах. Нет, все дело в

том, что они своим положением, своей жизнью под гнетом произвола все приучены уже видеть безотчетность и бессмысленность и потому находят неловким и даже дерзким настойчиво доискиваться разумных оснований в чем бы то ни было. Задать вопрос — на это их еще станет; но если ответ будет таков, что «пушка сама по себе, а мортира сама по себе», — то они уже не смеют пытать дальше и смиренно довольствуются данным объяснением. Секрет подобного равнодушия к логике заключается прежде всего в отсутствии всякой логичности в жизненных отношениях. Ключ этой тайны дает нам, например, следующая реплика Дикого в «Грозе». Кулигин в ответ на его грубости говорит:

«За что, сударь Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?» Дико́й отвечает вот что:

«Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважнее тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, — вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу

— раздавлю».

Какое теоретическое рассуждение может устоять там, где жизнь основана на таких началах! Отсутствие всякого закона, всякой логики — вот закон и логика этой жизни. Это не анархия, но нечто еще гораздо худшее (хотя воображение образованного европейца и не умеет представить себе ничего хуже анархии). В анархии так уж и нет никакого начала: всяк молодец на свой образец, никто никому не указ, всякий на приказание другого может отвечать, что я, мол, тебя знать не хочу, и, таким образом, все озорничают и ни в чем согласиться не могут. Положение общества, подверженного такой анархии (если только она возможна), действительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество разделилось на две части: одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать законом всякую претензию первой и безропотно сносить все ее капризы, все безобразия… Не правда ли, что это было бы еще ужаснее? Анархия осталась бы та же, потому что в обществе все-таки разумных начал не было бы, озорничества продолжались бы по-прежнему; но половина людей принуждена была бы страдать от них и постоянно питать

их собою, своим смирением и угодливостью. Ясно, что при таких условиях озорничество и беззаконие приняли бы такие размеры, каких никогда не могли бы они иметь при всеобщей анархии. В самом деле, что ни говорите, а человек один, предоставленный самому себе, не много надурит в обществе и очень скоро почувствует необходимость согласиться и сговориться с другими в видах общей пользы. Но никогда этой необходимости не почувствует человек, если он во множестве подобных себе находит обширное поле для упражнения своих капризов и если в их зависимом, униженном положении видит постоянное подкрепление своего самодурства. Таким образом, имея общим с анархиею отсутствие всякого закона и права, обязательного для всех, самодурство, в сущности, несравненно ужаснее анархии, потому что дает озорничеству больше средств и простора и заставляет страдать большее число людей, — и опаснее ее еще в том отношении, что может держаться гораздо дольше. Анархия (повторим, если только она возможна вообще) может служить только переходным моментом, который сам себя с каждым шагом должен образумливать и приводить к чему-нибудь более здравому; самодурство, напро-

тив, стремится узаконить себя и установить как незыблемую систему. Оттого оно вместе с таким широким понятием о своей собственной свободе старается, однако же, принять все возможные меры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобы оградить себя от всяких дерзких попыток. Для достижения этой цели оно признает как будто некоторые высшие требования и хотя само против них тоже преступается, но пред другими стоит за них твердо. Несколько минут спустя после реплики, в которой Дико́й так решительно отвергал, в пользу собственного каприза, все нравственные и логические основания для суждения о человеке, — этот же самый Дико́й напускается на Кулигина, когда тот для объяснения грозы выговорил слово «электричество».

«Ну как же ты не разбойник, — кричит он, — гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А, говори: татарин?» И уж тут Кулигин не смеет ответить ему: «Хочу так думать и думаю, и никто мне не указ». Куда тебе — он и объяснений-то своих представить не может: принимают с ругательствами, да и говорить-то не дают.

Поневоле тут резонировать перестанешь, когда на всякий резон кулак отвечает, и всегда в конце концов кулак остается правым…

Но — чудное дело! — в своем непререкаемом, безответственном темном владычестве, давая полную свободу своим прихотям, ставя ни во что всякие законы и логику, самодуры русской жизни начинают, однако же, ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная перед чем и почему. Все, кажется, по-прежнему, все хорошо: Дико́й ругает кого хочет; когда ему говорят: «Как это на тебя никто в целом доме угодить не может!» — он самодовольно отвечает: «Вот поди ж ты!» Кабанова держит по-прежнему в страхе своих детей, заставляет невестку соблюдать все этикеты старины, ест ее, как ржа железо, считает себя вполне непогрешимой и ублажается разными Феклушами. А все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и хотя далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже дает себя предчувствовать и посылает нехорошие видения темному произволу самодуров. Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напуститься на самого невинного, на какого-нибудь Кулигина; но нет ни врага, ни виновного, которого могли бы они

уничтожить: закон времени, закон природы и истории берет свое, и тяжело дышат старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше их, которой они одолеть не могут, к которой даже и подступить не знают как. Они не хотят уступать (да никто покамест и не требует от них уступок), но съеживаются, сокращаются: прежде они хотели утвердить свою систему жизни навеки нерушимую и теперь то же стараются проповедовать; но уже надежда изменяет им, и они, в сущности, хлопочут только о том, как бы на их век стало… Кабанова рассуждает о том, что «последние времена приходят», и, когда Феклуша рассказывает ей о разных ужасах настоящего времени — о железных дорогах и т. п., она пророчески замечает: «И хуже, милая, будет». — «Нам бы только не дожить до этого», — со вздохом отвечает Феклуша. «Может,

и доживем», — фаталистически говорит опять Кабанова, обнаруживая свои сомнения и неуверенность. А отчего она тревожится? Народ по железным дорогам ездит — да ей-то что от этого? А вот видите ли: она, «хоть ты ее всю золотом осыпь», не поедет по дьявольскому изобретению; а народ ездит все больше и больше, не обращая внимания на ее проклятия; разве это не грустно,

разве не служит свидетельством ее бессилия? Об электричестве проведали люди — кажется, что тут обидного для Диких и Кабановых? Но видите ли, Дикóй говорит, что «гроза в наказанье нам посылается, чтобы мы чувствовали», а Кулигин не чувствует или чувствует совсем не то и толкует об электричестве. Разве это не своеволие, не пренебрежение власти и значения Дикого? Не хотят верить тому, чему он верит, — значит, и ему не верят, считают себя умнее его; рассудите, к чему же это поведет? Недаром Кабанова замечает о Кулигине: «Вот времена-то пришли, какие учители появились! Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!» И Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век изжила. Она предвидит конец их, старается поддержать их значение, но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения, что их сохраняют уже неохотно, только поневоле, и что при первой возможности их бросят. Она уже и сама как-то потеряла часть своего рыцарского жара; уже не с прежней энергией заботится она о соблюдении старых обычаев, во многих случаях она уж махнула рукой, поникла пред невозможностью остановить поток и только с отчаянием смотрит, как он затопляет мало-помалу пестрые

цветники ее прихотливых суеверий. Точно последние язычники пред силою христианства, так поникают и стираются порождения самодуров, застигнутые ходом новой жизни. Даже решимости выступить на прямую, открытую борьбу в них нет; они только стараются как-нибудь обмануть время да разливаются в бесплодных жалобах на новое движение. Жалобы эти всегда слышались от стариков, потому что всегда новые поколения вносили в жизнь что-нибудь новое, противное прежним порядкам; но теперь жалобы самодуров принимают какой-то особенно мрачный, похоронный тон. Кабанова только тем и утешается, что еще как-нибудь, с ее помощью, простоят старые порядки до ее смерти; а там — пусть будет что угодно — она уж не увидит. Провожая сына в дорогу, она замечает, что все делается не так, как нужно по ее: сын ей и в ноги не кланяется — надо этого именно потребовать от него, а сам не догадался; и жене своей он не «приказывает», как жить без него, да и не умеет приказать, и при прощанье не требует от нее земного поклона; и невестка, проводивши мужа, не воет и не лежит на крыльце, чтобы показать свою любовь. По возможности Кабанова старается водворить порядок, но уже чувствует, что

невозможно вести дело совершенно по старине; например, относительно вытья на крыльце она уже только замечает невестке в виде совета, но не решается настоятельно требовать… Зато проводы сына внушают ей такие грустные размышления:

«Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не умеют. *Хорошо еще, у кого в доме старшие есть* — ими дом-то и держится, пока живы. *А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят,* а выйдут на волю-то, так и путаются на позор, на смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут — посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да и только! *Так-то вот старина-то и выводится.* В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее. *Что будет, как старики-то перемрут, как будет свет стоять, уж я и не знаю. Ну да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего».*

Пока старики перемрут, до тех пор молодые успеют состариться, — на этот счет старуха могла бы и не беспокоиться. Но ей, видите ли, важно не то, собственно, чтобы всегда было кому смотреть за порядком и научать неопытных; ей нужно,

чтобы всегда нерушимо сохранялись именно те порядки, остались неприкосновенными именно те понятия, которые она признает хорошими. В узости и грубости своего эгоизма она не может возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжестве принципа, хотя бы и с пожертвованием существующих форм; да и нельзя от нее ожидать этого, так как у нее, собственно, нет никакого принципа, нет никакого общего убеждения, которое бы управляло ее жизнью. Она в этом случае гораздо ниже того сорта людей, которых принято называть просвещенными консерваторами. Те расширили несколько свой эгоизм, слившись с ним требование порядка общего, так что для сохранения порядка они способны даже жертвовать некоторыми личными вкусами и выгодами. На месте Кабановой они бы, например, не стали предъявлять уродливых и унизительных требований земных поклонов и оскорбительных «наказов» от мужа жене, а озаботились бы только о сохранении общей идеи — что жена должна бояться своего мужа и покорствовать свекрови. Невестка не испытывала бы таких тяжелых сцен, хотя и была бы точно так же в полной зависимости от старухи. И результат был бы тот, что как бы ни плохо было молодой женщине, но терпе-

ние ее продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленным и ровным гнетом, нежели когда оно раздражалось резкими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разумеется, что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищает, гораздо выгоднее было бы отказаться от некоторых пустых форм и сделать частные уступки, чтобы удержать сущность дела. Но порода Кабановых не понимает этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принцип вне себя, — они сами принцип, и потому все касающееся их они признают абсолютно важным. Им нужно не только, чтоб их уважали, но чтоб уважение это выражалось именно в известных формах: вот еще на какой степени стоят они! Оттого, разумеется, внешний вид всего, на что простирается их влияние, более сохраняет в себе старины и кажется более неподвижным, чем там, где люди, отказавшись от самодурства, стараются уже только о сохранении сущности своих интересов и значения; но в самом-то деле внутреннее значение самодуров гораздо ближе к своему концу, нежели влияние людей, умеющих поддерживать себя и свой принцип внешними уступками. Оттого-то так и печальна Кабанова, оттого-то так и бешен

Дико́й: они до последнего момента не хотели укоротить своих широких замашек и теперь находятся в положении богатого купца накануне банкротства. Все у него по-прежнему, и праздник он задает сегодня, и мильонный оборот порешил поутру, и кредит еще не подорван; но уже ходят какие-то темные слухи, что у него нет наличного капитала, что его аферы ненадежны и завтра несколько кредиторов намерены предъявить свои требования; денег нет, отсрочки не будет, и все здание шарлатанского призрака богатства будет завтра опрокинуто. — Дело плохо… Разумеется, в подобных случаях купец устремляет всю свою заботу на то, чтобы надуть своих кредиторов и заставить их верить в его богатство: так точно Кабановы и Дикие хлопочут теперь о том, чтобы только продолжилась вера в их силу. Поправить свои дела они уж и не рассчитывают; но они знают, что их своевольство еще будет иметь довольно простора до тех пор, пока все будут робеть перед ними; и вот почему они так упорны, так высокомерны, так грозны даже в последние минуты, которых уже немного осталось им, как они сами чувствуют. Чем менее чувствуют они действительной силы, тем сильнее поражает их влияние свободного, здравого смысла, доказывающее им,

что они лишены всякой разумной опоры, тем наглее и безумнее отрицают они всякие требования разума, ставя себя и свой произвол на их место. Наивность, с которою Дикóй говорит Кулигину: «Хочу считать тебя мошенником, так и считаю; и дела мне нет до того, что ты честный человек, и отчета никому не даю, почему так думаю», — эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелепости, если бы Кулигин не вызвал ее скромным запросом: «Да за что же вы обижаете честного человека?..» Дикóй хочет, видите, с первого же раза оборвать всякую попытку требовать от него отчета, хочет показать, что он выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человеческой. Ему кажется, что если он признает над собою законы здравого смысла, общего всем людям, то его важность сильно пострадает от этого. И ведь в большей части случаев так действительно и выходит — потому что его претензии бывают противны здравому смыслу. Отсюда и развивается в нем вечное недовольство и раздражительность. Он сам объясняет свое положение, когда говорит о том, как ему тяжело деньги выдавать. «Что ты мне прикажешь делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе

должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать — отдам, а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную разжигает, да и только… Ну и в те поры ни за что обругаю человека». Отдача денег, как факт материальный и наглядный, даже в сознании самого Дикого пробуждает некоторое размышление: он сознает, как он нелеп, и сваливает вину на то, что «сердце у него такое!». В других случаях он даже и не сознает хорошенько своей нелепости; но по сущности своего характера непременно должен при всяком торжестве здравого смысла чувствовать такое же раздражение, как и тогда, когда приходится необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вот почему: по естественному эгоизму он желает, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убеждает, что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность к деньгам. Но тут его развитие останавливается, эгоизм его остается в пределах отдельной личности и знать не хочет ее отношений к обществу, к своим ближним. Ему надо побольше денег — это он знает и потому желал бы их только получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дел, доходит до отдачи, то он сердится и ругает-

ся: он принимает это как несчастие, наказание, вроде пожара, наводнения, штрафа, — а не как должную, законную расплату за то, что для него делают другие. Так и во всем: по желанию себе добра он хочет простора, независимости; но знать не хочет закона, определяющего приобретение и пользование всякими правами в обществе. Он только хочет больше, как можно больше прав для себя; когда же нужно признать их и за другими, он считает это посягательством на его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть дело и воспрепятствовать ему. Даже когда он и знает, что уж непременно надо уступить, и уступит потом, а все-таки прежде постарается напакостить. «Я отдать — отдам, а обругаю!» И надо полагать, что чем значительнее выдача денег и чем настоятельнее необходимость ее, тем сильнее ругается Дико́й… Из этого следует, что, во-первых, ругательство и все бешенство его хотя и неприятны, но не особенно страшны, и кто, убоявшись их, отступился бы от денег и подумал, что их уж и получить нельзя, тот поступил бы очень глупо; во-вторых, что напрасно было бы надеяться на исправление Дикого посредством каких-нибудь вразумлений: привычка дурить уж в нем так сильна, что он подчиняется ей даже

вопреки голосу собственного здравого смысла. Ясно, что его никакие разумные убеждения не остановят до тех пор, пока с ними не соединяется осязательная до него внешняя сила: Кулигина он ругает, не внимая никаким резонам; а когда его самого однажды на перевозе, на Волге, гусар обругал, так он с гусаром не посмел связаться, а опять-таки выместил свою обиду дома: две недели после этого все прятались от него по чердакам да по чуланам…

Все подобные отношения дают вам чувствовать, что положение Диких, Кабановых и всех подобных им самодуров далеко уже не так спокойно и твердо, как было некогда, в блаженные времена патриархальных нравов. Тогда, если верить сказаниям старых людей, Дикóй мог держаться в своей высокомерной прихотливости не силой, а всеобщим согласием. Он дурил, не думая встретить противодействия, и не встречал его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, одним желанием — угодить ему; никто не представлял другой цели своего существования, кроме исполнения его прихотей. Чем больше сумасбродствовал какой-нибудь дармоед, тем наглее попирал он права человечества, тем довольнее были те, которые своим трудом кормили

его и которых он делал жертвами своих фантазий. Благоговейные рассказы старых лакеев о том, как их вельможные бары травили мелких помещиков, надругались над чужими женами и невинными девушками, секли на конюшне присланных к ним чиновников и т. п., — рассказы военных историков о величии какого-нибудь Наполеона, бесстрашно жертвовавшего сотнями тысяч людей для забавы своего гения, воспоминания галантных стариков о каком-нибудь Дон-Жуане их времени, который «никому спуску не давал» и умел опозорить всякую девушку и перессорить всякое семейство, — все подобные рассказы доказывают, что еще и не очень далеко от нас это патриархальное время. Но, к великому огорчению самодурных дармоедов, оно быстро от нас удаляется, и теперь положение Диких и Кабановых далеко не так приятно: они должны заботиться о том, чтобы укрепить и оградить себя, потому что отвсюду возникают требования, враждебные их произволу и грозящие им борьбою с пробуждающимся здравым смыслом огромного большинства человечества. Отсюда возникает постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуров: сознавая внутренно, что их не за что уважать,

но не признаваясь в этом даже самим себе, они обнаруживают недостаток уверенности в себе мелочностью своих требований и постоянными, кстати и некстати, напоминаниями и внушениями о том, что их должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется в «Грозе», в сцене Кабановой с детьми, когда она, в ответ на покорное замечание сына: «Могу ли я, маменька, вас ослушаться», возражает: «Не очень-то нынче старших-то уважают!» — и затем начинает пилить сына и невестку, так что душу вытягивает у постороннего зрителя.

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видела да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

Кабанов. Я, маменька…

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, — как ты думаешь?

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну а вы, молодые

люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

Кабанов *(вздыхая — в сторону).* Ах ты Господи! *(Матери.)* Да смеем ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает... А сохрани Господи каким-нибудь словом снохе не угодить — ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила.

И после этого сознания старуха все-таки продолжает на целых двух страницах пилить сына. Она не имеет на это никаких резонов, но в ней сердце неспокойно: сердце у нее вещун, оно дает ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между ею и младшими членами семьи давно рушилась и теперь они только механически связаны с нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Мы очень долго останавливались на господствующих лицах «Грозы», потому что, по нашему мнению, история, разыгравшаяся с Катериною, решительно зависит от того положения, какое неизбежно выпадает на ее долю между этими лицами, в том быте, который установился под их влиянием. «Гроза» есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря, разумеется, об его этюдах чисто комического характера). В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели.

Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе», составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует

новой фазе нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности; это сумел сделать Островский. Ни одна из критик на «Грозу» не хотела или не умела представить надлежащей оценки этого характера; потому мы решаемся еще продлить нашу статью, чтобы с некоторой обстоятельностью изложить, как мы понимаем характер Катерины и почему создание его считаем так важным для нашей литературы.

Русская жизнь дошла наконец до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда не годными. Почувствовалась неотлагаемая потребность в людях, хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия (которым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени), но и внесения их в жизнь, в деятельность. Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий,

подставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления препятствий нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое наконец прорывается в людях сквозь все преграды, поставленные Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась в том, как же должен образоваться и проявиться характер, требуемый у нас новым поворотом общественной жизни. Задачу эту пытались разрешить наши писатели, но всегда более или менее неудачно. Нам кажется, что все их неудачи происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской в особенности. Таким образом и явился, например, Калинович, чуть не таскающий купца за бороду, чтоб тот пожертвовал десять тысяч на пользу общества, и истязающий в тюрьме старого князя, на любовнице которого женился, чтобы составить себе карьеру. Так явился и Штольц, отлично управляющий именьями и умеющий живо уничтожать фальшивые векселя при помощи благодетельного начальства. Явился Инсаров,

бросающий немца в воду, не соглашающийся жить даром в гостях на даче у приятеля и даже решающийся жениться на любимой девушке!! Явилась и княжна Зинаида, нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке… Все это были претензии на сильные, цельные характеры. Но верх их представлял в прошлом году Ананий Яковлев, по поводу которого московский господин Аполлон Майков напечатал такую удивительную статейку в «С.-Петербургских ведомостях», что я не постигаю, как Кузьма Прутков до сих пор не составил из нее новой серии афоризмов. Вам известно, может быть, что Ананий Яковлев, известясь о младенце, которого в его отсутствие прижила жена его с помещиком, воспаляется гневом и, весьма почтительно объясняясь с помещиком, грубит, однако же, бурмистру, колотит свою жену и, наконец, разъярившись донельзя, хватает младенца об угол головой, после чего бежит в лес, но, проголодавшись, предает себя в руки правосудия. Лицо, очевидно, сильное, хотя более в физическом, нежели в нравственном и литературном смысле. Но не эта сила рвется наружу из тайников русской жизни, и не таково должно быть ее проявление. Оттого-то мы вовсе не понимаем, каким образом можно

«Горькую судьбину» возвышать над уровнем бесчисленного множества повестей, комедий и драм, обличающих крепостное право, тупость чиновничества и грубость русского мужика. Если вы даете ее нам как пьесу без особенных претензий, просто мелодраматический случай вроде жестоких произведений Сю, то мы ничего не говорим и останемся даже довольны: все-таки это лучше, нежели, например, умильные представления г. Н. Львова и графа Соллогуба, поражающие вас полным искажением понятий о долге и чести. Но если вы претендуете на какое-то более высокое и общее значение этой пьесы, то мы решительно не видим никакой возможности согласиться с вами. Ананий Яковлев, взятый не как малодушное исключение, а как тип, представляется нам клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая так же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и помещиков, подобных Чеглову. Одно из двух: если Ананий точно сильная натура, как его и хочет представить автор, — тогда он гнев свой должен обратить прямо на причину своего несчастия либо совсем преодолеть себя, по соображению, что тут никто не виноват; такие развязки постоянно мы и видим в русской

жизни, когда сильные характеры сталкиваются с враждебными обстоятельствами. Если же он просто малодушный и бестолковый озорник, как выходит по сущности дела, то нужно признаться, что положение, взятое для него в пьесе, вовсе нейдет к этому типу, да и развито совсем не так, чтобы ярко обозначить его существенные черты. Впрочем, Бог с ней, с этой пьесой: она уже забыта теперь, как забыт князь Луповицкий и другие благонамеренные, но фальшивые произведения, имевшие претензию на представление характеристических народных типов. Мы остановились на минуту пред нею потому только, что многие принимали Анания за чисто русский тип. А нам, напротив, показалось, что в нем просто дается нам утрировка того, что у некоторых писателей называется «широтою русской натуры». Автор «Горькой судьбины», по нашему мнению, ненамеренно достигает результата, подобного тому, какой достигался комедиями, писанными по повелению Петра Великого против раскольников. Известно, что в тех комедиях раскольник всегда выставлялся каким-то диким и бессмысленным чудовищем, и, таким образом, комедия говорила: «Смотрите, вот они каковы; можно ли доверяться их учению и соглашаться на их требования?» Так

точно и «Горькая судьбина», рисуя нам Анания Яковлева, говорит: «Вот каков русский человек, когда он почувствует немножко свое личное достоинство и вследствие того расходится!» И критики, признающие за «Горькой судьбиной» общее значение и видящие в Анании тип, делаются соучастниками этой клеветы, конечно, ненамеренной со стороны автора.

Не так понят и выражен русский сильный характер в «Грозе». Он прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам. Не с инстинктом буйства и разрушения, но и не с практической ловкостью улаживать для высоких целей свои собственные делишки, не с бессмысленным, трескучим пафосом, но и не с дипло-магическим, педантским расчетом является он перед нами. Нет, он сосредоточенно-решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны. Он водится не отвлеченными принципами, не практическими соображениями, не мгновенным пафосом, а просто *натурою,* всем существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его сила и существенная

необходимость его в то время, когда старые, дикие отношения, потеряв всякую внутреннюю силу, продолжают держаться внешнею, механическою связью. Человек, только логически понимающий нелепость самодурства Диких и Кабановых, ничего не сделает против них уже потому, что пред ними всякая логика исчезает; никакими силлогизмами вы не убедите цепь, чтоб она распалась на узнике, кулак, чтоб от него не было больно прибитому; так не убедите вы и Дикого поступать разумнее, да не убедите и его домашних — не слушать его прихотей: приколотит он их всех, да и только, — что с этим делать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одной логической стороной, должны развиваться очень убого и иметь весьма слабое влияние на общую деятельность там, где всею жизнью управляет не логика, а чистейший произвол. Не очень благоприятно господство Диких и для развития людей, сильных так называемым практическим смыслом. Что ни говорите об этом смысле, но, в сущности, он есть не что иное, как уменье пользоваться обстоятельствами и располагать их в свою пользу. Значит, практический смысл может вести человека к прямой и честной деятельности только тогда, когда обстоятельства располагаются сообразно с

здравой логикой и, следовательно, с естественными требованиями человеческой нравственности. Но там, где все зависит от грубой силы, где неразумная прихоть нескольких Диких или суеверное упрямство какой-нибудь Кабановой разрушает самые верные логические расчеты и нагло презирает самые первые основания взаимных прав, там уменье пользоваться обстоятельствами, очевидно, превращается в уменье применяться к прихотям самодуров и подделываться под все их нелепости, чтобы и себе проложить дорожку к их выгодному положению. Подхалюзины и Чичиковы — вот сильные практические характеры «темного царства»: других не развивается между людьми чисто практического закала под влиянием господства Диких. Самое лучшее, о чем можно мечтать для этих практиков, — это уподобление Штольцу, то есть умение обделывать кругленько свои делишки без подлостей; но общественный живой деятель из них не явится. Не больше надежд можно полагать и на характеры патетические, живущие минутою и вспышкою. Их порывы случайны и кратковременны; их практическое значение определяется удачей. Пока все идет согласно их надеждам, они бодры, предприимчивы; как скоро противодействие

сильно, они падают духом, охладевают, отступаются от дела и ограничиваются бесплодными, хотя и громкими, восклицаниями. И так как Дикóй и ему подобные вовсе не способны отдать свое значение и свою силу без сопротивления, так как их влияние врезало уже глубокие следы в самом быте и потому не может быть уничтожено одним разом, то на патетические характеры нечего и смотреть как на что-нибудь серьезное. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, когда бы видимый успех ободрял их, то есть когда бы самодуры могли понять шаткость своего положения и стали делать уступки, — и тогда патетические люди не очень много бы сделали. Они отличаются тем, что, увлекаясь внешним видом и ближайшими последствиями дела, никогда почти не умеют заглянуть в глубину, в самую сущность дела. Оттого они очень легко удовлетворяются, обманутые какими-нибудь частными, ничтожными признаками успеха их начал. Когда же ошибка их станет ясною для них самих, тогда они делаются разочарованными, впадают в апатию и ничегонеделанье. Дикóй и Кабанова продолжают торжествовать.

Таким образом, перебирая разнообразные типы, являвшиеся в нашей жизни и воспроизве-

денные литературою, мы постоянно приходили к убеждению, что они не могут служить представителями того общественного движения, которое чувствуется у нас теперь и о котором мы — по возможности подробно — говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: как же, однако, определятся новые стремления в отдельной личности? какими чертами должен отличаться характер, которым совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни? В действительной жизни пробуждающегося общества мы видели лишь намеки на решение наших вопросов, в литературе — слабое повторение этих намеков; но в «Грозе» составлено из них целое, уже с довольно ясными очертаниями; здесь является перед нами лицо, взятое прямо из жизни, но выясненное в сознании художника и поставленное в такие положения, которые дают ему обнаружиться полнее и решительнее, нежели как бывает в большинстве случаев обыкновенной жизни. Таким образом, здесь нет дагеротипной точности, в которой некоторые критики обвиняли Островского; но есть именно художественное соединение однородных черт, проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служа-

щих выражением одной идеи.

Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено своего серьезного значения. Известно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протест бывает тот, который поднимается наконец из груди самых слабых и терпеливых. Поприще, на котором Островский наблюдает и показывает нам русскую жизнь, не касается отношений чисто общественных и государственных, а ограничивается семейством; в семействе же кто более всего выдерживает на себе весь гнет самодурства, как не женщина? Какой приказчик, работник, слуга Дикого может быть столько загнан, забит, отрешен от своей личности, как его жена? У кого может накипеть столько горя и негодования против нелепых фантазий самодура? И в то же время кто менее ее имеет возможности высказать свой ропот, отказаться от исполнения того, что ей противно? Слуги и приказчики связаны только материально, людским образом; они могут оставить самодура тотчас, как найдут себе другое место. Жена, по господствующим понятиям, связана с ним неразрывно, духовно, посредством таинства; что бы муж ни делал,

она должна ему повиноваться и разделять с ним бессмысленную жизнь. Да если б, наконец, она и могла уйти, то куда она денется, за что примется? Кудряш говорит: «Я нужен Дикому, поэтому я не боюсь его и вольничать ему над собою не дам». Легко человеку, который пришел к сознанию того, что он действительно нужен для других; но женщина, жена? К чему нужна она? Не сама ли она, напротив, все берет от мужа? Муж ей дает жилище, поит, кормит, одевает, защищает ее, дает ей положение в обществе… Не считается ли она обыкновенно обременением для мужчины? Не говорят ли благоразумные люди, удерживая молодых людей от женитьбы: «Жена-то ведь не лапоть, с ноги не сбросишь»? И в общем мнении самая главная разница жены от лаптя в том и состоит, что она приносит с собою целую обузу забот, от которых муж не может избавиться, тогда как лапоть дает только удобство, а если неудобен будет, то легко может быть сброшен… Находясь в подобном положении, женщина, разумеется, должна позабыть, что и она такой же человек, с такими же самыми правами, как и мужчина. Она может только деморализоваться, и если личность в ней сильна, то получить наклонность к тому же самодурству, от которого она столько

страдала. Это мы и видим, например, в Кабанихе, точно так как видели в Уланбековой. Ее самодурство только уже и мельче и оттого, может быть, еще бессмысленнее мужского: размеры его меньше, но зато в своих пределах, на тех, кто уж ему попался, оно действует еще несноснее. Дикóй ругается, Кабанова ворчит; тот прибьет, да и кончено, а эта грызет свою жертву долго и неотступно; тот шумит из-за своих фантазий и довольно равнодушен к вашему поведению, покамест оно до него не коснется; Кабаниха создала себе целый мирок особенных правил и суеверных обычаев, за которые стоит со всем тупоумием самодурства. Вообще — в женщине, даже достигшей положения независимого и соп ашоге[9] упражняющейся в самодурстве, видно всегда ее сравнительное бессилие, следствие векового ее угнетения: она тяжелей, подозрительней, бездушней в своих требованиях; здравому рассуждению она не поддается уже не потому, что презирает его, а скорее потому, что боится с ним не справиться: «Начнешь, дескать, рассуждать, а еще что из этого выйдет, — оплетут как раз», — и вследствие того она строго держится

[9] Примечания: 9
С увлечением, из любви *(ит.). — Ред.*

старины и различных наставлений, сообщенных ей какою-нибудь Феклушею…

Ясно из этого, что если уж женщина захочет высвободиться из подобного положения, то ее дело будет серьезно и решительно. Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоит поругаться с Диким: оба они нужны друг другу и, стало быть, со стороны Кудряша не нужно особенного героизма для предъявления своих требований. Зато его выходка и не поведет ни к чему серьезному: поругается он, Дико́й погрозит отдать его в солдаты, да не отдаст, Кудряш будет доволен тем, что отгрызся, а дела опять пойдут по-прежнему. Не то с женщиной: она должна иметь много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требования. При первой же попытке ей дадут почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могут. Она знает, что это действительно так, и должна смириться; иначе над нею исполнят угрозу — прибьют, запрут, оставят на покаянии, на хлебе и на воде, лишат света дневного, испытают все домашние исправительные средства доброго старого времени и приведут-таки к покорности. Женщина, которая хочет идти до конца в своем восстании против угнетения и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена

героического самоотвержения, должна на все решиться и ко всему быть готова. Каким образом может она выдержать себя? Где взять ей столько характера? На это только и можно отвечать тем, что естественных стремлений человеческой природы совсем уничтожить нельзя. Можно их наклонять в сторону, давить, сжимать, но все это только до известной степени. Торжество ложных положений показывает только, до какой степени может доходить упругость человеческой натуры; но чем положение неестественнее, тем ближе и необходимее выход из него. И значит, уж оно очень неестественно, когда его не выдерживают даже самые гибкие натуры, наиболее подчинявшиеся влиянию силы, производившей такие положения. Если уж и гибкое тело дитяти не поддается какому-нибудь гимнастическому фокусу, то очевидно, что он невозможен для взрослых, которых члены более тверды. Взрослые, конечно, и не допустят с собою такого фокуса; но над дитятею легко могут его попробовать. Где берет дитя характер для того, чтобы ему воспротивиться всеми силами, хотя бы за сопротивление обещано было самое страшное наказание? Ответ один: в невозможности выдержать то, к чему его принуждают… То же самое надо сказать и о слабой

женщине, решающейся на борьбу за свои права: дело дошло до того, что ей уж невозможно дальше выдерживать свое унижение, вот она и рвется из него, уже не по соображению того, что лучше и что хуже, а только по инстинктивному стремлению к тому, что выносимо и возможно. *Натура* заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства и воображения: все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи, свободы. Здесь-то и заключается тайна цельности характеров, появляющихся в обстоятельствах, подобных тем, какие мы видели в «Грозе», в обстановке, окружающей Катерину.

Таким образом, возникновение женского энергического характера вполне соответствует тому положению, до какого доведено самодурство в драме Островского. Оно дошло до крайности, до отрицания всякого здравого смысла; оно более, чем когда-нибудь, враждебно естественным требованиям человечества и ожесточеннее прежнего силится остановить их развитие, потому что в торжестве их видит приближение своей неминуемой гибели. Через это оно еще более вызывает ропот и протест даже в существах самых слабых. А вместе с тем самодурство, как мы видели, потеряло свою самоуверенность, лишилось и

твердости в действиях, утратило и значительную долю той силы, которая заключалась для него в наведении страха на всех. Поэтому протест против него не заглушается уже в самом начале, а может превратиться в упорную борьбу. Те, которым еще сносно жить, не хотят теперь рисковать на подобную борьбу, в надежде, что и так недолго прожить самодурству. Муж Катерины, молодой Кабанов, хоть и много терпит от старой Кабанихи, но все же он свободнее: он может и к Савелу Прокофьичу выпить сбегать, он и в Москву съездит от матери и там развернется на воле, а коли плохо ему уж очень придется от старухи, так есть на ком вылить свое сердце — он на жену вскинется… Так и живет себе и воспитывает свой характер, ни на что не годный, все в тайной надежде, что вырвется как-нибудь на волю. Жене его нет никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя; если может, то пусть живет без дыханья, забудет, что есть вольный воздух на свете, пусть отречется от своей природы и сольется с капризным деспотизмом старой Кабанихи. Но вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она чувствует возможность удовлетворить естественной жажде своей души и не

может долее оставаться неподвижною: она рвется к новой жизни, хотя бы пришлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Все равно — она не считает жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю в семье Кабановых.

Такова основа всех действий характера, изображенного в «Грозе». Основа эта надежнее всех возможных теорий и пафосов, потому что она лежит в самой сущности данного положения, влечет человека к делу неотразимо, не зависит от той или другой способности или впечатления в частности, а опирается на все сложности требований организма, на выработке всей натуры человека. Теперь любопытно, как развивается и проявляется подобный характер в частных случаях. Мы можем проследить его развитие по личности Катерины.

Прежде всего вас поражает необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нет в нем внешнего, чужого, а все выходит как-то изнутри его; всякое впечатление перерабатывается в нем и затем срастается с ним органически. Это мы видим, например, в простодушном рассказе Катерины о своем детском возрасте и о жизни в доме у матери. Оказывается, что воспитание и молодая жизнь ничего не дали ей: в доме ее ма-

тери было то же, что и у Кабановых, — ходили в церковь, шили золотом по бархату, слушали рассказы странниц, обедали, гуляли по саду, опять беседовали с богомолками и сами молились... Выслушав рассказ Катерины, Варвара, сестра ее мужа, с удивлением замечает: «Да ведь и у нас то же самое». Но разница определяется Катериною очень быстро в пяти словах: «Да здесь все как будто из-под неволи!» И дальнейший разговор показывает, что во всей этой внешности, которая так обыденна у нас повсюду, Катерина умела находить свой особенный смысл, применять ее к своим потребностям и стремлениям, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении; то настроение, при котором, по выражению поэта,—

Весь мир мечтою благородной
Пред ним очищен и омыт,—

это настроение до последней крайности не покидает Катерину. Всякий внешний диссонанс

она старается согласить с гармонией своей души, всякий недостаток покрывает из полноты своих внутренних сил. Грубые, суеверные рассказы и бессмысленные бредни странниц превращаются у ней в золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а ясные, добрые. Бедны ее образы, потому что материалы, представляемые ей действительностью, так однообразны; но и с этими скудными средствами ее воображение работает неутомимо и уносит ее в новый мир, тихий и светлый. Не обряды занимают ее в церкви: она совсем и не слышит, что там поют и читают; у ней в душе иная музыка, иные видения, для нее служба кончается неприметно, как будто в одну секунду. Ее занимают деревья, странно нарисованные на образах, и она воображает себе целую страну садов, где всё такие деревья, и все это цветет, благоухает, все полно райского пения. А то увидит она в солнечный день, как «из купола светлый такой столб вниз идет и в этом столбе ходит дым, точно облака», — и вот она уже видит, «будто ангелы в этом столбе летают и поют». Иногда представится ей — отчего бы и ей не летать? и когда на горе стоит, то так ее и тянет лететь: вот так бы разбежалась, подняла руки да и полетела. Она странная, сумасбродная, с точки зрения окру-

жающих; но это потому, что она никак не может принять в себя их воззрения и наклонностей. Она берет от них материалы, потому что иначе взять их неоткуда; но не берет выводов, а ищет их сама и часто приходит вовсе не к тому, на чем успокаиваются они. Подобное отношение к внешним впечатлениям мы замечаем и в другой среде, в людях, по своему воспитанию привыкших к отвлеченным рассуждениям и умеющих анализировать свои чувства. Вся разница в том, что у Катерины, как личности непосредственной, живой, все делается по влечению натуры, без отчетливого сознания, а у людей развитых теоретически и сильных умом — главную роль играет логика и анализ. Сильные умы именно и отличаются той внутренней силой, которая дает им возможность не поддаваться готовым воззрениям и системам, а самим создавать свои взгляды и выводы на основании живых впечатлений. Они ничего не отвергают сначала, но ни на чем и не останавливаются, а только все принимают к сведению и перерабатывают по-своему. Аналогические результаты представляет нам и Катерина, хотя она и не резонирует, и даже не понимает сама своих ощущений, а водится прямо натурою. В сухой, однообразной жизни своей юности, в гру-

бых и суеверных понятиях окружающей среды она постоянно умела брать то, что соглашалось с ее естественными стремлениями к красоте, гармонии, довольству, счастью. В разговорах странниц, в земных поклонах и причитаниях она видела не мертвую форму, а что-то другое, к чему постоянно стремилось ее сердце. На основании их она строила себе иной мир, без страстей, без нужды, без горя, мир, весь посвященный добру и наслажденью. Но в чем настоящее добро и истинное наслаждение для человека, она не могла определить себе; вот отчего эти внезапные порывы каких-то безотчетных, неясных стремлений, о которых она вспоминает: «Иной раз, бывало, рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, — упаду на колени, молюсь и плачу и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно». Бедная девочка, не получившая широкого теоретического образования, не знающая всего, что на свете делается, не понимающая хорошенько даже своих собственных потребностей, не может, разумеется, дать себе отчета в том, что ей нужно. Покамест она живет у матери, на полной свободе, без всякой житейской заботы,

пока еще не обозначились в ней потребности и страсти взрослого человека, она не умеет даже отличить своих собственных мечтаний, своего внутреннего мира — от внешних впечатлений. Забываясь среди богомолок в своих радужных думах и гуляя в своем светлом царстве, она все думает, что ее довольство происходит именно от этих богомолок, от лампадок, зажженных по всем углам в доме, от причитаний, раздающихся вокруг нее; своими чувствами она одушевляет мертвую обстановку, в которой живет, и сливает с ней внутренний мир души своей. Это период детства, для многих тянущийся долго, очень долго, но все-таки имеющий свой конец. Если конец приходит очень поздно, если человек начинает понимать, чего ему нужно, тогда уже, когда большая часть жизни изжита, — в таком случае ему ничего почти не остается, кроме сожаления о том, что так долго принимал он собственные мечты за действительность. Он находится тогда в печальном положении человека, который, наделив в своей фантазии всеми возможными совершенствами свою красавицу и связав с нею жизнь свою, вдруг замечает, что все совершенства существовали только в его воображении, а в ней самой нет и следа их. Но характеры сильные

редко поддаются такому решительному заблуждению: в них очень сильно требование ясности и реальности, и оттого они не останавливаются на неопределенностях и стараются выбраться из них во что бы то ни стало. Заметив в себе недовольство, они стараются прогнать его; но, видя, что оно не проходит, кончают тем, что дают полную свободу высказаться новым требованиям, возникающим в душе, а затем уже не успокоятся, пока не достигнут их удовлетворения. А тут и сама жизнь приходит на помощь — для одних благоприятно, расширением круга впечатлений, а для других трудно и горько — стеснениями и заботами, разрушающими гармоническую стройность юных фантазий. Последний путь выпал на долю Катерине, как выпадает он на долю большей части людей в «темном царстве» Диких и Кабановых.

В сумрачной обстановке новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внешности, которою думала довольствоваться прежде. Под тяжелой рукою бездушной Кабанихи нет простора ее светлым видениям, как нет свободы ее чувствам. В порыве нежности к мужу она хочет обнять его, — старуха кричит: «Что на шею виснешь, бесстыдница? В ноги кланяйся!» Ей

хочется остаться одной и погрустить тихонько, как бывало, а свекровь говорит: «Отчего не воешь?» Она ищет света, воздуха, хочет помечтать и порезвиться, полить свои цветы, посмотреть на солнце, на Волгу, послать свой привет всему живому — а ее держат в неволе, в ней постоянно подозревают нечистые, развратные замыслы. Она ищет прибежища по-прежнему в религиозной практике, в посещении церкви, в душеспасительных разговорах; но и здесь не находит уже прежних впечатлений. Убитая дневной работой и вечной неволей, она уже не может с прежней ясностью мечтать об ангелах, поющих в пыльном столбе, освещенном солнцем, не может вообразить себе райских садов с их невозмущаемым видом и радостью. Все мрачно, страшно вокруг нее, все веет холодом и какой-то неотразимой угрозой: и лики святых так строги, и церковные чтения так грозны, и рассказы странниц так чудовищны… Они все те же в сущности, они нимало не изменились, но изменилась она сама: в ней уже нет охоты строить воздушные видения, да уж и не удовлетворяет ее то неопределенное воображение блаженства, которым она наслаждалась прежде. Она возмужала, в ней проснулись другие желания, более реальные; не

зная иного поприща, кроме семьи, иного мира, кроме того, какой сложился для нее в обществе ее городка, она, разумеется, начинает сознавать из всех человеческих стремлений то, которое всего неизбежнее и всего ближе к ней, — стремление любви и преданности. В прежнее время ее сердце было слишком полно мечтами, она не обращала внимания на молодых людей, которые на нее заглядывались, а только смеялась. Выходя замуж за Тихона Кабанова, она и его не любила; она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой девушке надо замуж выходить, показали Тихона как будущего мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индифферентною к этому шагу. И здесь тоже проявляется особенность характера: по обычным нашим понятиям, ей бы следовало противиться, если у ней решительный характер; но она и не думает о сопротивлении, потому что не имеет достаточно оснований для этого. Ей нет особенной охоты выходить замуж, но нет и отвращения от замужества; нет в ней любви к Тихону, но нет любви и ни к кому другому. Ей все равно покамест, вот почему она и позволяет делать с собою что угодно. В этом нельзя видеть ни бессилия, ни апатии, а можно находить только недостаток опытности да еще

слишком большую готовность делать все для других, мало заботясь о себе. У ней мало знания и много доверчивости, вот отчего до времени она не выказывает противодействия окружающим и решается лучше терпеть, нежели делать назло им. Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не растраченная в мелочных выходках. Сначала, по врожденной доброте и благородству души своей, она будет делать все возможные усилия, чтобы не нарушить мира и прав других, чтобы получить желаемое с возможно большим соблюдением всех требований, какие на нее налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней; и если они сумеют воспользоваться этим первоначальным настроением и решатся дать ей полное удовлетворение — хорошо тогда и ей, и им. Но если нет — она ни перед чем не остановится, — закон, родство, обычай, людской суд, правила благоразумия — все исчезает для нее пред силою внутреннего влечения; она не щадит себя и не думает о других. Такой именно выход представился Катерине, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, в которой она находится.

Чувство любви к человеку, желание найти родственный отзыв в другом сердце, потребность нежных наслаждений естественным образом открылись в молодой женщине и изменили ее прежние, неопределенные и бесплодные мечты. «Ночью, Варя, не спится мне, — рассказывает она, — все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо или ведет меня куда-то и я иду за ним, иду…» Она сознала и уловила эти мечты уже довольно поздно; но, разумеется, они преследовали и томили ее задолго прежде, чем она сама могла дать себе отчет в них. При первом их проявлении она тотчас же обратила свое чувство на то, что всего ближе в ней было, — на мужа. Она долго усиливалась сроднить с ним свою душу, уверить себя, что с ним ей ничего не нужно, что в нем-то и есть блаженство, которого она так тревожно ищет. Она со страхом и недоумением смотрела на возможность искать взаимной любви в ком-нибудь, кроме его. В пьесе, которая застает Катерину уже с началом любви к Борису Григорьичу, все еще видны последние, отчаянные усилия Катерины — сделать себе милым своего мужа. Сцена

ее прощания с ним дает нам чувствовать, что и тут еще не все потеряно для Тихона, что он еще может сохранить права свои на любовь этой женщины; но эта же сцена в коротких, но резких очерках передает нам целую историю истязаний, которые заставили вытерпеть Катерину, чтобы оттолкнуть ее первое чувство от мужа. Тихон является здесь простодушным и пошловатым, совсем незлым, но до крайности бесхарактерным существом, не смеющим ничего сделать вопреки матери. А мать — существо бездушное, кулак-баба, заключающая в китайских церемониях и любовь, и религию, и нравственность. Между нею и между своей женой Тихон представляет один из множества тех жалких типов, которые обыкновенно называются безвредными, хотя они в общем-то смысле столь же вредны, как и сами самодуры, потому что служат их верными помощниками. Тихон сам по себе любит жену и готов бы все для нее сделать; но гнет, под которым он вырос, так его изуродовал, что в нем никакого сильного чувства, никакого решительного стремления развиться не может. В нем есть совесть, есть желание добра, но он постоянно действует против себя и служит покорным орудием матери даже в отношениях своих к жене. Еще в первой

сцене появления семейства Кабановых на бульваре мы видим, каково положение Катерины между мужем и свекровью. Кабаниха ругает сына, что жена его не боится; он решается возразить: «Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит». Старуха тотчас же вскидывается на него: «Как, зачем бояться? Как, зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? *Тебя не станет бояться, меня и подавно:* какой же это порядок-то в доме будет! Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит?» Под такими началами, разумеется, чувство любви в Катерине не находит простора и прячется внутрь ее, сказываясь только по временам судорожными порывами. Но и этими порывами муж не умеет пользоваться: он слишком забит, чтобы понять силу ее страстного томления. «Не разберу я тебя, Катя, — говорит он ей, — то от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь». Так обыкновенно дюжинные и испорченные натуры судят о натуре сильной и свежей: они, судя по себе, не понимают чувства, которое схоронилось в глубине души, и всякую сосредоточенность принимают за апатию; когда же, наконец, не будучи в состоянии скрываться долее, внутренняя сила хлынет из души широким и быстрым пото-

ком — они удивляются и считают это каким-то фокусом, причудою, вроде того как им самим приходит иногда фантазия впасть в пафос или кутнуть. А между тем эти порывы составляют необходимость в натуре сильной и бывают тем разительнее, чем они дольше не находят себе выхода. Они не умышлены, не соображены, а вызваны естественной необходимостью. Сила натуры, которой нет возможности развиваться деятельно, выражается и пассивно — терпением, сдержанностью. Но только не смешивайте *этого* терпения с тем, которое происходит от слабого развития личности в человеке и которое кончает тем, что привыкает к оскорблениям и тягостям всякого рода. Нет, Катерина не привыкнет к ним никогда; она еще не знает, на что и как она решится, она ничем не нарушает своих обязанностей к свекрови, делает все возможное, чтобы хорошо уладиться с мужем, но по всему видно, что она чувствует свое положение и что ее тянет вырваться из него. Никогда она не жалуется, не бранит свекрови; сама старуха не может на нее взнести этого; и, однако же, свекровь чувствует, что Катерина составляет для нее что-то неподходящее, враждебное. Тихон, который как огня боится матери и притом не отличается особен-

ною деликатностью и нежностью, совестится, однако, перед женою, когда по повелению матери должен ей наказывать, чтоб она без него «в окна глаз не пялила» и «на молодых парней не заглядывалась». Он видит, что горько оскорбляет ее такими речами, хотя хорошенько и не может понять ее состояния. По выходе матери из комнаты он утешает жену таким образом: «Все к сердцу-то принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить. Ну и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай!» Вот этот индифферентизм, точно, плох и безнадежен; но Катерина никогда не может дойти до него; хотя по наружности она даже меньше огорчается, нежели Тихон, меньше жалуется, но, в сущности, она страдает гораздо больше. Тихон тоже чувствует, что он не имеет чего-то нужного; в нем тоже есть недовольство; но оно находится в нем на такой степени, на какой, например, может быть влечение к женщине у десятилетнего мальчика с развращенным воображением. Он не может очень решительно добиваться независимости и своих прав — уже и потому, что он не знает, что с ними делать; желание его больше головное, внешнее, а собственно натура его, поддавшись гнету воспитания, так и осталась почти

глухою к естественным стремлениям. Поэтому самое искание свободы в нем получает характер уродливый и делается противным, как противен цинизм десятилетнего мальчика, без смысла и внутренней потребности повторяющего гадости, слышанные от больших. Тихон, видите, наслышан от кого-то, что он «тоже мужчина» и потому должен в семье иметь известную долю власти и значения; поэтому он себя ставит гораздо выше жены и, полагая, что ей уж так и Бог судил терпеть и смиряться, на свое положение под началом у матери смотрит как на горькое и унизительное. Затем он наклонен к разгулу и в нем-то главным образом и ставит свободу: точно как тот же мальчик, не умеющий постигнуть настоящей сути, отчего так сладка женская любовь, и знающий только внешнюю сторону дела, которая у него и превращается в сальности! Тихон, собираясь уезжать, с бесстыднейшим цинизмом говорит жене, упрашивающей его взять ее с собою: «С этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай-то: *какой ни на есть, а я все-таки мужчина,* — всю жизнь вот этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как я знаю теперича, что недели две никакой грозы на меня не будет, кандалов этих

на ногах нет, так до жены ли мне?» Катерина только и может ответить ему на это: «Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?» Но Тихон не понимает всей важности этого мрачного и решительного упрека; как человек, уже махнувший рукою на свой рассудок, он отвечает небрежно: «Слова — как слова! Какие же мне еще слова говорить!» — и торопится отделаться от жены. А зачем? Что он хочет делать, на чем отвести душу, вырвавшись на волю? Он об этом сам рассказывает потом Кулигину: «На дорогу-то маменька читала-читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. *Уж очень рад, что на волю-то вырвался.* И всю дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что на-поди! *Так, чтобы уж на целый год отгуляться!..»* Вот и все! И надо сказать, что в прежнее время, когда еще сознание личности и ее прав не поднялось в большинстве, почти только подобными выходками и ограничивались протесты против самодурного гнета. Да и нынче еще можно встретить множество Тихонов, упивающихся если не вином, то какими-нибудь рассуждениями и спичами и отводящих душу в шуме словесных оргий. Это именно люди, которые постоянно жалуются на свое стесненное положение, а между тем заражены гордою мыс-

лью о своих привилегиях и о своем превосходстве над другими: «Какой ни на есть, а все-таки я мужчина, — так каково мне терпеть-то». То есть: «Ты терпи, потому что ты баба и, стало быть, дрянь, мне надо волю — не потому, чтоб это было человеческое, естественное требование, а потому, что таковы права моей привилегированной особы»... Ясно, что из подобных людей и замашек никогда и не могло и не может ничего выйти.

Но не похоже на них новое движение народной жизни, о котором мы говорили выше и отражение которого нашли в характере Катерины. В этой личности мы видим уже возмужалое, из глубины всего организма возникающее требование права и простора жизни. Здесь уже не воображение, не наслышка, не искусственно возбужденный порыв являются нам, а жизненная необходимость натуры. Катерина не капризничает, не кокетничает своим недовольством и гневом, — это не в ее натуре; она не хочет импонировать на других, выставиться и похвалиться. Напротив, живет она очень мирно и готова всему подчиниться, что только не противно ее натуре; принцип ее, если б она могла сознать и определить его, был бы тот, чтобы как можно менее своей личностью стеснять других и тревожить общее течение дел.

Но зато, признавая и уважая стремления других, она требует того же уважения и к себе, и всякое насилие, всякое стеснение возмущает ее кровно, глубоко. Если б она могла, она бы прогнала далеко от себя все, что живет неправо и вредит другим; но, не будучи в состоянии сделать этого, она идет обратным путем — сама бежит от губителей и обидчиков. Только бы не подчиниться их началам вопреки своей натуре, только бы не помириться с их неестественными требованиями, а там что выйдет — лучшая ли доля для нее или гибель, — на это она уж не смотрит: в том и другом случае для нее избавление… О своем характере Катерина сообщает Варе одну черту еще из воспоминаний детства: «Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, — так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, — я выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять…» Эта детская горячность сохранилась в Катерине; только вместе с общей возмужалостью прибавилась в ней и сила выдерживать впечатления и господствовать над ними. Взрослая Катерина, поставленная в необходимость терпеть обиды, находит в себе силу долго переносить их, без

напрасных жалоб, полусопротивлений и всяких шумных выходок. Она терпит до тех пор, пока не заговорит в ней какой-нибудь интерес, особенно близкий ее сердцу и законный в ее глазах, пока не оскорблено в ней будет такое требование ее натуры, без удовлетворения которого она не может оставаться спокойною. Тогда она уж ни на что не посмотрит. Она не будет прибегать к дипломатическим уловкам, к обманам и плутням — не такова она. Если уж нужно непременно обманывать, так она лучше постарается перемочь себя. Варя советует Катерине скрывать свою любовь к Борису; она говорит: «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу» — и вслед за тем делает усилие над своим сердцем и опять обращается к Варе с такой речью: «Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! *Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю!*» Но усилие уже выше ее возможности; через минуту она чувствует, что ей не отделаться от возникшей любви: «Разве я хочу о нем думать, — говорит она, — да что делать, коли из головы нейдет?» В этих простых словах очень ясно выражается, как сила естественных стремлений неприметно для самой Катерины одерживает в ней победу над

всеми внешними требованиями, предрассудками и искусственными комбинациями, в которых запутана жизнь ее. Заметим, что теоретическим образом Катерина не могла отвергнуть ни одной из этих комбинаций, не могла освободиться ни от каких отсталых мнений; она пошла против всех них, вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным сознанием своего прямого, неотъемлемого права на жизнь, счастье и любовь… Она нимало не резонирует, но с удивительною легкостью разрешает все трудности своего положения. Вот ее разговор с Варварой:

Варвара. Ты какая-то мудреная, Бог с тобой! А по-моему — делай что хочешь, только бы шито да крыто было.

Катерина. Не хочу я так, да и что хорошего! *Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.*

Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?

Катерина. Что я сделаю?

Варвара. Да, что сделаешь?

Катерина. *Что мне только захочется, то и сделаю.* Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.

Катерина. А что мне! Я уйду, да и была такова.

Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего харак-

теру! *Конечно, не дай Бог этому случиться, а уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь.*

Вот истинная сила характера, на которую во всяком случае можно положиться! Вот высота, до которой доходит наша народная жизнь в своем развитии, но до которой в литературе нашей умели подниматься весьма немногие, и никто не умел на ней так хорошо держаться, как Островский. Он почувствовал, что не отвлеченные верования, а жизненные факты управляют человеком, что не образ мыслей, не принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера, и он умел создать такое лицо, которое служит представителем великой народной идеи, не нося великих идей ни на языке, ни в голове, самоотверженно идет до конца в неровной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая себя на высокое самоотвержение. Ее поступки находятся в гармонии с ее натурой, они для нее

естественны, необходимы, она не может от них отказаться, хотя бы это имело самые гибельные последствия. Претендованные в других творениях нашей литературы сильные характеры

похожи на фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но зависящие в своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного к ним; Катерина, напротив, может быть уподоблена большой, многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно, хорошее — она течет спокойно, камни большие встретились — она через них перескакивает, обрыв — льется каскадом, запружают ее — она бушует и прорывается в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошуметь или рассердиться на препятствия, а просто потому, что это ей необходимо для выполнения ее естественных требований — для дальнейшего течения. Так и в том характере, который воспроизведен нам Островским: мы знаем, что он выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия; а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит себе. Высокие ораторы правды, претендующие на «отречение от себя для великой идеи», весьма часто оканчивают тем, что отступаются от своего служения, говоря, что борьба со злом еще слишком безнадежна, что она повела бы только к напрасной

гибели, и проч. Они справедливы, и нельзя их упрекать в малодушии; но, во всяком случае, нельзя не видеть в этом, что «идея», которой они хотят служить, составляет для них что-то внешнее, без чего они могут обойтись, что они умеют очень хорошо отделить от своих личных, прямых потребностей. Ясно, что, как бы ни был велик их азарт в пользу идеи, он всегда будет гораздо слабее и ниже того простого, инстинктивного, неотразимого влечения, которое управляет поступками личностей вроде Катерины, даже и не думающих ни о каких высоких «идеях».

В положении Катерины мы видим, что, напротив, все «идеи», внушенные ей с детства, все принципы окружающей среды — восстают против ее естественных стремлений и поступков. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается в каждом слове, в каждом движении драмы, и вот где оказывается вся важность вводных лиц, за которых так упрекают Островского. Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана в понятиях, одинаковых с понятиями среды, в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних хоть и перерабатывались

ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе: и действительно, мы видим в пьесе, что Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выспренние стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство — страх каких-то темных сил, чего-то неведомого, чего она не могла ни объяснить себе хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждет себе кары; ей кажется, что гроза ее убьет, потому что она грешница; картина геенны огненной на стене церковной представляется ей уже предвестием ее вечной муки… А все окружающее поддерживает и развивает в ней этот страх: Феклуши ходят к Кабанихе толковать о последних временах; Дикóй твердит, что гроза в наказание нам посылается, чтоб мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страх на всех в городе, показывается несколько раз с тем, чтобы зловещим голосом прокричать над Катериною: «Все в огне гореть будете в неугасимом». Все окружающие полны суеверного страха, и все окружающие, согласно с понятиями и самой Катерины, должны смотреть на ее чувство к Борису как на величайшее преступление. Даже удалой Кудряш,

espritfort[10] этой среды, и тот находит, что девкам можно гулять с парнями сколько хочешь — это ничего, а бабам надо уж взаперти сидеть. Это убеждение так в нем сильно, что, узнав о любви Бориса к Катерине, он, несмотря на свое удальство и некоторого рода бесчинство, говорит, что «это дело бросить надо». Всё против Катерины, даже и ее собственные понятия о добре и зле; все должно заставить ее заглушить свои порывы и завянуть в холодном и мрачном формализме семейной безгласности и покорности, без всяких живых стремлений, без воли, без любви, — или же научиться обманывать людей и совесть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда она сама говорит против себя: она может на время или покориться, по-видимому, или даже пойти на обман, как речка может скрыться под землею или удалиться от своего русла; но текучая вода не остановится и не пойдет назад, а все-таки дойдет до своего конца, до того места, где может она слиться с другими водами и вместе бежать к водам океана. Обстановка, в которой живет Катерина, требует, чтобы она лгала и обманывала: «Без этого нельзя, — говорит ей Варвара, — ты

---

[10] Примечания: 10
Вольнодумец *(фр.). — Ред.*

вспомни, где ты живешь; у нас на этом весь дом держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало». Катерина поддается своему положению, выходит к Борису ночью, прячет от свекрови свои чувства в течение десяти дней… Можно подумать: вот и еще женщина сбилась с пути, выучилась обманывать домашних и будет развратничать втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее за это: положение ее так тяжело! Но тогда она была бы одним из дюжинных лиц того типа, который так уже изношен в повестях, показывавших, как «среда заедает хороших людей». Катерина не такова: развязка ее любви при всей домашней обстановке видна заранее, еще тогда, как она только подходит к делу. Она не занимается психологическим анализом и потому не может высказывать тонких наблюдений над собою; что она о себе говорит, так уж это, значит, сильно дает ей знать себя. А она при первом предложении Варвары о свидании ее с Борисом вскрикивает: «Нет, нет, не надо! что ты, сохрани Господи: если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете!» Это в ней не разумная предосторожность говорит, это — страсть; и уж

видно, что как она себя ни сдерживала, а страсть выше ее, выше всех ее предрассудков и страхов, выше всех внушений, слышанных ею с детства. В этой страсти заключается для нее вся жизнь; вся сила ее натуры, все ее живые стремления сливаются здесь. К Борису влечет ее не одно то, что он ей нравится, что он и с виду, и по речам не похож на остальных, окружающих ее; к нему влечет ее и потребность любви, не нашедшая себе отзыва в муже, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ее однообразной жизни, и желание воли, простора, горячей, беззапретной свободы. Она все мечтает, как бы ей «полететь невидимо куда бы захотела»; а то такая мысль приходит: «Кабы моя воля, каталась бы я теперь на Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись…» — «Только не с мужем», — подсказывает ей Варя, и Катерина не может скрыть своего чувства и сразу ей открывается вопросом: «А ты почем знаешь?» Видно, что замечание Варвары для нее самой объяснило многое: рассказывая так наивно свои мечты, она еще не понимала хорошенько их значения. Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ее мыслям ту определенность, которую она сама боялась им дать. До сих пор она еще могла сомневаться,

точно ли в этом новом чувстве то блаженство, которого она так томительно ищет. Но, раз произнесши слово тайны, она уже и в мыслях своих от нее не отступится. Страх, сомнения, мысль о грехе и о людском суде — все это приходит ей в голову, но уже не имеет над нею силы; это уж так, формальности, для очистки совести. В монологе с ключом (последнем во втором акте) мы видим женщину, в душе которой опасный шаг уже сделан, но которая хочет только как-нибудь «заговорить» себя. Она делает попытку стать несколько в сторону от себя и судить поступок, на который она решилась, как дело постороннее; но мысли ее все направлены к оправданию этого поступка. «Вот, — говорит, — долго ли погибнуть-то… В неволе-то кому весело… Вот хоть я теперь — живу, маюсь, просвету себе не вижу… свекровь сокрушила меня…» и т. д. — всё оправдательные статьи. А потом еще облегчительные соображения: «Видно, уж судьба так хочет… Да какой же и грех в этом, если я на него взгляну раз… Да хоть и поговорю-то, так все не беда. А может, такого случая-то еще во всю жизнь не выйдет…» Этот монолог возбудил в некоторых критиках охоту иронизировать над Катериною как над бесстыжею ипокрит — кою, но мы не зна-

ем большего бесстыдства, как уверять, будто бы мы или кто-нибудь из наших идеальных друзей — не причастны таким сделкам с совестью… В этих сделках не личности виноваты, а те понятия, которые им вбиты в голову с малолетства и которые так часто противны бывают естественному ходу живых стремлений души. Пока эти понятия не выгнаны из общества, пока полная гармония идей и потребностей природы не восстановлена в человеческом существе, до тех пор подобные сделки неизбежны. Хорошо еще и то, если, делая их, приходят к тому, что представляется натурою и здравым смыслом, и не падают под гнетом условных наставлений искусственной морали. Именно на это и стало силы у Катерины, и чем сильнее говорит в ней натура, тем спокойнее смотрит она в лицо детским бредням, которых бояться приучили ее окружающие. Поэтому нам кажется даже, что артистка, исполняющая роль Катерины на петербургской сцене, делает маленькую ошибку, придавая монологу, о котором мы говорим, слишком много жара и трагичности. Она, очевидно, хочет выразить борьбу, совершающуюся в душе Катерины, и с этой точки зрения она передает трудный монолог превосходно. Но нам кажется, что сообразнее с характером и

положением Катерины в этом случае — придавать ее словам больше спокойствия и легкости. Борьба, собственно, уже кончена, остается лишь небольшое раздумье, старая ветошь покрывает еще Катерину, и она мало-помалу сбрасывает ее с себя… Окончание монолога выдает ее сердце: «Будь что будет, а я Бориса увижу», — заключает она и в забытьи предчувствия восклицает: «Ах, кабы ночь поскорей!»

Такая любовь, такое чувство не уживется в стенах кабановского дома с притворством и обманом. Катерина хоть и решилась на тайное свидание, но в первый же раз, в восторге любви, говорит Борису, уверяющему, что никто ничего не узнает: «Э, что меня жалеть, никто не виноват — сама на то пошла. Не жалей, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю… Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?»

И точно, она ничего не боится, кроме лишения возможности видеть ее избранного, говорить с ним, наслаждаться с ним этими летними ночами, этими новыми для нее чувствами. Приехал муж, и жизнь ей стала не в жизнь. Надо было таиться, хитрить; она этого не хотела и не умела; надо было опять воротиться к своей черствой, тоскливой

жизни, — это ей показалось горче прежнего. Да еще надо было бояться каждую минуту за себя, за каждое свое слово, особенно перед свекровью; надо было бояться еще и страшной кары для души… Такое положение невыносимо было для Катерины: дни и ночи она все думала, страдала, экзальтировала свое воображение, и без того горячее, и конец был тот, что она не могла вытерпеть, — при всем народе, столпившемся в галерее старинной церкви, покаялась во всем мужу. Первое движение его было страх, что скажет мать. «Не надо, *не говори, матушка* здесь», — шепчет он, растерявшись. Но мать уже прислушалась и требует полной исповеди, в заключение которой выводит свою мораль: «Что, сынок, *куда воля-то ведет?»*

Трудно, конечно, более насмеяться над здравым смыслом, чем как делает это Кабаниха в своем восклицании.

Но в «темном царстве» здравый смысл ничего не значит: «с преступницею» приняли меры, совершенно ему противные, но обычные в том быту: муж, по повелению матери, побил маленько свою жену, свекровь заперла ее на замок и начала есть поедом… Кончены воля и покой бедной женщины: прежде хоть ее попрекнуть не

могли, хоть могла она чувствовать свою полную правоту перед этими людьми. А теперь ведь, так или иначе, она перед ними виновата, она нарушила свои обязанности к ним, принесла горе и позор в семью; теперь самое жестокое обращение с ней имеет уже поводы и оправдание. Что остается ей? Пожалеть о неудачной попытке вырваться на волю и оставить свои мечты о любви и счастье, как уже покинула она радужные грезы о чудных садах с райским пением. Остается ей покориться, отречься от самостоятельной жизни и сделаться беспрекословной угодницей свекрови, кроткою рабою своего мужа и никогда уже не дерзать на какие-нибудь попытки опять обнаружить свои требования… Но нет, не таков характер Катерины; не затем отразился в ней новый тип, создаваемый русской жизнью, чтобы сказаться только бесплодной попыткой и погибнуть после первой неудачи. Нет, она уже не возвратится к прежней жизни: если ей нельзя наслаждаться своим чувством, своей волей вполне законно и свято, при свете белого дня, перед всем народом, если у нее вырывают то, что нашла она и что ей так дорого, она ничего тогда не хочет в жизни, она и жизни не хочет. Пятый акт «Грозы» составляет апофеозу этого характера,

столь простого, глубокого и так близкого к положению и к сердцу каждого порядочного человека в нашем обществе. Никаких ходуль не подставил художник своей героине, он не дал ей даже героизма, а оставил ее той же простой, наивной женщиной, какой она являлась перед нами и до «греха» своего. В пятом акте у ней всего два монолога да разговор с Борисом; но они полны в своей сжатости такой силы, таких многозначительных откровений, что, принявшись за них, мы боимся закомментироваться еще на целую статью. Постараемся ограничиться несколькими словами.

В монологах Катерины видно, что у ней и теперь нет ничего формулированного; она до конца водится своей натурой, а не заданными решениями, потому что для решений ей бы надо было иметь логические, твердые основания, а между тем все начала, которые ей даны для теоретических рассуждений, решительно противны ее натуральным влечениям. Оттого она не только не принимает геройских поз и не произносит изречений, доказывающих твердость характера, а даже напротив — является в виде слабой женщины, не умеющей противиться своим влечениям, и старается *оправдыват*ь тот героизм, какой проявляется в ее поступках. Она решилась

умереть, но ее страшит мысль, что это грех, и она как бы старается доказать нам и себе, что ее можно и простить, так как ей уж очень тяжело. Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знает, что это преступление, и потому говорит в оправдание свое: «Что ж, уж все равно, уж душу свою я ведь погубила!» Ни на кого она не жалуется, никого не винит, и даже на мысль ей не приходит ничего подобного; напротив, она перед всеми виновата, даже Бориса она спрашивает, не сердится ли он на нее, не проклинает ли… Нет в ней ни злобы, ни презрения, ничего, чем так красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающие свет. Но не может она жить больше, не может, да и только; от полноты сердца говорит она: «Уж измучилась я… Долго ль мне еще мучиться? Для чего мне теперь жить, — ну, для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет Божий не мил! — а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут *(показывая на сердце)* больно». При мысли о могиле ей делается легче — спокойствие как будто проливается ей в душу. «Так тихо, так хорошо… А об жизни и думать не хочется… Опять жить?.. Нет, нет, не надо… нехорошо. И люди мне противны, и дом

мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду… Придешь к ним — они ходят, говорят, — а на что мне это?..» И мысль о горечи жизни, какую надо будет терпеть, до того терзает Катерину, что повергает ее в какое-то полугорячечное состояние. В последний момент особенно живо мелькают в ее воображении все домашние ужасы. Она вскрикивает: «А поймают меня да воротят домой насильно!.. Скорей, скорей…» И дело кончено: она не будет более жертвою бездушной свекрови, не будет более томиться взаперти с бесхарактерным и противным ей мужем. Она освобождена!..

Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том и сила ее характера, оттого-то «Гроза» и производит на нас впечатление освежающее, как мы сказали выше. Без сомнения, лучше бы было, если б возможно было Катерине избавиться другим образом от своих мучителей или ежели бы эти мучители могли измениться и примирить ее с собою и с жизнью. Но ни то, ни другое — не в порядке вещей. Кабанова не может оставить того, с чем она воспитана и прожила целый век; бесхарактерный сын ее не может вдруг,

ни с того ни с сего приобрести твердость и самостоятельность до такой степени, чтобы отречься от всех нелепостей, внушаемых ему старухой; все окружающее не может перевернуться вдруг так, чтобы сделать сладкою жизнь молодой женщины. Самое большее, что они могут сделать, — это простить ее, облегчить несколько тягость ее домашнего заключения, сказать ей несколько милостивых слов, может быть, подарить право иметь голос в хозяйстве, когда спросят ее мнения. Может быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой, бессильной, и в другое время, когда самодурство Кабановых покоилось на общем безгласии и не имело столько поводов выказывать свое наглое презрение к здравому смыслу и всякому праву. Но мы видим, что Катерина не убила в себе человеческую природу и что она находится только внешним образом, по положению своему, под гнетом самодурной жизни; внутренно же, сердцем и смыслом, — сознает всю ее нелепость, которая теперь еще увеличивается тем, что Дикие и Кабановы, встречая себе противоречие и не будучи в силах победить его, но желая поставить на своем, прямо объявляют себя против логики, то есть ставят себя дураками перед большинством людей. При таком положении

дел само собою разумеется, что Катерина не может удовлетвориться великодушным прощением от самодуров и возвращением ей прежних прав в семье: она знает, что значит милость Кабановой и каковы могут быть права невестки при такой свекрови… Нет, ей бы нужно было не то, чтоб ей что-нибудь уступили и облегчили, а то, чтобы свекровь, муж, все окружающие — сделались способны удовлетворить тем живым стремлениям, которыми она проникнута, признать законность ее природных требований, отречься от всяких принудительных прав на нее и переродиться до того, чтобы сделаться достойными ее любви и доверия. Нечего и говорить о том, в какой мере возможно для них такое перерождение…

Менее невозможности представляло бы другое решение — бежать с Борисом от произвола и насилия домашних. Несмотря на строгость формального закона, несмотря на ожесточенность грубого самодурства, подобные шаги не представляют невозможности сами по себе, особенно для таких характеров, как Катерина. И она не пренебрегает этим выходом, потому что она не отвлеченная героиня, которой хочется смерти по принципу. Убежавши из дому, чтобы свидеться с Борисом, и уже задумывая о смерти, она, однако,

вовсе не прочь от побега; узнавши, что Борис едет далеко, в Сибирь, она очень просто говорит ему: «Возьми меня с собой отсюда». Но тут-то и всплывает перед нами на минуту камень, который держит людей в глубине омута, названного нами «темным царством». Камень этот — материальная зависимость. Борис ничего не имеет и вполне зависит от дяди — Дикого; Дикóй с Кабановыми уладили, чтоб его отправить в Кяхту, и, конечно, не дадут ему взять с собой Катерину. Оттого он и отвечает ей: «Нельзя, Катя; не по своей воле я еду, дядя посылает, уж и лошади готовы» и проч. Борис — не герой, он далеко не стоит Катерины, она и полюбила-то его больше на безлюдье. Он хватил «образования» и никак не справится ни с старым бытом, ни с сердцем своим, ни с здравым смыслом — ходит точно потерянный. Живет он у дяди потому, что тот ему и сестре его должен часть бабушкина наследства отдать, «если они будут к нему почтительны». Борис хорошо понимает, что Дикóй никогда не признает его почтительным и, следовательно, ничего не даст ему; да этого мало, Борис так рассуждает: «Нет, он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь

малость, да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало». А все-таки он живет у дяди и сносит его ругательства; зачем? — неизвестно. При первом свидании с Катериной, когда она говорит о том, что ее ждет за это, Борис прерывает ее словами: «Ну, что об этом думать, благо нам теперь хорошо». А при последнем свидании плачется: «Кто ж это знал, что нам за нашу любовь так мучиться с тобой! Лучше бы бежать мне тогда!» Словом, это один из тех весьма нередких людей, которые не умеют делать того, что понимают, и не понимают того, что делают. Тип их много раз изображался в нашей беллетристике — то с преувеличенным состраданием к ним, то с излишним ожесточением против них. Островский дает их нам так, как они есть, и с особенным, свойственным ему уменьем рисует двумя-тремя чертами их полную незначительность, хотя, впрочем, не лишенную известной степени душевного благородства. О Борисе нечего распространяться; он, собственно, должен быть отнесен тоже к обстановке, в которую попадает героиня пьесы. Он представляет одно из обстоятельств, делающих необходимым фатальный конец ее. Будь это другой человек и в другом положении — тогда бы и в воду бросаться не надо.

Но в том-то и дело, что среда, подчиненная силе Диких и Кабановых, производит обыкновенно Тихонов и Борисов, неспособных воспрянуть и принять свою человеческую природу, даже при столкновении с такими характерами, как Катерина. Мы сказали выше несколько слов о Тихоне; Борис — такой же, в сущности, только «образованный». Образование отняло у него силу делать пакости, — правда; но оно не дало ему силы противиться пакостям, которые делают другие: оно не развило даже в нем способности так вести себя, чтобы оставаться чуждым всему гадкому, что кишит вкруг него. Нет, мало того, что не противодействует, — он подчиняется чужим гадостям, он волей-неволей участвует в них и должен принимать все их последствия. Но он понимает свое положение, толкует о нем и нередко даже обманывает, на первый раз, истинно живые и крепкие натуры, которые, судя по себе, думают, что если человек так думает, так понимает, то так должен и делать. Смотря с своей точки, этакие натуры не затруднятся сказать «образованным» страдальцам, удаляющимся от горестных обстоятельств жизни: «Возьми и меня с собой, я пойду за тобою всюду». Но тут-то и окажется бессилие страдальцев; окажется, что они и не предвидели,

и что они проклинают себя, и что они рады бы, да нельзя, и что воли у них нет, а главное — что у них нет ничего за душою, и что для продолжения своего существования они должны служить тому же самому Дикому, от которого вместе с нами хотели бы избавиться…

Ни хвалить, ни бранить этих людей нечего; но нужно обратить внимание на ту практическую почву, на которую переходит вопрос; надо признать, что человеку, ожидающему наследства от дяди, трудно сбросить с себя зависимость от этого дяди, и затем — надо отказаться от излишних надежд на племянников, ожидающих наследства, хотя бы они и были «образованны» по самое нельзя. Если тут разбирать виноватого, то виноваты окажутся не столько племянники, сколько дяди или, лучше сказать, их наследство.

Впрочем, о значении материальной зависимости как главной основы всей силы самодуров в «темном царстве» мы пространно говорили в наших прежних статьях. Поэтому здесь только напоминаем об этом, чтобы указать решительную необходимость того фатального конца, какой имеет Катерина в «Грозе», и, следовательно, решительную необходимость характера, который бы при данном положении готов был к такому

концу.

Мы уже сказали, что конец этот кажется нам отрадным; легко понять почему: в нем дан страшный вызов самодурной силе, он говорит ей, что уже нельзя идти дальше, нельзя долее жить с ее насильственными, мертвящими началами. В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой, и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябанием, которое ей дают в обмен за ее живую душу. Ее погибель — это осуществленная песнь плена вавилонского: играйте и пойте нам песни сионские, говорили иудеям их победители; но печальный пророк отозвался, что не в рабстве можно петь священные песни родины, что лучше пусть язык их прилипнет к гортани и руки отсохнут, нежели примутся они за гусли и запоют сионские песни на потеху владык своих. Несмотря на все свое отчаяние, эта песнь производит высоко отрадное, мужественное впечатление: чувствуешь, что не погиб бы народ еврейский, если б весь и всегда одушевлен был такими чувствами…

Но и без всяких возвышенных соображений,

просто по человечеству, нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе. На этот счет мы имеем в самой драме страшное свидетельство, говорящее нам, что жить в «темном царстве» хуже смерти. Тихон, бросаясь на труп жены, вытащенной из воды, кричит в самозабвении: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!» Этим восклицанием заканчивается пьеса, и нам кажется, что ничего нельзя было придумать сильнее и правдивее такого окончания. Слова Тихона дают ключ к уразумению пьесы для тех, кто бы даже и не понял ее сущности ранее; они заставляют зрителя подумать уже не о любовной интриге, а обо всей этой жизни, где живые завидуют умершим, да еще каким — самоубийцам! Собственно говоря, восклицание Тихона глупо: Волга близко, кто же мешает и ему броситься, если жить тошно? Но в том-то и горе его, то-то ему и тяжко, что он ничего, решительно ничего сделать не может, даже и того, в чем признает свое благо и спасение. Это нравственное растление, это уничтожение человека действуют на нас тяжеле всякого, самого трагического, происшествия: там видишь гибель одновременную, конец страданий, часто избавление от необходи-

мости служить жалким орудием каких-нибудь гнусностей; а здесь — постоянную гнетущую боль, расслабление, полутруп, в течение многих лет согнивающий заживо... И думать, что этот живой труп — не один, не исключение, а целая масса людей, подверженных тлетворному влиянию Диких и Кабановых! И не чаять для них избавления — это, согласитесь, ужасно! Зато какою же отрадною, свежею жизнью веет на нас здоровая личность, находящая в себе решимость покончить с этой гнилою жизнью во что бы то ни стало!..

На этом мы и кончаем. Мы не говорили о многом — о сцене ночного свидания, о личности Кулигина, не лишенной тоже значения в пьесе, о Варваре и Кудряше, о разговоре Дикого с Кабановой и проч, и проч. Это оттого, что наша цель была указать общий смысл пьесы, и, увлекаясь общим, мы не могли достаточно входить в разбор всех подробностей. Литературные судьи останутся опять недовольны: мера художественного достоинства пьесы недостаточно определена и выяснена, лучшие места не указаны, характеры второстепенные и главные не отделены строго, а всего пуще — искусство опять сделано орудием какой-то посторонней идеи!.. Всё это мы зна-

ем и имеем только один ответ: пусть читатели рассудят сами (предполагаем, что все читали или видели «Грозу»), *точно ли идея, указанная нами, — совсем посторонняя «Грозе»,* навязанная нами насильно, *или же она действительно вытекает из самой пьесы,* составляет ее сущность и определяет прямой ее смысл?.. Если мы ошиблись, пусть нам это докажут, дадут другой смысл пьесе, более к ней подходящий… Если же наши мысли сообразны с пьесою, то мы просим ответить еще на один вопрос: *точно ли русская живая натура выразилась в Катерине, точно ли русская обстановка — во всем ее окружающем, точно ли потребность возникающего движения русской жизни сказалась в смысле пьесы, как она понята нами?* Если «нет», если читатели не признают здесь ничего знакомого, родного их сердцу, близкого к их насущным потребностям, тогда, конечно, наш труд потерян. Но ежели «да», ежели наши читатели, сообразив наши заметки, найдут, что, точно, русская жизнь и русская сила вызваны художником в «Грозе» на решительное дело, и если они почувствуют законность и важность этого дела, тогда мы довольны, что бы ни говорили наши ученые и литературные судьи.

Гроза
Драма в пяти действиях

Действующие лица

Савел Прокофьич Дико́й, купец, значительное лицо в городе[11].

Борис Григорьич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова.

Тихон Иваныч Кабанов, ее сын.

Катерина, жена его.

Варвара, сестра Тихона.

Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.

Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикого.

Шапкин, мещанин.

Феклуша, странница.

Глаша, девка в доме Кабановой.

Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусумасшедшая.

---

[11] Примечания: 11
Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски.

Городские жители обоего пола.

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом.

Между третьим и четвертым действиями проходит десять дней.

Действие первое

общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид.

На сцене две скамейки и несколько кустов.

Явление первое

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин *(поет).* «Среди долины ровныя, на гладкой высоте…» *(Перестает петь.)* Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш. А что?

Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.

Кудряш. Нешто!

Кулигин. Восторг! Аты: «нешто!» Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита.

Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик!

Кулигин. Механик, самоучка-механик.

Кудряш. Все одно.

Молчание.

Кулигин *(показывая в сторону).* Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?

Кудряш. Это? Это Дико́й племянника ругает.

Кулигин. Нашел место!

Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.

Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.

Кудряш. Пронзительный мужик!

Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.

Кудряш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот, как с цепи сорвался!

Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!

Кудряш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили.

Шапкин. А что бы вы сделали?

Кудряш. Постращали бы хорошенько.

Шапкин. Как это?

Кудряш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.

Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.

Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно что ничего. Не отдаст он меня, он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.

Шапкин. Ой ли!

Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пущай же он меня боится.

Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?

Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он — слово, а я — десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.

Кулигин. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.

Кудряш. Ну, вот, коль ты умен, так ты его прежде учливости-то выучи, да потом и нас учи! Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.

Шапкин. А то что бы?

Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!

Проходят Дико́й и Борис.

Кулигин снимает шапку.

Шапкин *(Кудряшу).* Отойдем к сторонке: еще привяжется, пожалуй.

Отходят.

Явление второе

Те же, Дико́й и Борис.

Дико́й. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед! Пропади ты пропадом!

Борис. Праздник; что дома-то делать!

Дико́й. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты, как столб стоишь-то! Тебе

говорят аль нет?

Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!

Дико́й *(посмотрев на Бориса).* Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом. *(Уходя.)* Вот навязался! *(Плюет и уходит.)*

Явление третье

Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.

Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы никак. Охота вам жить у него да брань переносить.

Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.

Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли можно, сударь, так скажите нам.

Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?

Кулигин. Ну, как не знать!

Борис. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.

Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить!

Большую привычку нужно, сударь, иметь.

Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру; мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием.

Кулигин. С каким же, сударь?

Борис. Если мы будем к нему почтительны.

Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.

Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.

Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, нйшто кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?

Борис. Ну, да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен!»

Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.

Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была — и представить страшно.

Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понимают?

Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?

Борис. Да ни на каком: «Живи, говорит, у меня, делай, что прикажут, а жалованья, что положу». То есть через год разочтет, как ему будет угодно.

Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. «Ты, говорит, почем знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать! А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам». Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.

Кулигин. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться угождать как-нибудь.

Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не могут; а уж где ж мне!

Кудряш. Кто же ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается.

Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите! голубчики, не рассердите!»

Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.

Шапкин. Одно слово: воин!

Кудряш. Еще какой воин-то!

Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого он обругать не смеет; тут уж домашние держись!

Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на Волге, на перевозе, гусар обругал. Вот чудеса-то творил!

Борис. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам.

Кулигин. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?

Проходят несколько лиц в глубине сцены.

Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?

Кланяются и уходят.

Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привычки-то! Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.

Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.

Борис. Отчегоже?

Кулигин. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый

день ко мне с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благостыню, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить…

Борис. А вы умеете стихами?

Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина… Мудрец был Ломоносов, испытатель природы… А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть, что послушать.

Входят Феклуша и другая женщина.

Феклуша. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростию и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых.

Уходят.

Борис. Кабановых?

Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а до-

машних заела совсем.

Молчание.

Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!

Борис. Что ж бы вы сделали?

Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего.

Борис. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?

Кулигин. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! *(Уходит.)*

Явление четвертое

Борис *(один).* Жаль его разочаровывать-то! Какой хороший человек! Мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. *(Молчание.)* Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Ну, к чему пристало! мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого! В женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся. А все-таки нейдет она у меня

из головы, хоть ты что хочешь… Вот она! Идет с мужем, ну, и свекровь с ними! Ну, не дурак ли я! Погляди из угла, да и ступай домой. *(Уходит.)*

С противоположной стороны входят:
Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Явление пятое

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают.

Варвара *(про себя).* Не уважишь тебя, как же!

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

Кабанов. Я, маменька…

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, как ты думаешь?

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

Кабанов *(вздыхая, в сторону).* Ах ты, Господи! *(Матери.)* Да смеем ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну, и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. *(Вздыхает.)* Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну, и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь,

про меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут.

Кабанов. Да отсохни язык…

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор, как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.

Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите?

Кабанова. Да во всем, мой друг! Мать, чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.

Кабанов. Да нет, маменька! что вы, помилуйте!

Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.

Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.

Варвара *(про себя).* Нашла место наставления читать.

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все

одна, ничего я из себя не доказываю.

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.

Катерина. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?

Кабанова. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.

Катерина. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!

Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте, что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомянете.

Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и нощно Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху.

Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе, у тебя жена молодая.

Кабанов. Одно другому не мешает-с: жена сама по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею.

Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.

Кабанов. Да для чего же мне менять-с? Я обеих люблю.

Кабанова. Ну да, да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.

Кабанов. Думайте, как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.

Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты нюни-то распустил? Ну, какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?

Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.

Кабанова. Как, зачем бояться! Как, зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре, при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты,

какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.

Кабанов. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!

Кабанова. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее и не пригрозить?

Кабанов. Да я, маменька…

Кабанова *(горячо).* Хоть любовника заводи! А! И это, может быть, по-твоему, ничего? А! Ну, говори!

Кабанов. Да, ей-богу, маменька…

Кабанова *(совершенно хладнокровно).* Дурак! *(Вздыхает.)* Что с дураком и говорить! только грех один!

Молчание.

Я домой иду.

Кабанов. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.

Кабанова. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.

Кабанов. Нет, маменька! Сохрани меня Господи!

Кабанова. То-то же! *(Уходит.)*

Явление шестое

Те же, без Кабановой.

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая!

Катерина. Чем же я-то виновата?

Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю.

Варвара. Где тебе знать!

Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! А теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя.

Варвара. Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. *(Отворачивается.)*

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?

Варвара. Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то.

Кабанов. Ну, а что?

Варвара. Известно, что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли?

Кабанов. Угадала, брат.

Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то ма-

менька опять браниться станет.

Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь!

Кабанов. Уж как не знать!

Варвара. Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать.

Кабанов. Я мигом. Подождите! *(Уходит.)*

Явление седьмое

Катерина и Варвара.

Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?

Варвара *(глядя в сторону).* Разумеется, жалко.

Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? *(Крепко целует.)*

Варвара. За что ж мне тебя не любить-то!

Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.

Молчание.

Знаешь, мне что в голову пришло?

Варвара. Что?

Катерина. Отчего люди не летают!

Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.

Катерина. Я говорю: отчего люди не летают так,

как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? *(Хочет бежать.)*

Варвара. Что ты выдумываешь-то?

Катерина *(вздыхая).* Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

Варвара. Ты думаешь, я не вижу?

Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключик, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы — у нас полон дом был странниц да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение.

Таково хорошо было!

Варвара. Да ведь и у нас то же самое.

Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану — у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не надобно было, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И

теперь иногда снится, да редко, да и не то.

Варвара. А что же?

Катерина *(помолчав). Я умру* скоро.

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или… уж и не знаю.

Варвара. Что же с тобой такое?

Катерина *(берет ее за руку).* А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. *(Хватается за голову рукой.)*

Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты?

Катерина. Здорова… Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану — мыслей никак не соберу, молиться — не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя совестно сделается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то

так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо, и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду…

Варвара. Ну?

Катерина. Да что же это я говорю тебе, ты девушка.

Варвара *(оглядываясь).* Говори! Я хуже тебя.

Катерина. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.

Варвара. Говори, нужды нет!

Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись…

Варвара. Только не с мужем.

Катерина. А ты почем знаешь?

Варвара. Еще бы не знать!..

Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю?

Варвара. Что мне тебя судить! У меня свои гре-

хи есть.

Катерина. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!

Варвара. Что ты! Бог с тобой! Вот, погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и видеться можно будет.

Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани Господи!

Варвара. Чего ты так испугалась?

Катерина. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете.

Варвара. А вот погоди, там увидим.

Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу!

Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!

Входит барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.

Явление восьмое

Те же и барыня.

Барыня. Что, красавицы? Что тут делаете?

Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. *(Показывает на Волгу.)* Вот, вот, в самый омут!

Варвара улыбается.

Что смеетесь! Не радуйтесь! *(Стучит палкой.)* Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неутолимой! *(Уходя.)* Вон, вон куда красота-то ведет! *(Уходит.)*

Явление девятое

Катерина и Варвара.

Катерина. Ах, как она меня испугала! я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.

Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга!

Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала?

Варвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся, грозит на них палкой

да кричит *(передразнивая):* «Все гореть в огне будете!»

Катерина *(зажмуриваясь).* Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.

Варвара. Есть чего бояться! Дура старая…

Катерина. Боюсь, до смерти боюсь! Все она мне в глазах мерещится.

Молчание.

Варвара *(оглядываясь).* Что это братец нейдет, вон, никак, гроза заходит.

Катерина *(с ужасом).* Гроза! Побежим домой! Поскорее!

Варвара. Что ты, с ума, что ли, сошла! Как же ты без братца-то домой покажешься?

Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!

Варвара. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то.

Катерина. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного; а право бы, лучше идти. Пойдем лучше!

Варвара. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.

Катерина. Да все-таки лучше, все покойнее; дома-то я к образам да Богу молиться!

Варвара. Яи не знала, что ты так грозы боишься.

Я вот не боюсь.

Катерина. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед Богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, вот что страшно. Что у меня на уме-то! Какой грех-то! страшно вымолвить!

Гром.

Ах!

Кабанов входит.

Варвара. Вот братец идет. *(Кабанову.)* Беги скорей!

Гром.

Катерина. Ах! Скорей, скорей!

Действие второе

Комната в доме Кабановых.

Явление первое

Глаша (собирает платье в узлы) иФеклуша (входит).

Феклуша. Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, милая?

Глаша. Хозяина в дорогу собираю.

Феклуша. Аль едет куда свет наш?

Глаша. Едет.

Феклуша. Надолго, милая, едет?

Глаша. Нет, не надолго.

Феклуша. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяй-ка-то станет выть аль нет?

Глаша. Уж не знаю, как тебе сказать.

Феклуша. Да она у вас воет когда?

Глаша. Не слыхать что-то.

Феклуша. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то!

Молчание.

А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула б чего.

Глаша. Кто вас разберет, все вы друг на друга клеплете, что вам ладно-то не живется? Уж у

нас ли, кажется, вам, странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь; греха-то вы не боитесь.

Феклуша. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка: вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая девушка!

Глаша. Отчего ж к вам так много?

Феклуша. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть точно; я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну, так что ж! По немощи моей Господь посылает.

Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила?

Феклуша. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать — много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного

дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.

Глаша. Отчего ж так, с песьими?

Феклуша. За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу: не будет ли чего на бедность. Прощай покудова!

Глаша. Прощай!

Феклуша уходит.

Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть; нет-нет да и услышишь, что на белом свету делается; а то бы так дураками и померли.

Входят Катерина и Варвара.

Явление второе

Катерина и Варвара.

Варвара *(Глаше).* Тащи узлы-то в кибитку, лоша-

ди приехали. *(Катерине.)* Мол оду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось; вот у тебя сердце-то и не уходилось еще.

Глаша уходит.

Катерина. И никогда не уходится.

Варвара. Отчего ж?

Катерина. Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!

Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя?

Катерина. Как не поглядывать!

Варвара. Что же ты? Неужто не любила никого?

Катерина. Нет, смеялась только.

Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.

Катерина. Нет, как не любить! Мне жалко его очень.

Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь одного человека.

Катерина *(с испугом).* Почем же ты заметила?

Варвара. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли! Вот тебе первая примета: как ты увидишь его, вся в лице переменишься.

Катерина потупляет глаза.

Да мало ли…

Катерина *(потупившись).* Ну, кого же?

Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то?

Катерина. Нет, назови! По имени назови!

Варвара. Бориса Григорьича.

Катерина. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради Бога…

Варвара. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не проговорись как-нибудь.

Катерина. Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу.

Варвара. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты живешь! У нас весь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так его видела, говорила с ним.

Катерина *(после непродолжительного молчания, потупившись).* Ну так что ж?

Варвара. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде.

Катерина *(потупившись еще более).* Где же видеться! Да и зачем…

Варвара. Скучный такой…

Катерина. Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто ж тебя заставляет?

Катерина. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать; да что делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумаю, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я было из дому ушла.

Варвара. Ты какая-то мудреная, Бог с тобой! А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

Катерина. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.

Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?

Катерина. Что я сделаю?

Варвара. Да, что сделаешь?

Катерина *(решительно).* Что мне только захочется, то и сделаю.

Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.

Катерина. А что мне! Я уйду, да и была такова.

Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай Бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!

Молчание.

Варвара. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке.

Катерина. Ну зачем, Варя?

Варвара. Да нешто не все равно?

Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать.

Варвара. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.

Катерина. Все как-то робко! Да я, пожалуй.

Варвара. Яб тебя и не звала, да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно.

Катерина *(смотря на нее).* Зачем же тебе нужно?

Варвара *(смеется).* Будем там ворожить с тобой.

Катерина. Шутишь, должно быть?

Варвара. Известно, шучу; а то неужто в самом деле?

Молчание.

Катерина. Где ж это Тихон-то?

Варвара. На что он тебе?

Катерина. Нет, я так. Ведь скоро едет.

Варвара. С маменькой сидят, запершись. Точит она его теперь, как ржа железо.

Катерина. За что же?

Варвара. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в дороге будет, заглазное дело! Сама посуди! У нее сердце все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и надает приказов, один другого грозней, да потом к образу поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как приказано.

Катерина. И на воле-то он, словно связанный.

Варвара. Да, как же, связанный! Он как выедет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей.

Входят Кабанова и Кабанов.

Явление третье

Те же, Кабанова и Кабанов.

Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри ж, помни! На носу себе заруби!

Кабанов. Помню, маменька.

Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с Богом.

Кабанов. Да-с, маменька, пора.

Кабанова. Ну!

Кабанов. Чего изволите-с?

Кабанова. Что ж ты стоишь, разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя.

Катерина потупила глаза в землю.

Кабанов. Да она, чай, сама знает.

Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтоб и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила.

Кабанов *(становясь против Катерины).* Слушайся маменьки, Катя!

Кабанова. Скажи, чтоб не грубила свекрови.

Кабанов. Не груби!

Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать! Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать! Кабанова. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня! Кабанов. Работай что-нибудь без меня!

Кабанова. Чтоб в окны глаз не пялила!

Кабанов. Да, маменька, когда ж она…

Кабанова. Ну, ну!

Кабанов. В окны не гляди!

Кабанова. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя!

Кабанов. Да что ж это, маменька, ей-богу!

Кабанова, *(строго).* Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит. *(С улыбкой.)* Оно все лучше, как приказано-то.

Кабанов *(сконфузившись).* Не заглядывайся на парней!

Катерина строго взглядывает на него.

Кабанова. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!

Уходят.

Явление четвертое

Кабанов и Катерина (стоит, как будто в оцепенении).

Кабанов. Катя!

Молчание.

Катя, ты на меня не сердишься?

Катерина *(после непродолжительного молчания, покачав головой).* Нет!

Кабанов. Да что ты такая? Ну, прости меня!

Катерина *(все в том же состоянии, слегка покачав головой).* Бог с тобой! *(Закрыв лицо руками.)* Обидела она меня!

Кабанов. Все к сердцу-то принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну, и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай. Ну, прощай, Катя!

Катерина *(кидаясь на шею мужу).* Тиша, не уезжай! Ради Бога, не уезжай! Голубчик, прошу я тебя!

Кабанов. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду!

Катерина. Ну, бери меня с собой, бери!

Кабанов *(освобождаясь из ее объятий).* Да нель-

зя!

Катерина. Отчего же, Тиша, нельзя?

Кабанов. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной.

Катерина. Да неужели же ты разлюбил меня?

Кабанов. Да не разлюбил; а с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина, всю-то жизнь вот этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?

Катерина. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?

Кабанов. Слова как слова! Какие же мне еще слова говорить! Кто тебя знает, чего ты боишься! Ведь ты не одна, ты с маменькой остаешься.

Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца! Ах, беда моя, беда! *(Плачет.)* Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!

Кабанов. Да полно ты!

Катерина *(подходит к мужу и прижимается к нему).* Тиша, голубчик, кабы ты остался, либо

взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого! *(Ласкает его.)*

Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь.

Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!

Кабанов. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.

Катерина. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную…

Кабанов. Какую клятву?

Катерина. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.

Кабанов. Да на что ж это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня!

Кабанов. Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову прийти.

Катерина *(падая на колена).* Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я…

Кабанов *(поднимая ее).* Что ты! Что ты! Какой грех-то! Я и слушать не хочу!

Голос Кабановой: «Пора, Тихон!»

Входят Кабанова, Варвара и Глаша.

Явление пятое

Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.

Кабанова. Ну, Тихон, пора! Поезжай с Богом! *(Садится.)* Садитесь все!

Все садятся. Молчание.

Ну, прощай! *(Встает, и все встают.)*
Кабанов *(подходя к матери).* Прощайте, маменька!
Кабанова *(жестом показывает в землю).* В ноги, в ноги!

Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.

Прощайся с женой!
Кабанов. Прощай, Катя!

Катерина кидается ему на шею.

Кабанова. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж — глава! Аль порядку не знаешь? В ноги

кланяйся!

Катерина кланяется в ноги.

Кабанов. Прощай, сестрица! *(Целуется с Варварой.)* Прощай, Глаша! *(Целуется с Глашей.)* Прощайте, маменька! *(Кланяется.)*

Кабанова. Прощай! Дальние проводы — лишние слезы.

Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.

Явление шестое

Кабанова *(одна).* Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят, а выдут на волю-то, так и путаются на покор да смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да и только! Так-то вот старина-то

и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Входят Катерина и Варвара.

Явление седьмое

Кабанова, Катерина и Варвара.

Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце; а тебе, видно, ничего.

Катерина. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!

Кабанова. Хитрость-то не великая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на словах только. Ну, я Богу молиться пойду; не мешайте мне.

Варвара. Я со двора пойду.

Кабанова *(ласково).* А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придет. Еще насидишься!

Уходят Кабанова и Варвара.

Явление восьмое

Катерина *(одна, задумчиво).* Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать — ангелы ведь это. *(Молчание.)* Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка. *(Задумывается.)* А вот что сделаю: я начну работу какую-нибудь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня Богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой, и не увидим, как время пройдет; а тут Тиша приедет.

Входит Варвара.

Явление девятое

Катерина и Варвара.

Варвара *(покрывает голову платком перед зер-*

калом). Я теперь гулять пойду; а ужо нам Глаша постелет постели в саду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не заметила. На вот, может быть, понадобится. *(Подает ключ.)* Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке.

Катерина *(с испугом, отталкивая ключ).* На что! На что! Не надо, не надо!

Варвара. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.

Катерина. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты? Что ты! Что ты!

Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю; да и некогда мне. Мне гулять пора. *(Уходит.)*

Явление десятое

Катерина *(одна, держа ключ в руках).* Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. *(Подумав.)* Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада:

так, очертя голову, и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горчее покажется. *(Молчание).* А горька неволя, ох как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь? — живу — маюсь, просвету себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. *(Задумывается.)* Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня… от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны. *(Задумчиво смотрит на ключ.)* Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. *(Прислушивается.)* Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. *(Прячет ключ в карман.)* Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала… Ну, уж знать там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да, может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выдет. Тогда и плачься на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за

что на свете! Он мой теперь… Будь, что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..

Действие третье
Сцена 1

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

Явление первое

Кабанова и Феклуша сидят на скамейке.

Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и снует, один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это

суета! Вот хоть бы в Москве; бегает народ взад да вперед неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегает. Ему представляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный: людей не узнает, ему мерещится, что его манит некто; а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто и за вороты-то выдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то инда грохот идет; стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела. Конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так *(растопыривает пальцы)* делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожа-

луй, хоть машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.

Феклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани Господи от такой напасти! А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыплет, а народ днем в суете-то в своей невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие худые, тела-то никак не нагуляют, да как будто они что потеряли, либо чего ищут: в лице печаль, даже жалко.

Кабанова. Все может быть, моя милая! В наши времена чему дивиться!

Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить.

Кабанова. Как так, милая, в умаление?

Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суе-те-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето

и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то, и часы все те же как будто остались; а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.

Кабанова. И хуже этого, милая, будет.

Феклуша. Нам-то бы только не дожить до этого.

Кабанова. Может, и доживем.

Входит Дико́й.

Явление второе

Те же и Дико́й.

Кабанова. Что это ты, кум, бродишь так поздно?

Дико́й. А кто ж мне запретит?

Кабанова. Кто запретит! кому нужно!

Дико́й. Ну и, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ль, у кого? Ты еще что тут! Какого еще тут черта водяного!..

Кабанова. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорога! Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. *(Встает.)*

Дико́й. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще

успеешь дома-то быть: дом-от твой не за горами. Вот он!

Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.

Дико́й. Никакого дела нет, а я хмелён, вот что!

Кабанова. Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?

Дико́й. Ни хвалить, ни бранить. А значит, я хмелён; ну, и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя.

Кабанова. Так ступай, спи!

Дико́й. Куда же это я пойду?

Кабанова. Домой. А то куда же!

Дико́й. А коли я не хочу домой-то?

Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить?

Дико́й. А потому что у меня там война идет.

Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть.

Дико́й. Ну так что ж, что я воин? Ну, что ж из этого?

Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что.

Дико́й. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану!

Кабанова. Уж немало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут.

Дико́й. Вот поди ж ты!

Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня?

Дико́й. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговаривать.

Кабанова. Поди, Феклуша, вели приготовить закусить что-нибудь.

Феклуша уходит.

Пойдем в покои!

Дико́й. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.

Кабанова. Чем же тебя рассердили-то?

Дико́й. Еще с утра с самого.

Кабанова. Должно быть, денег просили.

Дико́й. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день пристают.

Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.

Дико́й. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а

обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную вот разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю человека.

Кабанова. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.

Дико́й. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то, о Великом, я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка; за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После прощенья просил, в ноги кланялся, право, так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся.

Кабанова. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.

Дико́й. Как так нарочно?

Кабанова. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не

подойдет. Вот что, кум!

Дико́й. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!

Глаша входит.

Глаша. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте!

Кабанова. Что ж, кум, зайди! Закуси чем Бог послал!

Дико́й. Пожалуй.

Кабанова. Милости просим! *(Пропускает вперед Дикого и уходит за ним.)*

Глаша, сложа руки, стоит у ворот.

Глаша. Никак, Борис Григорьич идет. Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно, так гуляет.

Входит Борис.

Явление третье

Глаша, Борис, потом Кулигин.

Борис. Не у вас ли дядя?

Глаша. У нас. Тебе нужно, что ль, его?

Борис. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так пусть сидит: кому его нужно. Дома-то

рады-раде-хоньки, что ушел.

Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дура, стою-то с тобой! Прощай! *(Уходит.)*

Борис. Ах ты, Господи! Хоть бы одним глазком взглянуть на нее! В дом войти нельзя; здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили, все равно. *(Молчание.)* Уж совсем бы мне ее не видать: легче бы было! А то видишь урывками, да еще при людях; во сто глаз на тебя смотрят. Только сердце надрывается. Да и с собой-то не сладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал я в городок! *(Идет, ему навстречу Кулигин.)*

Кулигин. Что, сударь? Гулять изволите?

Борис. Да, так гуляю себе, погода очень хороша нынче.

Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое…

Открылась бездна звезд полна,

Звездам числа нет, бездне — дна.

Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.

Борис. Пойдемте!

Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают, либо Богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете судить. *(Садится.)* И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видит и не знает, видит только один Бог! Ты, говорит, смотри в людях меня да на улице; а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да

запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные — волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну, да Бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара!

Показываются Кудряш и Варвара. Целуются.

Борис. Целуются.
Кулигин. Это у нас нужды нет.

Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса. Он подходит.

Явление четвертое

Борис, Кулигин и Варвара.

Кулигин. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду.
Борис. Хорошо, я сейчас приду.

Кулигин уходит.

Варвара *(закрываясь платком).* Знаешь овраг за Кабановым садом?

Борис. Знаю.

Варвара. Приходи туда ужо попозже.

Борис. Зачем?

Варвара. Какой ты глупый! Приходи, там увидишь, зачем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются.

Борис уходит.

Не узнал ведь! Пущай теперь подумает. А ужотка я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. *(Уходит в ворота.)*

Сцена 2

Ночь. Овраг, покрытый кустарником; наверху забор сада Кабановых и калитка; сверху тропинка.

Явление первое

Кудряш *(входит с гитарой).* Нет никого. Что ж это она там! Ну, посидим да подождем. *(Садится*

на камень.) Да со скуки песенку споем. *(Поет.)*

Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит.
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры-то ноги ему поклонилася,
Уж ты, батюшко, ты ли мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи ты меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним соседушкам.

Входит Борис.

Явление второе

Кудряш и Борис.

Кудряш *(перестает петь).* Ишь ты! Смирен, смирен, а тоже в разгул пошел.

Борис. Кудряш, это ты?

Кудряш. Я, Борис Григорьич!

Борис. Зачем это ты здесь?

Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда Бог несет?

Борис *(оглядывая местность).* Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место.

Кудряш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное, и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов; а на этой дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани Господи, греха какого не вышло. Уговор лучше денег.

Борис. Что с тобой, Ваня?

Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела нет. А чужих не трогай! У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою… да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву!

Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели.

Кудряш. Кто ж велел?

Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.

Кудряш. Кто ж бы это такая?

Борис. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?

Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло.

Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев; а дело-то такое…

Кудряш. Полюбили, что ль, кого?

Борис. Да, Кудряш.

Кудряш. Ну, что ж, это ничего. У нас насчет этого оченно слободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят.

Борис. То-то и горе мое.

Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили?

Борис. Замужнюю, Кудряш.

Кудряш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!

Борис. Легко сказать — бросить! Тебе это, может быть, все равно: ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого! Уж я коли полюбил…

Кудряш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить

хотите, Борис Григорьич!

Борис. Сохрани Господи! Сохрани меня Господи! Нет, Кудряш, как можно! Захочу ли я ее погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.

Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят.

Борис. Ах, не говори этого, Кудряш! Пожалуйста, не пугай ты меня!

Кудряш. А она-то вас любит?

Борис. Не знаю.

Кудряш. Да вы видались когда аль нет?

Борис. Я один раз только и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто светится.

Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ль?

Борис. Она, Кудряш.

Кудряш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем проздравить!

Борис. С чем?

Кудряш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходить велели.

Борис. Так неужто она велела?

Кудряш. А то кто же?

Борис. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. *(Хватается за голову.)*

Кудряш. Что с вами?

Борис. Я с ума сойду от радости.

Кудряш. Вота! Есть от чего с ума сходить! Только вы смотрите, себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не введите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта.

Варвара выходит из калитки.

Явление третье

Те же и Варвара; потом Катерина.

Варвара *(у калитки поет).*

За рекою за быстрою мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет…

Кудряш *(продолжает).*

Товар закупает…

(Свищет.)

Варвара *(сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису).* Ты, парень, подожди. Дождешься чего-нибудь. *(Кудряшу.)* Пойдем

на Волгу.

Кудряш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь, что не люблю!

Варвара обнимает его одной рукой, и уходят.

Борис. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свидания! Ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду — и не знаю, и вообразить не могу; только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот какое у меня сердце глупое, раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет.

Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю.

Молчание.

Это вы, Катерина Петровна?

Молчание.

Уж как мне благодарить вас, я и не знаю.

Молчание.

Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люб-

лю вас! *(Хочет взять ее за руку.)*

Катерина(с *испугом, но не подымая глаз).* Не трогай, не трогай меня! Ах, ах!

Борис. Не сердитесь!

Катерина. Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.

Борис. Не гоните меня!

Катерина. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски…

Борис. Вы сами велели мне прийти…

Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!

Борис. Лучше б мне не видать вас!

Катерина *(с волнением).* Ведь что я себе готовлю! Где мне место-то, знаешь ли?

Борис. Успокойтесь! *(Берет ее за руку.)* Сядьте!

Катерина. Зачем ты моей погибели хочешь?

Борис. Как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете, больше самого себя!

Катерина. Нет, нет! Ты меня загубил!

Борис. Разве я злодей какой?

Катерина *(качая головой).* Загубил, загубил,

загубил!

Борис. Сохрани меня Бог! Пусть лучше я сам погибну!

Катерина. Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе.

Борис. Ваша воля была на то.

Катерина. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. *(Поднимает глаза и смотрит на Бориса.)*

Небольшое молчание.

Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! *(Кидается к нему на шею.)*

Борис *(обнимает Катерину).* Жизнь моя!

Катерина. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось!

Борис. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?

Катерина. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.

Борис. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня…

Катерина. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..

Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужли же я тебя не пожалею!

Катерина. Э! Что меня жалеть, никто виноват — сама на то пошла. Не жалей, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! *(Обнимает Бориса.)* Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься.

Борис. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо!

Катерина. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успею на досуге.

Борис. А я было испугался, я думал, ты меня прогонишь.

Катерина *(улыбаясь).* Прогнать! Где уж! С нашим ли сердцем! Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла.

Борис. Я и не знал, что ты меня любишь.

Катерина. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой; иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.

Борис. Надолго ль муж-то уехал?

Катерина. На две недели.

Борис. О, так мы погуляем! Время-то довольно.

Катерина. Погуляем. Атам… *(Задумывается.)*…

как запрут на замок, вот смерть! А не запрут, так уж найду случай повидаться с тобой!

Входят Кудряш и Варвара.

Явление четвертое

Те же, Кудряш и Варвара.

Варвара. Ну, что, сладили?

Катерина прячет лицо у Бориса на груди.

Борис. Сладили.

Варвара. Пошли бы, погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет.

Борис и Катерина уходят.

Кудряш и Варвара садятся на камень.

Кудряш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата оченно способно.

Варвара. Все я.

Кудряш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?..

Варвара. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.

Кудряш. А ну, на грех?

Варвара. У нее первый сон крепок: вот к утру,

так просыпается.

Кудряш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.

Варвара. Ну так что ж! У нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду; постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали. Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя! Как же можно! Того гляди в беду попадешь.

Кудряш берет несколько аккордов на гитаре.

Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет.

Варвара *(зевая).* Как бы это узнать, который час?

Кудряш. Первый.

Варвара. Почем ты знаешь?

Кудряш. Сторож в доску бил.

Варвара *(зевая).* Пора. Покричи-ка! Завтра мы пораньше выдем, так побольше погуляем.

Кудряш *(свищет и громко запевает).*

Все домой, все домой!
А я домой не хочу.

Борис *(за сценой).* Слышу!

Варвара *(встает).* Ну, прощай! *(Зевает, потом целует холодно, как давно знакомого.)* Завтра, смотрите, приходите пораньше! *(Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина.)* Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, завтра увидитесь. *(Зевает и потягивается.)*

Вбегают Катерина, за ней Борис.

Явление пятое

Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.

Катерина *(Варваре).* Ну, пойдем, пойдем! *(Всходят по тропинке. Катерина на полдороге оборачивается.)* Прощай!

Борис. До завтра!

Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи! *(Подходит к калитке.)*

Борис. Непременно.

Кудряш *(поет под гитару).*

Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зори!
Ай-лели, до поры,
До вечерней до зари.

Варвара *(у калитки).*

А я, млада, до поры,
До утренней до зори,
Ай-лели, до поры,
До утренней до зари!

(Уходит.)

Кудряш.

Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась…

и т. д.

Действие четвертое

На первом плане узкая галерея со сводами старинной начинающей разрушаться постройки;
кой-где трава и кусты; за арками берег и вид на Волгу.

Явление первое

Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками.

1-й. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась?

2-й. Гляди, сберется.

1-й. Еще хорошо, что есть где схорониться.

Входят все под своды.

Женщина. А что народу-то гуляет на бульваре! День праздничный, все повышли. Купчихи такие разряженные.

1-й. Попрячутся куда-нибудь.

2-й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!

1- й *(осматривая стены).* А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было. И теперь еще местами означает.

2-й. Ну да, как же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впусте оставлено, развалилось, заросло. После пожару так и не поправляли. Да ты и пожа-ру-то этого не помнишь, этому лет сорок будет.

1-й. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было; довольно затруднительно это понимать.

2-й. Это геенна огненная.

1-й. Так, братец ты мой!

2-й. И едут туда всякого звания люди.

1-й. Так, так, понял теперь.

2-й. И всякого чину.

1-й. И арапы?

2-й. И арапы.

1-й. А это, братец ты мой, что такое?

2-й. А это литовское разорение. Битва — видишь? Как наши с Литвой бились.

1-й. Что ж это такое Литва?

2-й. Так она Литва и есть.

1-й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.

2-й. Не умею тебе сказать. С неба, так с неба.

Женщина. Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны.

1-й. А что, братец ты мой! Ведь это так точно.

Входят Дикóй и за ним Кулигин без шапки.

Все кланяются и принимают почтительное положение.

Явление второе

Те же, Дикóй и Кулигин.

Дикóй. Ишь ты, замочило всего. *(Кулагину.)* Отстань ты от меня! Отстань! *(С сердцем.)* Глупый человек!

Кулигин. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Дико́й. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный *(показывает жестами размер каждой вещи),* дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую *(показывает жестом),* простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все сам.

Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение — для глаз оно приятней.

Дико́й. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества

каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Дико́й. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.

Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.

Дико́й. Ну, и пущай знают, а я тебя знать не хочу.

Кулигин. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?

Дико́й. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.

Кулигин. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!»

Дико́й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь

ты!

Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Дико́й *(гордо).* Все суета!

Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были.

Дико́й. Какие такие там у тебя громовые отводы?

Кулигин. Стальные.

Дико́й *(с гневом).* Ну, еще что?

Кулигин. Шесты стальные.

Дико́й, *(сердясь более и более).* Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?

Кулигин. Ничего больше.

Дико́й. Да гроза-то что такое по-твоему, а? Ну, говори!

Кулигин. Электричество.

Дико́й, *(топнув ногой).* Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то,

прости Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю.

Дико́й. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! прислушай-те-ко, что он говорит!

Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. *(Махнув рукой, уходит.)*

Дико́й. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонка! С этим народом какому надо быть человеку? Я уж не знаю. *(Обращаясь к народу.)* Да вы, проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб ему провалиться! *(Сердито.)* Перестал, что ль, дождик-то?

1-й. Кажется, перестал.

Дико́й. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то: кажется!

1-й *(выйдя из-под сводов).* Перестал!

Дико́й уходит, и все за ним.

Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись, высматривает.

Явление третье

Варвара и потом Борис.

Варвара. Кажется, он!

Борис проходит в глубине сцены.

Сс-сс!

Борис оглядывается.

Поди сюда.

Манит рукой, Борис входит.

Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость! Борис. А что?

Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, а он приехал.

Борис. Нет, я не знал.

Варвара. Она просто сама не своя сделалась.

Борис. Видно, только я и пожил десять деньков, пока его не было. Уж теперь и не увидишь ее!

Варвара. Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит

вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза, как у помешанной! Давеча утром плакать принялась, так и рыдает. Батюшки мои! что мне с ней делать?

Борис. Да, может быть, пройдет это у нее!

Варвара. Ну, уж едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стала, ходит да все на нее косится, так змеей и смотрит; а она от этого еще хуже. Просто мука глядеть-то на нее! Да и я боюсь.

Борис. Чего же ты боишься?

Варвара. Ты ее не знаешь! Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все станется! Таких дел наделает, что…

Борис. Ах, Боже мой! Что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько. Неужли уж нельзя ее уговорить?

Варвара. Пробовала. И не слушает ничего. Лучше и не подходи.

Борис. Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?

Варвара. А вот что: бухнет мужу в ноги, да и расскажет все. Вот чего я и боюсь.

Борис *(с испугом).* Может ли это быть!

Варвара. От нее все может быть.

Борис. Где она теперь?

Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди и ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется.

Вдали удары грома.

Никак, гроза? *(Выглядывает.)* Да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтоб не подумали чего.

Входят несколько лиц разного звания и пола.

Явление четвертое

Разные лица и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигин.

1-й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться.

Женщина. Да уж как ни прячься! Коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь.

Катерина *(вбегая).* Ах! Варвара! *(Хватает ее за руку и держит крепко.)*

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Смерть моя!

Варвара. Да ты одумайся! Соберись с мыслями!

Катерина. Нет! Не могу. Ничего не могу. У меня

уж очень сердце болит.

Кабанова *(входя).* То-то вот, надо жить-то так, чтобы всегда быть готовой ко всему; страху-то бы такого не было.

Кабанов. Да какие ж, маменька, у нее грехи такие могут быть особенные? Все такие же, как и у всех у нас, а это так уж она от природы боится.

Кабанова. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки.

Кабанов *(шутя).* Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажись, ничего не было.

Кабанова. Может быть, и без тебя.

Кабанов *(шутя).* Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна. Ведь от меня не скроешься: нет, шалишь! Все знаю!

Катерина *(смотрит в глаза Кабанову).* Голубчик мой!

Варвара. Ну что ты пристаешь! Разве не видишь, что ей без тебя тяжело.

Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым.

Катерина *(вскрикивает).* Ах!

Кабанов. Что ты испугалась! Ты думала, чужой? Это знакомый! Дядюшка здоров ли?

Борис. Слава Богу!

Катерина *(Варваре).* Чего ему еще надо от меня?.. Иль ему мало этого, что я так мучаюсь. *(Приклоняясь к* Варваре, рыдает.)

Варвара *(громко, чтобы мать слышала).* Мы с ног сбились, не знаем, что делать с ней; а тут еще посторонние лезут! *(Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу.)*

Кулигин *(выходит на середину, обращаясь к толпе).* Ну, чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится — любоваться бы надобно да дивиться премудрости: «С полночных стран встает заря»! А вы ужасаетесь да придумываете, к войне это или к мору. Комета ли идет — не отвел бы глаз! красота! звезды-то уж пригляделись, всё одни и те же, а это обновка; ну, смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Изо всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь!

Борис. Пойдемте! Здесь страшнее!

Уходят.

Явление пятое

Те же, без Бориса и Кулигина.

Кабанова. Ишь, какие рацеи развел! Есть что послушать, уж нечего сказать! Вот времена-то пришли, какие-то учители появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!

Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и накрыло.

1-й. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая!

2-й. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит; вот увидишь: потому, смотри! какой цвет необнакновенный!

Катерина *(прислушиваясь).* Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь.

Кабанов. Известно, так городят зря, что в голову придет.

Кабанова. Ты не осуждай постарше себя! Они больше твоего знают. У старых людей на все

приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет.

Катерина *(мужу).* Тиша, я знаю, кого убьет.

Варвара *(Катерине тихо).* Ты уж хоть молчи-то!

Кабанов. Ты почем знаешь?

Катерина. Меня убьет. Молитесь тогда за меня.

Входит барыня с лакеями.

Катерина с криком прячется.

Явление шестое

Те же и барыня.

Барыня. Что прячешься! Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-то не хочется! Пожить хочется! Как не хотеться! видишь, какая красавица! Ха, ха, ха! Красота! А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех введешь! Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колют друг друга. Весело! Старики старые, благочестивые, об смерти забывают, соблазняются на красоту-то! А кто отвечать будет? За все тебе отвечать придется. В омут лучше с

красотой-то! Да скорей, скорей!

Катерина прячется.

Куда прячешься, глупая! От Бога-то не уйдешь!

Удар грома.

Все в огне гореть будете в неугасимом! *(Уходит.)* Катерина. Ах! Умираю!

Варвара. Что ты мучаешься-то, в самом деле! Стань к сторонке да помолись, легче будет.

Катерина *(подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает).* Ах! Ад! Ад! Геенна огненная!

Кабанова, Кабанов и Варвара окружают ее.

Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна я перед Богом и перед вами! Не я ли клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя! Помнишь, помнишь! А знаешь ли, что я, беспутная, без тебя делала? В первую же ночь я ушла из дому…

Кабанов *(растерявшись, в слезах, дергает ее за рукав).* Не надо, не надо, не говори! Что ты! Матушка здесь!

Кабанова *(строго).* Ну, ну, говори, коли уж начала.

Катерина. И все-то десять ночей я гуляла… *(Рыдает.)*

Кабанов хочет обнять ее.

Кабанова. Брось ее! С кем?

Варвара. Врет она, она сама не знает, что говорит.

Кабанова. Молчи ты! Вот оно что! Ну, с кем же?

Катерина. С Борисом Григорьичем.

Удар грома.

Ах! *(Падает без чувств на руки мужа.)*

Кабанова. Что, сынок! Куда воля-то ведет! Говорила я, так ты слушать не хотел. Вот и дождался!

Действие пятое

Декорация первого действия. Сумерки.

Явление первое

Кулигин сидит на лавочке. Кабанов идет по бульвару.

Кулигин *(поет).*

Ночною темнотою покрылись небеса,
Все люди для покою закрыли уж глаза…

и проч.

(Увидав Кабанова.) Здравствуйте, сударь! Далеко ли изволите?

Кабанов. Домой. Слышал, братец, дела-то наши? Вся, братец, семья в расстройство пришла.

Кулигин. Слышал, слышал, сударь.

Кабанов. Яв Москву ездил, ты знаешь? На доро-гу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что на-поди! Так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, так мне бы и в ум не пришло, что тут делается. Слышал?

Кулигин. Слышал, сударь.

Кабанов. Несчастный я теперь, братец, человек! Так ни за что я погибаю, ни за грош!

Кулигин. Маменька-то у вас больно крута.

Кабанов. Ну, да. Она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мне на милость? Я вот зашел к Дикому, ну, выпили; думал — легче будет; нет, хуже, Кулигин! Уж что жена против меня

сделала! Уж хуже нельзя…

Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить.

Кабанов. Нет, постой! Уж на что еще хуже этого. Убить ее за это мало. Вот маменька говорит: ее надо живую в землю закопать, чтоб она казнилась! А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. Жаль мне смотреть-то на нее, пойми ты это, Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она, как тень какая, ходит, безответная. Только плачет да тает, как воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее.

Кулигин. Как бы нибудь, сударь, ладком дело-то сделать! Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то, чай, тоже не без греха!

Кабанов. Уж что говорить!

Кулигин. Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попрекать! Она бы вам, сударь, была хорошая жена; гляди — лучше всякой.

Кабанов. Да пойми ты, Кулигин: я-то бы ничего, а маменька-то… разве с ней сговоришь!..

Кулигин. Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.

Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли! Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи век чужим. Я вот возьму да последний-то, какой есть,

пропью; пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится.

Кулигин. Эх, сударь! Дела, дела! Ну, а Борис-то Григорьич, сударь, что?

Кабанов. А его, подлеца, в Тяхту, к китайцам. Дядя к знакомому купцу какому-то посылает туда на контору. На три года его туды.

Кулигин. Ну, что же он, сударь?

Кабанов. Мечется тоже; плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали — молчит. Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите, делайте, только ее не мучьте! И он к ней тоже жалость имеет.

Кулигин. Хороший он человек, сударь.

Кабанов. Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тоскует, беда! Уж я вижу, что ему проститься хочется. Ну, да мало ли чего! Будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин! Расказнить его надобно на части, чтобы знал…

Кулигин. Врагам-то прощать надо, сударь!

Кабанов. Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец, Кулигин, все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги друг другу. Варвару маменька точила-точила; а та не стерпела, да и была такова — взяла, да и ушла.

Кулигин. Куда ушла?

Кабанов. Кто ее знает. Говорят, с Кудряшом с Ванькой убежала, и того также нигде не найдут. Уж это, Кулигин, надо прямо сказать, что от маменьки; потому стала ее тиранить и на замок запирать. «Не запирайте, говорит, хуже будет!» Вот так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне! Научи ты меня, как мне жить теперь! Дом мне опостылел, людей совестно, за дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь домой иду; на радость, что ль, иду?

Входит Глаша.

Глаша. Тихон Иваныч, батюшка!

Кабанов. Что еще?

Глаша. Дома у нас нездорово, батюшка!

Кабанов. Господи! Так уж одно к одному! Говори, что там такое?

Г л а ш а. Да хозяюшка ваша…

Кабанов. Ну, что ж? Умерла, что ль?

Глаша. Нет, батюшка; ушла куда-то, не найдем нигде. Сбились с ног, искамши.

Кабанов. Кулигин, надо, брат, бежать, искать ее. Я, братец, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки не наложила! Уж так тоскует, так тоскует, что ах! На нее-то глядя, сердце рвется.

Чего ж вы смотрели-то? Давно ль она ушла-то?

Глаша. Недавнушко, батюшка! Уж наш грех, недоглядели. Да и то сказать: на всякий час не остережешься.

Кабанов. Ну, что стоишь-то, беги!

Глаша уходит.

И мы пойдем, Кулигин!

Уходят. Сцена несколько времени пуста.

С противоположной стороны выходит Катерина и тихо идет по сцене.

Явление второе

Катерина *(одна[12]).* Нет, нигде нет! Что-то он теперь, бедный, делает? Мне только проститься с ним, а там… а там хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче от того! Погибать бы мне одной! А то себя погубила, его погубила, себе бесчестье — ему вечный покор! Да! Себе бесчестье — ему вечный покор. *(Молчание.)* Вспомнить бы мне, что он говорил-то? Как он жалел-то меня? Какие слова-то говорил? *(Берет себя за голову.)* Не

[12] Примечания: 12

Весь монолог и все следующие сцены говорит, растягивая и повторяя слова, задумчиво и как будто в забытьи.

помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то сделается, и поют, точно кого хоронят; только так тихо, чуть слышно, далеко, далеко от меня… Свету-то так рада сделаешься! А вставать не хочется, опять те же люди, те же разговоры, та же мука. Зачем они так смотрят на меня?

Отчего это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят, убивали. Взяли бы, да и бросили меня в Волгу; я бы рада была. «Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех снимется, а ты живи да мучайся своим грехом». Да уж измучилась я! Долго ль еще мне мучиться!.. Для чего мне теперь жить, ну для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет Божий не мил! — а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут *(показывая на сердце)* больно. Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела… Что ж: уж все равно, уж душу свою я ведь погубила. Как мне по нем скучно! Ах, как мне по нем скучно! Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышь ты меня издали! Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мне, скучно! *(Подходит к берегу и громко,*

во весь голос.) Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись! *(Плачет.)*

Входит Борис.

Явление третье

Катерина и Борис.

Борис *(не видя Катерины).* Боже мой! Ведь это ее голос! Где же она? *(Оглядывается.)*

Катерина *(подбегает к нему и падает на шею).* Уви-дела-таки я тебя! *(Плачет на груди у него).*

Молчание.

Борис. Ну, вот и поплакали вместе, привел Бог.

Катерина. Ты не забыл меня?

Борис. Как забыть, что ты!

Катерина. Ах, нет, не то, не то! Ты не сердишься?

Борис. За что мне сердиться?

Катерина. Ну, прости меня! Не хотела я тебе зла сделать; да в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила.

Борис. Полно, что ты! что ты!

Катерина. Ну, как же ты? Теперь-то ты как?

Борис. Еду.

Катерина. Куда едешь?

Борис. Далеко, Катя, в Сибирь.

Катерина. Возьми меня с собой отсюда!

Борис. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду: дядя посылает, уж и лошади готовы; я только отпросился у дяди на минуточку, хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы с тобой виделись.

Катерина. Поезжай с Богом! Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь.

Борис. Что обо мне-то толковать! Я вольная птица. Ты-то как? Что свекровь-то?

Катерина. Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит: «Не верьте ей, она хитрая». Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают.

Борис. А муж-то?

Катерина. То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то его мне хуже побоев.

Борис. Тяжело тебе, Катя!

Катерина. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!

Борис. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой! Лучше б бежать мне тогда!

Катерина. На беду я увидала тебя. Радости видела мало, а горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то

сколько! Ну, да что думать о том, что будет! Вот я теперь тебя видела, этого они у меня не отымут; а больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидать тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня…

Борис. Что ты, что ты!

Катерина. Да нет, все не то я говорю; не то я хотела сказать! Скучно мне было по тебе, вот что; ну, вот я тебя увидала…

Борис. Не застали б нас здесь!

Катерина. Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать! вот забыла! Что-то нужно было сказать! В голо-ве-то все путается, не вспомню ничего.

Борис. Время мне, Катя!

Катерина. Погоди, погоди!

Борис. Ну, что же ты сказать-то хотела?

Катерина. Сейчас скажу. *(Подумав.)* Да! Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.

Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай Бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! *(Обнимает ее и хочет уйти.)* Зло-

деи вы! Изверги! Эх, кабы сила!

Катерина. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. *(Смотрит ему в глаза.)* Ну, будет с меня! Теперь Бог с тобой, поезжай. Ступай, скорее ступай!

Борис *(отходит несколько шагов и останавливается).* Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебе.

Катерина. Ничего, ничего! Поезжай с Богом!

Борис хочет подойти к ней.

Не надо, не надо, довольно!

Борис *(рыдая).* Ну, Бог с тобой! Только одного и надо у Бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго! Прощай! *(Кланяется.)*

Катерина. Прощай!

Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.

Явление четвертое

Катерина *(одна).* Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно. Да, что домой, что в могилу!., что в могилу! В могиле

лучше… Под деревцом могилушка… как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит… весной на ней травка вырастет, мягкая такая… птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие… всякие *(задумывается),* всякие… Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо… нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь… Умереть бы теперь… Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама… а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться… Руки крест-накрест складывают… в гробу! Да, так… я вспомнила. А поймают меня, да воротят домой насильно… Ах, скорей, скорей! *(Подходит к берегу. Громко.)* Друг мой! Радость моя! Прощай! *(Уходит.)*

Входят Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем.

Явление пятое

Кабанова, Кабанов и Кулигин.

Кулигин. Говорят, здесь видели.

Кабанов. Да это верно?

Кулигин. Прямо на нее говорят.

Кабанов. Ну, слава Богу, хоть живую видели-то.

Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем. Не беспокойся: еще долго нам с ней маяться будет.

Кабанов. Кто ж ее знал, что она сюда пойдет! Место такое людное. Кому в голову придет здесь прятаться!

Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!

С разных сторон собирается народ с фонарями.

Один из народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда.

Несколько голосов. Эка притча! Вот оказия-то! И куда б ей деться!

Один из народа. Да найдется!

Другой. Как не найтись!

Третий. Гляди, сама придет.

Голос за сценой: «Эй, лодку!»

Кулигин *(с берега).* Кто кричит? Что там?
Голос: «Женщина в воду бросилась!»

Кулигин и за ним несколько человек убегают.

Явление шестое

Те же, без Кулигина.

Кабанов. Батюшки, она ведь это! *(Хочет бежать.)*

Кабанова удерживает его за руку.

Маменька, пустите, смерть моя! я ее вытащу, а то так и сам… что мне без нее!

Кабанова. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить, стоит ли она того! Мало нам она страму-то наделала, еще что затеяла!

Кабанов. Пустите!

Кабанова. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь.

Кабанов *(падая на колени).* Хоть взглянуть-то мне на нее!

Кабанова. Вытащут, взглянешь.

Кабанов *(встает, к народу).* Что, голубчики, не видать ли чего?

1-й. Темно внизу-то, не видать ничего.

Шум за сценой.

2-й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.

1-й. Да это Кулигина голос.

2-й. Вон с фонарем по берегу ходят.

1-й. Сюда идут. Вон и ее несут.

Несколько народа возвращается.

Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут близехонько, в омуточке, у берега; с огнем-то оно в воду-то далеко видно; он платье и увидал, и вытащил ее.

Кабанов. Жива?

Другой. Где уж жива! Высоко бросилась-то: тут обрыв, да, должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная! А точно, ребяты, как живая! Только на виске маленькая ранка, и одна только, как есть одна, капелька крови.

Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.

Явление седьмое

Те же и Кулигин.

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! *(Кладет на землю и убегает.)*

Кабанов *(бросается к Катерине).* Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!

Кабанов. Маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы…

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!

Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!

Кабанова *(сыну).* Ну, я с тобой дома поговорю. *(Низко кланяется народу.)* Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!

Все кланяются.

Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! *(Падает на труп жены.)*

А. А. Григорьев
После «Грозы» Островского
Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу

Гроза очищает воздух.

Физическая аксиома

…смирение перед народною правдою.

Слова Лаврецкого

…А что-то скажет народ?..

Гоголевский «Разъезд»

Письмо первое
Неизбежные вопросы

I

Вот что скажет народ!., думал я, выходя из ложи в коридор после третьего действия «Грозы», закончившегося искреннейшим взрывом общего восторга и горячими вызовами автора.

Впечатление сильное, глубокое и главным образом положительно общее произведено было не вторым действием драмы, которое хотя и с неко-

торым трудом, но все-таки можно еще притянуть к карающему и обличительному роду литературы, а концом третьего, в котором (конце) решительно ничего иного нет, кроме поэзии народной жизни, смело, широко и вольно захваченной художником в одном из ее существеннейших моментов, не допускающих не только обличения, но даже критики и анализа, так этот момент схвачен и передан поэтически, непосредственно. Вы не были еще на представлении, но вы знаете этот великолепный по своей поэзии момент — эту небывалую доселе ночь свидания в овраге, всю дышащую близостью Волги, всю благоухающую запахом трав широких ее лугов, всю звучащую вольными песнями, «забавными», тайными речами, всю полную обаяния страсти веселой и разгульной и не меньшего обаяния страсти глубокой и трагически-роковой. Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал тут! И это-то именно было всего сильнее почувствовано в произведении массою, и притом массою в Петербурге, диви бы в Москве, — массою сложною, разнородною, — почувствовано при всей неизбежной (хотя значительно меньшей против обыкновения) фальши, при всей пугающей резкости александрийского выполнения.

Для меня лично, человека в народ верующего и давно, прежде вашего Лаврецкого, воспитавшего в себе смирение перед народною правдою, понимание и чувство народа составляют высший критериум, допускающий над собою в нужных случаях поверку одним, уже только последним, самым общим критериумом христианства. Не народ существует для словесности, а словесность (в самом обширном смысле, т. е. как все многообразное проявление жизни в слове) для народа, и не словесностью создается народ, а народом словесность. Всякая же словесность, которая думает создать или пересоздать народ… но здесь я лучше покамест остановлю речь свою и не докончу мысли, как Гамлет не доканчивает фразы: «И если солнце зарождает червей в дохлой собаке…»

Накануне представления «Грозы» я долго говорил с вами о многом, что для меня и, судя по симпатии вашей к разговору, для вас самих составляет существенное верование по отношению к искусству и к жизни. Я собирался было писать к вам ряд писем, в которых с возможною и нужною — не для вас, конечно, а для других читателей — ясностью, с возможною и совершенно ненужною, но считающеюся за нужную в наше отвыкшее от отвлеченного мышления время от-

четливостью изложить положения и логически жизненные последствия того общего взгляда на искусство и отношения искусства к жизни, который я не раз называл идеально художественным. Взгляд этот — не новый какой-нибудь, и, стало быть, я не имею претензии называть его *моим* взглядом; называю же я его так, т. е. идеально художественным, в противоположность двум другим: 1) взгляду, присвоившему себе в недавнее время название реального, но, в сущности, *теоретическому,* расстилающему бедную жизнь на прокрустово ложе, подчиняющему ее более или менее узкой теории, т. е. совокупности последних результатов, добытых рассудком в последнюю минуту современной жизни, и 2) взгляду, присваивающему себе название *эстетического,* проповедующему свое дилетантское равнодушие к жизни и к ее существенным вопросам во имя какого-то искусства для искусства, а потому гораздо более заслуживающему название взгляда материального — грубо ли материального, тонко ли материального, это совершенно все равно. Естественно, что, противополагая идеально художественный взгляд эстетическому в таком смысле, я не думаю ставить искусству какие-либо внешние цели или задачи. Искусство существует

для души человеческой и выражает ее вечную сущность в свободном творчестве образов, и по этому самому оно — независимо, существует само по себе и само для себя, как все органическое, но душу и жизнь, а не пустую игру имеет своим органическим содержанием.

Вместо развития этих общих основ, вместо задуманных было мною чисто философских бесед, которые откладываются на неопределенное время, но все-таки если накипят когда-нибудь, то будут обращены к вам, я, весь под влиянием живого и, со всеми его недостатками, истинно могущественного художественного явления, решился повести с вами многие и долгие речи об Островском и значении его поэтической деятельности — речи, которые прежде всего и паче всего будут искренни, т. е. будут относиться к самой сущности дела, а не к чему-либо постороннему, *вне* дела лежащему и самое дело намеренно или ненамеренно затемняющему.

Если некоторые из основных положений и последствий идеально художественного взгляда, в применении к рассматриваемым явлениям, потребуют по существу самого дела довольно подробного развития — я буду без опасения отдаваться таким требованиям по весьма *понятному*

желанию быть совершенно *понятным* моим читателям.

По поводу этого я позволю себе сделать небольшое, чисто личное отступление: признаться вам откровенно — жалобы на непонятность моего обычного изложения мне серьезно надоели; ибо я, как человек убеждения, позволяю себе дорожить моим убеждением. Убеждение — если оно есть действительно убеждение — покупается по большей части ценою умственных и нравственных процессов, более или менее продолжительных переворотов в душевном организме, процессов и переворотов не всегда, как вы знаете, легких, а не приходит с ветра. В ком есть сильная потребность высказать свои убеждения, в том очень естественно и желание, чтобы с ними, с этими составляющими нравственную жизнь человека убеждениями, или *соглашались*, или, что точно так же важно, *спорили.* До сих пор я еще не имел удовольствия спорить как ни с кем из *теоретиков*, так и ни с кем из *эстетиков.*

Готовый с полною искренностью сознаться в грехе некоторой темноты изложения и некоторой излишней привязанности к анализу, я остаюсь, однако, при убеждении, что умственной лени, лени мыслить и следовать за развитием чужой

мысли, не надо по-настоящему баловать ни в себе, ни в других. Сжатые формы философского изложения, разумеется там, где они нужны, заменяют собою целые страницы резонерства, хотя, конечно, требуют от читателя самомышления, вовсе резонерством не требуемого.

Не отступаясь поэтому нисколько от права предполагать в моих читателях способность мыслить и следить за развитием чужой мысли, я, в настоящем случае, постараюсь только, сколько возможно, избегать сжатых формул и терминов философии тождества, но — счел бы грехом заменять их резонерством. Резонерство решительно противно всякому, чье мышление осиливает истины хоть немного более сложные, чем 2 + 2 = 4. Есть мышления, да и не женские только — вы этого, к сожалению, не договорили, — в которых 2 + 2 дают не 4, а стеариновую свечку… Вот для этих-то мышлений и создано в особенности резонерство. Шевеля и раздражая умственное сладострастие, резонерство, этот процесс без результатов, это истинное и единственное искусство для искусства, тем хорошо, что и на дело как будто похоже, т. е. дает известную степень наслаждения, да и к делу ни к какому не ведет, т. е. не требует от занимающихся им ни умственных, ни нравственных

самопожертвований.

Истина философская, как изящное произведение, связана с известной целостью, есть органическое звено целого мира — и целый мир в ней просвечивает как в целом неделимом. Если душа ваша приняла ее, вас объял уже целый мир необходимо связанных с нею мыслей: у нее есть связи, родство, история и вследствие этого неотразимая, влекущая вперед сила — сила жизни.

Резонерство — это дагеротип, случайный, сухой, мертвый, ни с чем разумно не связанный, умственный трутень, умственный евнух, порождение морального мещанства, его любимое чадо, высиженное им, как гомункулус Вагнером.

II

Позволив себе, по крайней необходимости, это небольшое вступление и облегчивши несколько душу излиянием моей глубокой ненависти к резонерству, столь нравящемуся большинству, перехожу к делу.

Я собираюсь, как я сказал, повести с вами *долгие* и совершенно *искренние* речи о значении деятельности Островского по поводу его последнего произведения, возбуждающего, по обыкновению, как и все предшествовавшие, различные

толки, иногда, и даже очень часто, совершенно противоположенные, иногда умные, иногда положительно дикие, но во всяком случае большею частию *неискренние,* т. е. к делу не относящиеся, — а по поводу дела высказывающие те или другие общественные и нравственные теории критиков-публицистов. Критики-публицисты — вообще люди в высшей степени благонамеренные, проникнутые самым законным и серьезным сочувствием к общественным вопросам; теории их если и подлежат спору во многих пунктах, как всякие теории, но тем не менее, проводя последовательно известные точки зрения на жизнь, содействуют необходимо к разъяснению существенных вопросов жизни; но дело-то в том, что эти теории, как бы умны они ни были, из каких бы законных точек ни отправились, в художественном произведении следят, да и могут следить только *ту* жизнь, которую видят с известных точек, а не ту, которая в нем, если оно есть истинно художественное произведение, просвечивает со всем своим многообъемлющим и в отношении к теориям часто ироническим смыслом. Художественно, как дело синтетическое, дело того, что называется вдохновением, захватывает жизнь гораздо шире всякой теории,

так что теория сравнительно с ним остается всегда назади…

Так оставило назади последнее произведение Островского все теории, по-видимому, столь победоносно и поистине блистательно высказанные замечательно даровитым публицистом «Современника» в статьях о «Темном царстве».

Статьи эти наделали много шуму, да и действительно: одна сторона жизни, отражаемой произведениями Островского, захвачена в них так метко, казнена с такою беспощадною последовательностью, заклеймена таким верным и типическим словом, что Островский явился перед публикой совершенно неожиданно обличителем и карателем самодурства. Оно ведь и так. Изображая жизнь, в которой самодурство играет такую важную, трагическую в принципе своем и последствиях и комическую в своих проявлениях роль, Островский не относится же к самодурству с любовью и нежностью. Не относится с любовью и нежностью — следственно, относится с обличением и карою, — заключение прямое для всех любящих подводить мгновенные итоги под всякую полосу жизни, освещенную светом художества, для всех теоретиков, мало уважающих жизнь и ее безграничные тайны,

мало вникающих в ее иронические выходки.

Прекрасно! Слово Островского — обличение самодурства нашей жизни. В этом его значение, его заслуга как художника, в этом сила его, сила его действия на массу, на эту последнюю для него как для драматурга инстанцию.

Да точно ли в этом?

Беру факт самый яркий, не тот даже, с которого я начал свои рапсодии, а факт только возможный (увы! когда-то, наконец, возможный?) — беру возможное или, пожалуй, невозможное, представление первой его комедии «Свои люди — сочтемся»!..

Остроумный автор статей «Темное царство» положительно, например, отказывает в своем сочувствии Большову, даже и в трагическую минуту жизни этого последнего. Откажет ли ему в сожалении и, стало быть, известном сочувствии масса?.. Публицист — до чего не доведет человека теория — почти что стоит на стороне Липочки; по крайней мере, она у него включена в число протестанток и протестантов в быту, обуреваемом и подавляемом самодурством. Спрашиваю вас: *как* масса отнесется к *протестантке* Липочке?.. Поймет ли она Липочку как *протестантку?*

В других комедиях Островского симпатии

и антипатии массы так же точно разойдутся с симпатиями и антипатиями г. — бова, как постараюсь я доказать фактами и подробно впоследствии. А ведь это вопросы неотразимые. Островский прежде всего драматург: ведь он создает свои типы не для г. — бова, автора статей о «Темном царстве», — не для вас, не для меня, не для кого-нибудь, а для массы, для которой он, пожалуй, как поэт ее, поэт народный, есть и учитель, но учитель с тех высших точек зрения, которые доступны ей, массе, а не вам, не мне, не г. — бову, с точек зрения ею, массой, понимаемых, ею разделяемых.

Поэт — учитель народа только тогда, когда он судит и рядит жизнь во имя идеалов, жизни самой присущих, а не им, поэтом, сочиненных. Не думайте, да вы, вероятно, и не подумаете, чтобы массою здесь звал я одну какую-либо часть великого целого, называемого народом. Я зову массою, чувством массы то, что в известную минуту сказывается невольным общим настроением, вопреки частному и личному, сознательному или бессознательному настроению, в вас, во мне, даже в г. — бове — наравне с купцом из Апраксина ряда. Это что-то, сказывающееся в нас как нечто физиологическое, простое, неразложимое,

мы можем подавлять в себе разве только фанатизмом теории.

Зато посмотрите, какие следствия производит насильственное подавление в себе этого простого, физиологического чувства; полюбуйтесь, как души молодые и горячие, увлеченные фанатизмом теории, скачут по всем по трем вдогонку за первыми, высказывавшими известным положительным образом известную, имеющую современное значение теорию, и не только вдогонку, а вперегонку, ибо теория есть идол неумолимо жадный, постоянно требующий себе новых и новых жертвенных треб.

Имеете ли вы понятие о статейке, появившейся в «Московском вестнике» по поводу «Грозы» Островского? Статейка принадлежит к числу тех курьезов, которые будут дороги потомству, и даже весьма недалекому потомству; будут им отыскиваемы как замечательные указания на болезни нашей напряженной и рабочей эпохи. Автор ее еще прежде *удивил* читателей неистово-напряженною статьей о русской женщине, по поводу ломаной натуры (если натурою называть это можно) Ольги в романе «Обломов». Но удивление, возбуждаемое статейкой о «Грозе», превосходит многими степенями удивление,

произведенное прежнею. С какою наивною, чисто *ученою,* то есть мозговою, а не сердечною верою юный (по всей вероятности) рецензент «Московского вестника» усвоил остроумную и блистательно высказанную теорию автора статей «Темное царство». Не знаю, стало ли бы у самого г. — бова столько смелой последовательности в проведении его мысли, как у его ученика и сеида. Даже сомневаюсь, чтобы стало; автор статей «Темное царство», судя по зрелому, мастерскому его изложению, человек взрослый; даже готов подозревать, что г. — бов втихомолку хохочет над усердием своего сеида, втихомолку потому, что хохотать явно было бы недобросовестно со стороны г. — бова. Ведь «его же добром да ему же челом», ведь рецензент «Московского вестника», собственно, только прилагает добросовестно к «Грозе» идеи автора «Темного царства», точно так же как в статье о русской женщине он только проводил последовательно и с горячим энтузиазмом холодно-желчные идеи автора статей об обломовщине. Г-н Пальховский — имя юного рецензента — глубоко уверовал в то, что Островский каратель и обличитель самодурства и прочего, и вот «Гроза» вышла у него только сатирою, и *только* в смысле сатиры придал он ей значение.

Мысль и сама по себе дикая, но полюбуйтесь ей в приложениях; в них-то вся сила, в них-то вся прелесть: Катерина не протестантка, а если и протестантка, то бессильная, не вынесшая сама своего *протеста*, — катай ее, Катерину! муж ее уж совсем не протестант — валяй же его, мерзавца! Извините за цинизм моих выражений, но они мне приходили невольно на язык, когда я с судорожным хохотом читал статью г. Пальховского, и, каюсь вам, вследствие статьи юного сеида г. — бова я невольно хохотал над множеством положений серьезной и умной статьи публициста «Современника», разумеется взятых только в их последовательном приложении. Протестантка Липочка, протестантки Матрена Савишна и Марья Антиповна, попивающие с чиновниками мадеру на вольном воздухе под Симоновым… как хотите, а ведь такого рода протестантизм — в иную минуту невольно представится очень забавным!

Но ведь смех смеху рознь, и в моем смехе было много грусти, и много тяжелых вопросов выходило из-за логического комизма.

Мне, право, иногда наше время представляется выраженным читателю смело, но верно в сцене высокопоэтического создания «Komedya

nieboska»[13], в которой поэт приводит своего героя в сумасшедший дом и где в различных голосах сумасшедших слышны различные страшные вопли нашего времени, различные теории, более или менее уродливые, более или менее фанатические; страшная и глубокого смысла исполненная сцена!

Ведь не только г. — бов, даже сеид его, — по всей вероятности, человек, глубоким, хоть и мозговым процессом вырабатывающий свои убеждения, — не только, говорю я, они не смешны своими увлечениями, они достойны за них, разумеется не в равной мере, и сочувствия, и уважения. Ведь мы ищем, мы просим ответа на страшные вопросы у нашей мало ясной нам жизни; ведь мы не виноваты ни в том, что вопросы эти страшны, ни в том, что жизнь наша, эта жизнь, нас окружающая, нам мало ясна с незапамятных времен. Ведь это поистине страшная, затерявшаяся где-то и когда-то жизнь, та жизнь, в которой рассказывается серьезно, как в «Грозе» Островского, что «эта Литва, она к нам с неба упала», и от которой, затерявшейся где-то и когда-то, отречься нам нельзя без насилия над собою, противоестественного

---

[13] Примечания: 13
«Небожественная комедия» *(полъск.). — Ред.*

и потому почти преступного; та жизнь, с которой мы сначала враждуем и смирением перед неведомою правдою которой все люди с сердцем, люди плоти и крови кончали, кончают и, должно быть, будут еще кончать, как Федор Лаврецкий, обретший в ней свою искомую и созданную из ее соков Лизу; та жизнь, которой в лице Агафьи Матвеевны приносит Обломов в жертву деланную и изломанную, хотя внешне грациозную натуру Ольги, в которой он гибнет, единственно, впрочем, по воле его автора и не миря нас притом нисколько своею гибелью с личностью Штольца.

Да, страшна эта жизнь, как тайна страшна, и, как тайна же, она манит нас, и дразнит, и тащит…

Но куда? вот в чем вопрос.

В омут или на простор и на свет? В единении ли с ней или во отрицании от нее, губящей обломовщины, с одной стороны, безысходно темного царства — с другой, заключается для нас спасение?

III

Мы дошли до того, что с теми нравственными началами, с которыми до сих пор жили, или, лучше, прозябали в тех общественных условиях,

в которых пребывали, или, вернее, кисли, жить более не можем.

Мудрено ли, еще раз, что у всех явлений *таинственной* нашей жизни мы доискиваемся смысла; мудрено ли, что во всяком художественном создании, отразившем в своем фокусе наибольшую сумму явлений известного рода, мы ищем оправдания и подкрепления того смысла, который мы сами более или менее верно, но, во всяком случае, серьезно придали явлениям вследствие законного раздражения неправыми явлениями и еще более законного желания уяснить себе темные для нас явления?

Все это не только не мудрено, но совершенно логично. Всем этим совершенно объясняются различные отношения нашей мысли к произведениям искусства, которые сколько-нибудь сильно ее шевелят.

Кровные или мозговые, но как те, так и другие сильные и действительные вражды и сочувствия вносим мы в наши отношения к этим, по-видимому, невинным чадам творчества и фантазии, и иначе быть не может.

Чада, как всякие чада, действительно невинны, но они живые порождения жизни. Время, когда создания искусства считались роскошью,

увеселением без причин и последствий, давно прошло. Еще мрачный монах Савонарола, сжигая на площади Сан-Марко во Флоренции мадонн итальянских художников его времени, понимал, что невинные чада искусства могут возбуждать любовь и ненависть, как и виновные чада жизни…

Наше время еще больше это понимает. Фанатизм симпатий и антипатий прокрался даже и в ту область художества, которая наиболее чужда нравственных и жизненных требований, наименее к чему-либо обязывает, — даже в музыку, и фанатическая религия вагнеризма есть один из ярких симптомов страшной напряженности умственного и нравственного настройства нашей эпохи.

По этому-то самому нельзя в наше время отказать в уважении и сочувствии никакой честной теории, т. е. теории, родившейся вследствие честного анализа общественных отношений и вопросов, и весьма трудно оправдать чем-либо дилетантское равнодушие к жизни и ее вопросам, прикрывающее себя служением какому-то чистому искусству. С теоретиками можно спорить; с дилетантами нельзя, да и не надобно. Теоретики режут жизнь для своих

идоложертвенных треб, но это им, может быть, многого стоит. Дилетанты тешат только плоть свою, и как им, в сущности, ни до кого и ни до чего нет дела, так и до них тоже никому не может быть, в сущности, никакого дела. Жизнь требует порешений своих жгучих вопросов, кричит разными своими голосами, голосами почв, местностей, народностей, настроений нравственных в созданиях искусств, а они себе тянут вечную песенку про белого бычка, про искусство для искусства, и принимают невинность чад мысли и фантазии в смысле какого-то бесплодия. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ее созданий и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновнического взгляда на жизнь. То и другое им равно ничего не стоит!

Нет! я не верю в их искусство для искусства не только в нашу эпоху — в какую угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатический гибеллин Дант, ни честный английский мещанин Шекспир, столь ненавистный пуританам всех стран и веков *даже до сего дне*, ни мрачный инквизитор Кальдерон не были художниками в том смысле, какой хотят придать этому званию дилетанты. Понятие об искусстве для искусства является в

эпохи упадка, в эпохи разъединения сознания нескольких утонченного чувства дилетантов с народным сознанием, с чувством масс… истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого слова. Искусство воплощает в образы, в идеалы сознание массы. Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох — организмов во времени и народов — организмов в пространстве.

Но из этой же самой народной, демократической сущности истинного искусства следует, что теории не могут обнять всего живого смысла поэтических произведений. Теории как итоги, выведенные из прошедшего рассудком, правы всегда только в отношении к прошедшему, на которое они, как на жизнь, опираются; а прошедшее есть всегда только труп, покидаемый быстро текущею вперед жизнью труп, в котором анатомия доберется до всего, кроме души. Теория вывела из известных данных известные законы и хочет заставить насильственно жить все последующие раскрывающиеся данные по этим логически правильным законам. Логиче-

ское бытие самых законов несомненно, мозговая работа по этим отвлеченным законам идет совершенно правильно, да идет-то она в отвлеченном, чисто логическом мире, мире, в котором все имеет очевидную последовательность, строгую необходимость, в котором нет неисчерпаемого творчества жизни, называемого обыкновенно случайностью, называемого так до тех пор, пока оно не станет прошедшим и пока логическая анатомия не рассечет этого трупа и не приготовит нового аппарата в виде новой теории.

Кого ж любить, кому же верить,
Кто не изменит нам один?..—

имеете право спросить меня и вы, и читатели моих писем к вам словами поэта.

— Кого любить? Кому верить? Жизнь любить — и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса в массах, внимать голосам ее в созданиях искусства и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покровы, разоблачает свои новые тайны и разрушает наши старые теории...

Это одно, что осталось нам, это именно и есть «смирение перед народною правдою», которым так силен ваш разбитый Лаврецкий.

Иначе, без смирения перед жизнью, мы станем

непризнанными учителями жизни, непрошенными печальниками народного благоденствия, а главное, будем поставляемы в постоянно ложные положения перед жизнию.

IV

Опять обращаясь к фактам, породившим эти рассуждения, я указываю, как на больное место современных теорий, на толки о деятельности Островского. Сколько времени эта чисто уже свободная и со всеми своими недостатками целостная, органическая, живая деятельность ускользала из-под ножа теорий, не поддавалась их определениям, была за это преследуема, вовсе не признаваема или полупризнаваема.

Явился наконец остроумный человек, который втиснул ее в такие рамки, что стало возможно помирить сочувствие к ней с сочувствием к интересам и теориям минуты, что она перестала выбиваться из общей колеи кары и обличения. Совершилось на глазах читателей одно из удивительнейших превращений. Драматург, которого обвиняли, иногда без оснований, иногда с основаниями, во множестве недостатков, недоделок и недосмотров; писатель, которому в одной из нахальнейших статей одного погибшего журнала

отказывали в истинном таланте, которому в другой, не менее нахальной, хотя более приличной статье другого журнала советовали преимущественно думать и думать, — превратился из народного драматурга в чистого сатирика, обличителя самодурства, но зато — положительно был оправдан от всех обвинений. Все вины взвалены были на «Темное царство», сатирик же явился решительно безупречным.

Повернет ли он круто, чтобы как-нибудь свести концы, характер какого-либо лица, оставит ли он какое драматическое положение в виде намека, недостанет ли у него веры в собственный замысел и смелости довершить по народному представлению то, что зачалось по народному представлению, — виноват не он, виновато «Темное царство», которого безобразий он каратель и обличитель. Что за нужда, что, прилагая одну эту мерку, вы урезываете в писателе его самые новые, самые существенные свойства, пропускаете или не хотите видеть его положительные, поэтические стороны; что нужды, что вы заставляете художника идти в его творчестве не от типов и их отношений, а от вопросов общественных и юридических. Мысль, взятая за основание, сама по себе верна. Ведь, опять повторяю, не относится

же драматург к самодурству и безобразию изображаемой им жизни с любовью и нежностью; не относится, так, стало быть, относится с казнью и обличением. Ergo pereat mundus — fiat justitia![14] Общее правило теоретиков действует во всей силе, и действительно разрушается целый мир, созданный творчеством, и на место образов являются фигуры с ярлыками на лбу: самодурство, забитая личность и т. д. Зато Островский становится понятен, т. е. теория может вывести его деятельность как логическое последствие из деятельности Гоголя.

Гоголь изобличил нашу напоказ выставляемую, так сказать, официальную действительность, Островский подымает покровы с нашей таинственной, внутренней, бытовой жизни, показывает главную пружину, на которой основана ее многосложная машина, — самодурство; сам дает даже это слово для определения своего бесценного Кита Китыча…

Что же?
Ужель загадку разрешили,
Ужели слово найдено?

---

[14] Примечания: 14
Пусть погибнет мир, но свершится правосудие! *(лат.) — Ред.*

то слово, которое непременно несет с собою и в себе Островский, как всякий истинно замечательный, истинно народный писатель?

Ежели так, то найденное *слово* не должно бояться никакой поверки, тем более поверки жизнью. Ежели оно правильно, то всякую поверку выдержит. Ежели оно правильно, то из-под его широкой рамки не должны выбиваться никакие черты того мира, к которому оно служит ключом. Иначе — оно или вовсе неверно, или верно только наполовину: к одним явлениям подходит, к другим не подходит.

Позволяю себе предложить разом все недоумения и вопросы, возникающие из приложения слова к явлениям, — шаг за шагом, драма за драмою.

1) Что правильное, народное сочувствие, нравственное и гражданское, в «Семейной картине» не на стороне протестанток Матрены Савишны и Марьи Антиповны — это, я полагаю, несомненно, хотя из несочувствия к ним нравственного народного сознания не следует сочувствия к самодурству Антипа Антипыча Пузатова и его матери, к ханжеству и гнусности Ширялова. Но — *как* изображено самодурство Антипа Антипыча: с злым ли юмором сатирика или с наивной

правдою народного поэта — это еще вопрос.

2) «Свои люди — сочтемся» — прежде всего картина общества, отражение целого мира, в котором проглядывают многоразличные органические начала, а не одно самодурство. Что человеческое сожаление и сочувствие остается по ходу драмы за самодурами, а не за протестантами — это даже и не вопрос, хотя, с другой стороны, — не вопрос же и то, что Островский не поставлял себе задачею возбуждения такого сочувствия. Нет! он только не был сатириком, а был объективным поэтом.

3) Что в «Утре молодого человека» дело говорит самодур дядя, а не протестант племянник — тоже едва ли подлежит сомнению.

4) Мир «Бедной невесты» изображен с такою симпатиею поэта и так мало в нем сатирического в изображении того, что могло бы даже всякому другому подать повод к сатире, что нужна неимоверная логическая натяжка для того, чтобы сочувствовать в этом мире не высокой, приносящей себя в жертву долгу, покоряющейся женской натуре, а одной только погибшей, хотя и действительно богатой силами личности Дуни, как г. — бов. Дуня — создание большого мастера и, как всякое создание истинного художества,

носит в себе высоконравственную задачу; но задача-то эта — с простой, естественной, а не с теоретической, насильственной точки зрения — заключается вовсе не в протесте. В Дуне правильным образом сочувствует масса не ее гибели и протесту, а тем лучшим качествам великодушия, которые в ней уцелели в самом падении, тому высокому сознанию греха, которое светится в ней, той покорности жребию, которая в ее сильной, широкой и размашистой натуре ценится вдвое дороже, чем в натуре менее страстной и богатой.

Так, по крайней мере, дело выходит с точки зрения простого смысла и простого чувства, а по-ученому там, не знаю, выйдет, может быть, и иначе. О том, как вся манера изображения и весь строй отношений к действительности в «Бедной невесте» противоречит манере Гоголя и его строю, — я еще здесь и не говорю. Я беру только самое очевидное, понятное, такое, в чем теоретический масштаб положительно, на всякие глаза, расходится с настоящим делом.

5) В комедии «Не в свои сани не садись» — никакими рассуждениями вы не добьетесь от массы ни понимания вреда от самодурства почтенного Максима Федотыча Русакова, ни сочувствия к че-

му-либо иному, кроме как к положению того же Русакова, к простой и глубокой любви Бородкина и к нежестокому положению бедной девушки, увлеченной простотой своей любящей души — да советами протестантки тетушки[15].

6) «Бедность не порок» — не сатира на самодурство Гордея Карпыча, а опять-таки, как «Свои люди — сочтемся» и «Бедная невеста», поэтическое изображение целого мира с весьма разнообразными началами и пружинами. Любим Торцов возбуждает глубокое сочувствие не протестом своим, а могучестью натуры, соединенной с высоким сознанием долга, с чувством человеческого достоинства, уцелевшими и в грязи, глубиною своего раскаяния, искреннею жаждою жить честно, по-божески, по-земски. Любовь Гордеевна — один из прелестнейших, хоть и слегка очерченных женских образов Островского — не забитая личность, возбуждающая только сожаление, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствие, как не забитые личности ни Марья Андреевна в «Бедной невесте», ни пушкинская Татьяна, ни ваша Лиза. Быт, составляющий

[15] Примечания: 15

Комедия «Не в свои сани не садись» даже явно страдает в художественном отношении резкостью лицеприятного сочувствия к земскому быту, и никакие теоретические натяжки этого не прикроют.

фон широкой картины, взят — на всякие глаза, кроме глаз теории, — не сатирически, а поэтически, с любовью, с симпатиею очевидными, скажу больше — с религиозным культом существенно народного. За это даже вооружились на Островского во дни оны. Поэтическое, т. е. прямое, а не косвенное, отношение к быту и было камнем претыкания и соблазна для присяжных ценителей Островского, причиною их в отношении к нему, ложного положения, из которого думал вывести их всех г. — бов.

7) Набросанный очерк широкой народной драмы «Не так живи, как хочется» столь мало — сатира, что в изображении главного самодура, старика Ильи Ильича, нет и тени комизма. В Петре Ильиче далеко не самодурство существенная сторона характера. В создании Груши, и даже ее матери, виден для всякого, кроме теоретиков, народный поэт, а не сатирик, Груша в особенности есть лицо, изображенное положительно, а не отрицательно, изображенное как нечто живое и долженствующее жить.

8) Если бы *самодурство* Кита Китыча было одною целию изображения в комедии «В чужом пиру похмелье» — общественный смысл этой комедии не был бы так широк, каков он пред-

ставляется в связи ее с «Доходным местом», с «Праздничным сном», с сценами «Не сошлись характером». Что Кит Китыч самодур — нет ни малейшего сомнения, но такого *милейшего* Кита Китыча создал поэт, а не сатирик, как не сатирик создавал Фальстафа. Ведь вам жаль расставаться с Китом Китычем, вы желали бы видеть его в различных подробностях его жизни, в различных его подвигах… Да и смысл-то комедии не в нем. Комедия эта, вместе с исчисленными мною другими, захватывает дело глубже идеи самодурства, представляет отношения земщины к чуждому и неведомому ей официальному миру жизни. Над Китом Китычем масса смеется добродушнейшим смехом. Горькое и трагическое, но опять-таки не сатирическое лежит на дне этой комедии и трех последующих, в идее нашей таинственной и, как тайна, страшной, затерявшейся где-то и когда-то жизни. Горькое и трагическое в судьбе тех, кого называет карасями Досужев «Доходного места», благороднейшая личность, которой практический ее героизм не указывает иного средства жить самому и служить народу, как писать прошения со вставлением всех орнаментов. Горькое и трагическое в том, что «царь Фараон из моря выходит» и что «эта Литва — она к нам

с неба упала». Горькое и трагическое в том, что ученье и грамота сливаются в представлении отупелой земщины с тем, что «отдали мальчика в ученье, а ему глаз и выкололи», — в том, что земщина, в лице глупого мужика Кита Китыча, предполагает в Сахаре Сахарыче власть и силу написать такое прошение, по которому можно троих человек в Сибирь сослать, и в лице умного мужа Неуеденова — справедливо боится всего, что не она, земщина; в наивном письме Серафимы Карповны к мужу: «Что я буду значить, когда у меня не будет денег? Тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будет денег — я кого полюблю, а меня, напротив того, не будут любить. А когда у меня будут деньги — я кого полюблю, и меня будут любить, и мы будем счастливы». Вот в чем истинно горькое и закулисно-трагическое этого мира, а не в самодурстве. Самодурство — это только накипь, пена, комический отсадок; оно, разумеется, изображается поэтом комически, — да как же иначе его и изображать? — но не оно ключ к его созданиям!

Для выражения смысла всех этих изображаемых художником с глубиною и сочувствием странных, затерявшихся где-то и когда-то жизненных отношений — слово *самодурство* слиш-

ком узко, и имя сатирика, обличителя, писателя отрицательного весьма мало идет к поэту, который играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни, который создает энергическую натуру Нади, страстно-трагическую задачу личности Катерины, высокое лицо Кулигина, Грушу, от которой так и пышет жизнию и способностью жить с женским достоинством — в «Не так живи, как хочется», старика Агафона в той же драме с его безграничностью, какой-то пантеистическою, даже на тварь простирающеюся любовию.

Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, писателя — не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений. Всякое другое — как более или менее узкое, более или менее теоретическое, произвольное — стесняет круг его творчества. Всяким другим словом теория как будто хочет сказать ему: «Вот в этой колее ты нам совершенно понятен, в этой колее мы тебя узакониваем, потому что в ней ты идешь к той цели, которую мы предписываем жизни. Дальше не ходи. Если ты прежде пытался ходить — мы тебя, так и быть, прощаем: мы наложим на твою деятельность

мысль, которую мы удачно сочинили для ее пояснения, и обрежем или скроем все, что выходит из-под ее уровня!»

Чем же объяснить это, как не тем, что теоретики искали слова для загадочного явления, нашли его по крайнему разумению и включили Островского в область фактов, поясняющих и подтверждающих их начала? Что касается до эстетиков — они хвалили Островского за литературное поведение, с большим вкусом, хотя не самостоятельно, указали на блестящие его стороны, да тем и ограничились.

Явление же само осталось неразгаданным, необъясненным, почти что таким же, каким оно было лет за восемь назад. Ни значение, ни особенность поэтической деятельности автора «Грозы» нисколько не определились, да и не могли определиться при таком воззрении, которое видело не мир, художником создаваемый, а мир, заранее начертанный теориями, и судило мир художника не по законам, в существе этого мира лежащим, а по законам, сочиненным теориями.

Появление «Грозы» в особенности обличило всю несостоятельность теории. Одними сторонами своими эта драма как будто и подтверждает остроумные идеи автора «Темного царства», но

зато с другими сторонами ее теория решительно не знает, что делать; они выбиваются из ее узкой рамки, они говорят совершенно не то, что говорит теория.

И вот в малом виде повторяется для мыслящего наблюдателя вышеупомянутая мною сцена из «Komedya nieboska». Кто, в яром увлечении теорией, гнет и ломает все отношения драмы, чтобы сделать из нее сатиру; кто, как рецензент «Русской газеты», лавируя между Сциллою и Харибдою, между теориею и жизнию, не может дать никакого органического единства своим взглядам. Кто, наконец, — есть и такие — винит чуть что не в безнравственности чистое создание художника. И — oú la vérité va-t-elle se nicher[16] — только в каком-то листке, в каком-то мало кому известном «Театральном и музыкальном вестнике» вслед за представлением «Грозы» является горячая, полная верного понимания и глубокого сочувствия статья, чуждая всяких теорий, относящаяся к жизни как к жизни. Странные факты! но не скажу: горестные факты.

Теории все-таки к чему-нибудь ведут и самою своею несостоятельностью раскрывают нам

---

[16] Примечания: 16
Куда только не заберется истина *(фр.). — Ред.*

шире и шире значение таинственной нашей жизни!.. Оказалась узка одна — явится другая. Одна только праздная игра в мысль и самоуслаждение этою игрою — незаконны в наше кипящее тревожными вопросами время. Теоретикам можно пожелать только несколько побольше религиозности, т. е. уважения к жизни и смирения перед нею, а ведь эстетикам, право, и пожелать-то нечего!

Письмо второе
Попытки разрешений

I

Не знаю, насколько удачно — но во всем предшествовавшем письме я стремился доказать, что Островский и его деятельность в 1859 году, *несмотря* на остроумные выкладки г. — бова и *вследствие* малоостроумных, но зато последовательных итогов, подведенных под выкладками юными последователями нового учителя, остаются таким же, еще не объясненным, еще загадочным явлением, каким они были в 1852 или 1853 годах. Чтобы быть совершенно искренним и беспристрастным в отношении к рассматри-

ваемому мною делу, я должен досказать то, чего не досказал в предшествовавшем рассуждении, а именно что деятельность Островского сама представляется как будто раздвоенною, что Островский в «Бедной невесте», в «Не так живи, как хочется» положительно не подходит *никакими* своими сторонами под начала теории г. — бова и что Островский в комедиях «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «Не сошлись характерами», «Воспитанница», наконец, в самой «Грозе» многими сторонами как будто вызвал теорию о «темном царстве», и — опять повторяю — только крайняя искренность и горячая смелость последователей г. — бова могла так рано обличить несостоятельность теории.

Другими словами, обличение во внутренней бытовой стороне нашей жизни мира самодурства, тупоумия, забитости и проч., не приложимое нисколько к первому разряду исчисленных драматических произведений, прилагается с большим успехом ко второму. Я думаю даже так, что г. — бов хотя и односторонне, но логически верно вывел теорию из внимательного изучения многих, и притом весьма ярких, сторон второго разряда комедий и потом, увлеченный страстью

к логическим выводам quand tёше[17], вопреки самой жизни, подвел под логический уровень и комедии первого разряда: иначе этого насилования и объяснить себе невозможно. Не предполагать же со стороны критика, т. е. общественного разъяснителя, обязанного своим званием искать серьезно правды и серьезно же передавать результаты своих исканий, — не предполагать же, говорю я, сознательную, намеренную уловку, деспотическое желание заставить жизнь и ее явления жить назло их собственному существу, по законам теории? Или уж все теоретики по натуре бессознательно деспоты и обо всяком из них может быть сказано в известном отношении то, что пушкинский Мазепа говорит о Карле XII:

Как полк, вертеться он судьбу
Заставить хочет барабаном!

Видно, так! Но как бы то ни было, а перед нами все-таки неразъясненное, даже — как кажется по приведенному мною разделению слоев — раздвоенное, противоречащее само себе явление; перед нами *дело,* переходившее несколько инстанций, в каждой решенное различным образом и само,

---

[17] Примечания: 17
Вопреки всему *(фр.). — Ред.*

по-видимому, подавшее повод к таким различным решениям.

Что же это такое? В самом ли деле Островский, начиная с комедии «В чужом пиру похмелье», идет иным путем, а не тем, которым он пошел после первой своей комедии, в «Бедной невесте» и других произведениях? И который из этих двух путей указывало ему его призвание, *если два* пути действительно были, — а они, эти два пути, являются необходимо, *если* только принять за объяснение деятельности Островского, теорию г. — бова? И в котором из двух первых, равно капитальных произведений Островского, равно широко обнимающих изображенные в них миры: в «Свои люди — сочтемся» или в «Бедной невесте» выразилось в особенности призвание Островского, его задача, его художественно-общественное слово? И наконец, точно ли есть в деятельности нашего первого и единственного народного драматурга раздвоение?.. Вот вопросы, которые необходимо требуют разрешения — а между тем нисколько не разрешены, а скорее запутаны теорией публициста «Современника» — и без разрешения которых Островский остается, повторяю опять, все-таки загадочным, непонятным явлением, как в те дни, когда выражение «новое

слово», употребленное вашим покорнейшим слугою по поводу «Бедной невесты», возбуждало такие глумления в петербургских критиках.

II

Деятельность Островского начинается, собственно, с 1847 года. Для полноты моих критических очерков привожу перечень всего им написанного до комедии «В чужом пиру похмелье», как грани второй полосы его развития, в хронологическом порядке.

1) *«Семейная картина».* Напечатана в «Московском городском листке» 1847 года, перепечатана без перемен в полном собрании сочинений 1859 года. В этой же, только год издававшейся газете напечатана сцена из комедии «Свои люди — сочтемся», носившей тогда название «Банкрут», сцена, подписанная буквами А. О. и Д. Г. — буквами, подавшими впоследствии повод к жалкой истории, немалое время срамившей некоторые журналы и газеты.

2) *«Очерки Замоскворечья»,* небольшой рассказ в «Московском городском листке» 1847 года, не вошедший, к сожалению, в полное собрание сочинений 1859 года.

3) *«Свои люди — сочтемся»,* комедия в 4 дей-

ствиях, в «Москвитянине» 1850 года и отдельной книжкой. Напечатана с некоторыми сокращениями и изменением конца (весьма неудачным, кроме прибавки одной, яркой и в высшей степени знаменательной, черты в характере Лазаря) в полном собрании сочинений.

4) *«Утро молодого человека»,* в «Москвитянине» 1850 года.

Перепечатано без перемен в поли [ом] собр[ании] сочинений.

5) *«Неожиданный случай»,* сцены — в альманахе «Комета»

1851 года. Не вошло в собрание сочинений.

6) *«Бедная невеста»,* комедия в 5 действиях, — в «Москвитянине» 1852 года. Перепечатана в первом томе сочинений.

7) *«Не в свои сани не садись»,* комедия в 3 действиях, — в «Москвитянине» 1853 года и в 1-м томе сочинений.

8) *«Бедность не порок»,* комедия в 3 действиях, напечатана без перемен во 2-м томе сочинений.

9) *«Не так живи, как хочется»,* народная драма в 3 действиях, в «Москвитянине» 1855 года. Перепечатана во 2-м томе сочинений с небольшими, но весьма интересными для мыслящего критика поправками, обличающими странную шаткость

отношений поэта к своему, может быть, любимому, но почему-то невыносившемуся детищу.

На этом произведении я пока останавливаюсь. Здесь грань всего несомненного. За «Не так живи, как хочется», т. е. с комедии «В чужом пиру похмелье», начинается область спорного.

Самое первое из этих исчисленных мною, больших и небольших, более или менее удачных произведений носило на себе яркую печать самобытности таланта, выражавшейся и 1) в новости быта, выводимого поэтом и до него вовсе непочатого, если исключить некоторые очерки Луганского и Вельтмана («Приключения, почерпнутые из моря житейского»), очерки, набросанные этими даровитыми писателями, так сказать, вскользь, мимоходом, и 2) в новости отношений автора к действительности вообще, к изображенному им быту и к типам из этого быта в особенности, и 3) в новости манеры изображения, и 4) в новости языка, в его цветистости, особенности.

Изо всего этого нового, что с первой минуты своего появления в литературе приносил с собою наш драматург, критика в состоянии была, да и теперь еще находится, понять только новость быта, который он изображал. «Семейная

картина», самое первое, но одно из оконченнейших произведений Островского, прошло при появлении своем почти что незамеченным, да и немудрено: оно и в полном собрании сочинений, напечатанном весьма разгонистым шрифтом, занимает немного более полутора печатного листа… Еще менее замечена была новость отношений к действительности, отношений радикально противоположных тем сентиментально-желчно-болезненным отношениям, которые свирепствовали тогда в произведениях петербургской натуральной школы, в маленьком рассказе «Очерки Замоскворечья», единственном произведении, вылившемся у Островского не в драматической форме. Появление комедии «Свои люди — сочтемся», как событие слишком яркое, выдвигавшееся далеко из ряда обычных, наделало много шуму, но не вызвало ни одной дельной критической статьи. Комедия изумила критику, и комическое отношение критики к комедии изображено смелыми, остроумными, хотя и резкими чертами в оригинальной шутке Эраста Благонравова «Сон по случаю одной комедии». В этой шутке, написанной со всем благородным пылом юности, со всем увлечением правды, в шутке, взбесившей донельзя

тогдашнюю критику, высказан был впервые даровитым критиком-юмористом глубоко верный взгляд на различие нового таланта, появившегося в нашей литературе, от таланта Гоголя. Позволяю себе привести из замечательной, не позабытой, но затерявшейся в старом журнале шутки существенно важное место, относящееся к этому различию. Шутка Эраста Благонравова сама написана в драматической форме; в лицах, разговаривающих в ней, выведены тогдашние направления и оттенки направлений. Молодому человеку, представителю крайности увлечения новым произведением, знаток западных литератур говорит:

«Ну, как вам угодно, а из ваших неумеренных похвал автору новой комедии я замечаю, что вы к нему пристрастны и что вы недоброжелатель Гоголя.

Молод [ой] челов[ек]. Странно, что вы замечаете из моих слов совершенно противоположное тому, что следует из них заметить. Я думаю, что из моих слов скорее можно заметить, что я пристрастен к Гоголю, а не враг ему.

Да (поверьте моей искренности), я пристрастен к Гоголю. Я люблю его произведения больше произведений автора *новой комедии,* я им больше

сочувствую, чем сочувствую *новой комедии;* но это дело моего личного вкуса. Вследствие чего именно я так пристрастен к Гоголю, и сам хорошенько не знаю. Может, это происходит оттого, что я, как и все русские юноши одного со мной поколения, воспитан на Гоголе. Когда я только что начал жить сознательно, когда во мне только что пробудилось эстетическое чувство, первый поэт, на голос которого откликнулось мое сердце, был Гоголь. Может быть, я ему сочувствую больше, чем автору *новой комедии,* и потому, что уже от природы я к тому наклонен. Как бы то ни было, но дело в том, что настроение моего духа, мое миросозерцание — гоголевское, и потому-то чтение Гоголя мне доставляет гораздо больше наслаждения, чем чтение *новой комедии.* Но в то же время автор ее представляет мне осуществление того идеала художника, о котором я давно мечтал. Гоголь в моих глазах не подходил под этот идеал. Давно я мечтал о таком художнике, давно я просил Бога послать нам такого поэта, который бы изобразил нам человека совершенно объективно, совершенно искренно, математически верно действительности. И вот такой поэт явился. Признаюсь откровенно, что, услыхав в первый раз *новую комедию,* я очень больно себя

ущипнул, дабы увериться, сплю я или нет, во сне или наяву слушаю комедию до такой степени натуральную, во сне или наяву вижу пред собой такого художника, которого давно ожидала вселенная, по котором давно тосковала она.

(Хор пристально смотрит на молодого человека.)

Прохожий. Мне кажется, молодой человек, что характеристика Гоголя, которую вы здесь представили, не полна, односторонняя. Действительно, *поэзия Гоголя изобилует того рода художественными гиперболами и тем лирическим юмором,* о котором вы распространялись. В этом я с вами совершенно согласен. Но разве в этом юморе, в этих гиперболах весь Гоголь? разве поэзия его постоянно преувеличивает действительность? разве Гоголь не умеет рисовать действительность верно, так, как она есть? Вспомните, сколько создано им лиц, у которых ни в характере, ни в разговоре вы не найдете ни малейшей утировки. Вспомните Остапа, Тараса Бульбу, Андрия, Акакия Акакиевича; вспомните, что у Гоголя есть даже целые повести, в которых действующие лица, все до одного, нарисованы с необыкновенным спокойствием и необыкновенною верностью,

без малейшей тени преувеличения; вспомните *«Коляску»,* вспомните *«Старосветских помещиков».* Итак, согласитесь со мной, что талант Гоголя состоит не только в уменье утрировать и в лирическом юморе, но и в верности изображения действительности. Если вы согласитесь со мной в этом пункте, то должны будете согласиться со мной и в том, что Гоголь выше автора *новой комедии. (Молчание.)* Вы сказали, что автор новой комедии умеет математически верно изображать действительность, а Гоголь — выпукло выставляет людскую пошлость, художественно утрировать. Но как теперь открылось из моих слов, что Гоголь, кроме того, умеет, также как и автор *новой комедии,* верно изображать действительность и утрировать, а автор *новой комедии* умеет только верно изображать действительность, а утрировать не умеет, — следовательно, знает только одну штуку, следовательно, ниже Гоголя, который знает две штуки.

Молодой человек. Вы отчасти правы. Действительно, у Гоголя создано много таких лиц, в которых нет ничего преувеличенного, которые верны действительности, но все-таки действующие лица *новой комедии* вернее их действительности; они конкретнее, они еще более похожи на людей,

чем лица, созданные Гоголем. Они, в отношении своей живости и конкретности, относятся к героям Гоголя, как картина, нарисованная красками, относится к картине, нарисованной тушью.

Все. В чем же состоит эта конкретность действующих лиц *новой комедии?*

Молодой человек. В их языке. Вспомните, каким языком говорят даже те лица Гоголя, которые не утрированы. Неужели у него лакеи говорят *точь-в-точь* таким языком, каким говорят лакеи; купцы — *точь-в-точь* таким языком, каким говорят купцы, и т. д.? Содержание их речей, их мысли совершенно приличны каждому из них, но им дана не та самая оболочка, которую они должны иметь. В их языке мало выражаются особенности сословий. Они так же говорят не своим языком, как не своим языком говорят действующие лица *«Каменного гостя»* Пушкина. Язык их переводный… Кстати, замечу здесь, что и в других произведениях Пушкина действующие лица говорят не своим языком. Примером тому служат *«Борис Годунов»* и *«Каменный гость».*

Хор. Что ж, по вашему мнению, вернее природе: *новая комедия* или *«Каменный гость»?*

Молодой человек. Разумеется, *новая комедия. «Каменный гость»,* во-первых, уже потому хуже

новой комедии, что в нем есть несообразности, которых в ней нет. Так, в нем является и говорит статуя командора, а статуя ведь ходить и говорить не может; кроме того, в ней еще тот же недостаток, что действующие лица не конкретны в отношении к языку. Их язык можно перевести по-каковски вам угодно, и они от этого ничего не потеряют. *Новая же комедия* непереводима…

Хор. Ну а Шекспира можно переводить?

Молодой человек. Можно; но оттого его произведения и ниже *новой комедии.*

Хор. Что-о-о?

Молодой человек. Ничего. *(Скрывается.)*

Хор. Вот каковы нынче молодые люди!

Любитель славянских древностей. Вот до чего довела их натуральная школа!»

Несмотря на то что Эраст Благонравов предупреждал читателей, что он не разделяет всех убеждений, которые высказывают действующие лица его фантазии, даровитая шутка привела тогдашнюю критику в совершенное остервенение. Но, как сначала ни недоумевала, как, по появлении шутки Эраста Благонравова, ни остервенилась критика, все-таки она должна была согласиться с общественным мнением. Она признала (добрая, великодушная критика!), что

явился новый талант, сильный, свежий и наиболее близкий к таланту, ныне давно уже спящему в могиле, к таланту, первенствовавшему тогда по всем правам. Бедная критика! Вот именно в этом-то, в этой-то близости к Гоголю она тогда ошиблась и ошибается *даже до сего дне;* в этом-то таился тогда и таится *даже до сего дне* источник всех ее недоразумений, натяжек и теорий.

«Новое слово» ускользнуло от определений старой критики, ускользнуло сначала, и с этого-то пункта началась настоящая история нового литературного явления.

Комедию «Свои люди — сочтемся» критика еще могла как-нибудь, хотя и с великими натяжками, связать с мудрыми заключениями своими обо всем предшествовавшем в литературе и с еще более мудрыми гаданиями насчет будущего. Вся последующая деятельность Островского так уходила из-под этих заключений, как расколы из-под общей византийской нормы, и поневоле должна была рассердить критику, задеть больные ее места, коснуться самых ветхих ее построек.

И критика стала в очевидно комическое положение к новому явлению. Появилась «Бедная невеста», а она ждала совсем не того после комедии «Свои люди — сочтемся». Еще прежде

Островский рассердил критику отсутствием всякой желчи, всякой резкости линий, всякой выпуклости в маленьких, простеньких и, надобно сказать правду, весьма милых сценах, известных под именем «Неожиданного случая», — от которых совершенно напрасно отрекся автор, издавая полное собрание своих сочинений… Эту беспритязательно-простую и между тем психологически тонкую шутку даровитого человека критика встретила воплями на бесцветность выведенных в ней характеров, упреками за слабость пружин, двигающих в ней отношения, или, в переводе на прямой язык, осердилась на то, что отношения сами по себе легкие художник очеркнул легко, характеры безосновные и бессодержательные изобразил в их безосновности и бессодержательности, не выдумал гиперболического узла, не отнесся с ядовитою насмешкою к таким беззлобным и бескровным существам, как выведенные им Розовый и Дружнин.

Но с появления «Бедной невесты» критика положительно стала сердиться на лица, выводимые поэтом, на манеру отношений поэта к изображаемому им быту, т. е. на самый быт, гостеприимно растворивший перед ней свои широкие двери в созданиях поэта. Критика постоянно становилась

то в положение Мерича или даже Милашина, то в положение Виктора Аркадьевича Вихорева и жены Маломальского или даже тетушки, набравшейся в Таганке образования. Становясь на их точки зрения, она винила Хорькова в *неблагородстве* поступков, Русакова и Бородкина хотела уверить, что они не существуют или, по крайней мере, существовать не должны.

«Бедность не порок», самая смелая, хотя и не самая оконченная из драм Островского, озлобила дряхлую критику, озлобила и на *друга* ее, Гордея Карповича, и на *врага* ее, Любима Торцова. Гордей Карпович — каков он ни на есть — все-таки представитель стремлений к *образованию,* все-таки в некотором роде человек, стремящийся выйти из *грубого* и критике совершенно непонятного быта, желающий «всякую моду подражать». Любим Карпович в глазах критики был только пьяница, и ничего больше. Его стремлений выйти из «метеорского» звания, войти снова в семью, иметь честный кусок хлеба, жить по-божески, по-земски; его раскаяния, его порывов критика не хотела и не могла оценить: трагическая сторона его положения от нее ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Бог создал его с даровитою, нежною и простой душою, Любовь

Гордеевну опять обвинила за отсутствие личности, как прежде Марью Андреевну. На второй акт комедии озлобилась критика за то, что автор без церемонии ввел публику в самый центр нравов, обычаев, веселья того быта, который он изображает, ввел с любовью, с благоговением к святыне народной жизни. Ложное положение критики дошло до крайности при появлении драмы «Не так живи, как хочется». Сколь ни стоит здесь выполнение ниже гениального замысла, все-таки замысел просвечивает в скудном очерке выполнения, и замысел этот уже совершенно был непонятен критике. Кроме того, критика начала изъявлять неудовольствие на язык, или, по ее выражению, на *жаргон,* которым писаны драмы Островского. Она и в самом деле наивно была уверена, что язык в комедиях Островского — местный провинциализм, странность, нечто вроде пейзанского жаргона, употребляемого, например, Мольером, в «Le Médicin malgré lui», в «Le Festin de pierre»[18] и других пьесах. Чего ж бы хотела критика? Чтобы лица драм Островского говорили не языком их быта? Да ведь это противоречило бы эстетическим положениям всякой

[18] Примечания: 18
«Лекарь поневоле», «Каменный гость» *(фр.).*

критики, даже и той, о которой в настоящую минуту мною припоминается, да и Островский притом художник такого рода, которому типы, при самом их создании, предстают не иначе как с своим языком каждый: иначе для него тип и немыслим.

С неудовольствием на жаргон драм Островского тесно связано было неудовольствие на самый быт, им изображаемый. Собственно, критика сама не знала, чего хотела; при появлении «Бедной невесты» раздались ее сетования, что Островский оставил быт, который он так мастерски изображает; потом она вопияла на то, что этот быт говорит своим языком, имеет свои, ей неведомые нравы, представляет свои типы, которые она не желала видеть выводимыми и в несуществовании которых она так жарко хотела убедить и себя, и других. *Непереносен* был ей этот быт — употребляя выражение комедий Островского, *непереносен* его язык, *непереносны* его типы; вот и вся разгадка. Не было критике дела ни до каких эстетических вопросов.

«Новое слово!» — употребляю теперь с некоторою гордостью это выражение, высокопарность которого выкуплена легкомысленным или недобросовестным посмеянием, которому оно

подверглось, — вот коренная, основная причина негодования старой критики на писателя, которому по всему праву, по общему признанию массы принадлежит, несмотря на его недавнее появление, несмотря на многие недостатки, несомненное первенство во всей драматической нашей литературе.

С 1847 до 1855 год (я беру пока все еще одну *первую* эпоху деятельности Островского) Островский написал всего только девять произведений, и из них только пять значительных по объему и шесть по содержанию; только четыре из них давались на театре, но эти четыре, без церемонии говоря, *создали* народный театр; частью создали, частью выдвинули вперед артистов, пробудили общее сочувствие всех классов общества, изменили во многих взгляд на русский быт, познакомили нас с типами, которых существования мы не подозревали и которые тем не менее, несомненно, существуют, с отношениями в высшей степени новыми и драматическими, с многоразличными сторонами русской души, и глубокими, и трогательными, и нежными, и разгульными сторонами, до которых никто еще не касался. Право гражданства литературного получило множество ярких, определенных образов,

новых, живых созданий в мире искусства, — и все это прошло без урока для критики. Талант уже породил толпу подражателей, и грубые подражания, вроде «Жениха из Ножевой линии», печатались в ее же журналах, а она продолжала глумиться над новым словом таланта.

А между тем новое слово Островского было ни более ни менее как *народность,* слово, собственно, уже *старое,* ибо стремления к народности начались в литературе нашей не с Островского, но действительно *новое* — потому что в его деятельности определилось оно точнее, яснее и проще, хотя, без сомнения, еще не окончательно.

III

Я знаю очень хорошо, что слово «народность», хоть оно, слава Богу, мной и не придумано, загадочного явления еще не объясняет; во-первых, потому, что оно слишком широко, а во-вторых, и потому, что само еще требует объяснения. Ведь и сатирик может быть народен, да еще как! Пример — в великом поэте Аристофане, великом поэте, которому не оставалось быть не чем иным, как только сатириком посреди жизни, когда-то цельной и прекрасной, в его время разлагавшейся; пример — в Грибоедове, великом и страстном

поэте, которому еще не во что было вкоренить идеалы души, который был отторгнут общим развитием верхних слоев общества от почвы, от народа, и тем же самым развитием высоко поставлен над поверхностью этих верхних слоев общества…

Положим, что я выразился яснее. Я народность противоположил чисто сатирическому отношению к нашей внутренней бытовой жизни, следовательно, и под народностию в Островском разумел объективное, спокойное, чисто поэтическое, а не напряженное, не отрицательное, не сатирическое отношение к жизни; положим, что я прежде всего поспешил высказать, что и творчество, и строй отношений к жизни, и манеру изображения, свойственные Островскому, считаю я совершенно различными от таковых же Гоголя. Все-таки народность — понятие очень широкое и тем менее объясняющее дело начисто, что наши собственные отношения к самому этому понятию, т. е. к народности, весьма шатки и неопределенны. Да вдобавок еще «народность» — бранное слово, т. е. не в смысле ругательного слова, а в смысле слова битвы, лозунга брани — битвы, кажется, единственной в летописях умственных браней человечества. В Германии

только раз в краткий период, который называется Sturm und Drang[19], в который Клопшток и его друзья возобновляли клятвы древних германцев перед Ирминовым дубом; там только мысль отстаивала народность своего народа; но ведь там это скоро и кончилось, а у нас вопросу о народности и конца как-то не предвидится. Не за то мы в нем боремся, за что боролись Клопшток и его друзья; те свое дело скоро и отстояли, потому что дело-то самое была борьба не за сущность народной жизни, а против условных форм чужеземного французского искусства. Кабы наше дело было такое же, мы бы давно его выиграли и сдали в архив. Да не такое оно, это наше дело. Ведь даже клятвы перед Ирминовым дубом представляют только внешнее сходство с ношением некоторыми из нас народной, да еще старой народной одежды: глубже и существеннее основы самого внешнего нашего донкихотства, так что руке тяжело подняться даже и назвать донкихотством то, что внутренне считаешь почти необходимым, хотя и внешним… Тяжелый вопрос для нас всех эта народность, вопрос чрезвычайно мудрый и, как жизнь сама, — иронический. Ведь

---

[19] Примечания: 19
Буря и натиск *(нем.). — Ред.*

вы посмотрите — я не хочу еще пока залезать вглубь, указывать на то, чем он начинался и чем кончается, — вы посмотрите на то, что вокруг нас, что теперь делается. «Русский вестник», некогда точивший яд на народность, с течением времен становился все милостивее и милостивее к вопросу о народности, а по выделении из его центрального единства кружка, основавшего «Атеней» и павшего (но, увы! не со славою, а без славы) в этом лагере вместе с знаменитыми положениями о том, что «австрийский солдат является цивилизатором славянских земель», — все более и более лишался своего антинационального цвета и ныне, к немалому удивлению всех нас, поборников народности в жизни, искусстве и науке, — печатает лирические выходки в пользу народности Ник. Вас. Берга и отстаивает разве только свою нелюбовь к русской одежде, да и то, я думаю, чтобы не совсем отступиться от своего первоначального цвета. Почему не ожидать после этого обращения к народности автора статей об обломовщине и о темном царстве? «Ничего! можно!» — как говорит Антип Антипич Пузатов…

Но прежде всего же для вас и для читающей публики должен я точнее определить смысл, в ко-

тором принимаю слово: народность литературы.

Как под именем народа разумеется народ в обширном смысле и народ в тесном смысле, так равномерно и под народностию литературы.

Под именем народа в обширном смысле разумеется целая народная личность, собирательное лицо, слагающееся из черт всех слоев народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, слагающееся, разумеется, не механически, а органически, носящее общую, типическую, характерную физиономию, физическую и нравственную, отличающую его от других, подобных ему собирательных лиц. Что такая личность слагается органически, а не механически, это я, кажется, напрасно и прибавил. Государства, как Австрия, могут слагаться механически, народы — никогда, они могут быть плохие народы, но никогда не бывают сочиненные народы.

Под именем народа в тесном смысле разумеется та часть его, которая наиболее, сравнительно с другими, находится в непосредственном, неразвитом состоянии.

Литература бывает народна в обширном смысле, когда она в своем *миросозерцании* отражает взгляд на жизнь, свойственный *всему* народу, определившийся только с большею точностью,

полнотою и, так сказать, художественностью в передовых его слоях; *в типах* — разнообразные, но общие, присущие общему сознанию, сложившиеся цельно и полно типы или стороны народной личности; *в формах* — красоту по народному пониманию, выработавшемуся до художественности представления, будь эта красота греческая, итальянская, фламандская, все равно; в *языке* — весь общий язык народа, развившийся на основании его коренных этимологических и синтаксических законов, следовательно, не язык *касты,* с одной стороны, не язык *местностей* — с другой. Чтобы не оставить и малейшего повода к недоразумениям, должно прибавить, что под передовыми слоями народа разумею я тоже не касты и не слои, случайно выдвинувшиеся, а верхи самосущного народного развития, ростки, которые сама из себя дала жизнь народа.

В тесном смысле литература бывает народна, когда она или 1) приноровляется к взгляду, понятиям и вкусам неразвитой массы для ее воспитания, или 2) изучает эту массу как terram incognitam[20], ее нравы, понятия, язык как нечто особенное, диковинное, чудное, ознакомливая

[20] Примечания: 20
Неизвестную землю *(лат.). — Ред.*

со всем этим особенным и чудным развитые и, может быть, пресытившиеся развитием слои. Во всяком случае, в том или в другом, существование такого рода народной литературы предполагает исторический факт разрозненности в народе, предполагает то обстоятельство, что народное развитие шло не путем общим, цельным, а раздвоенным.

Первого рода народность есть то, что на точном и установившемся языке цивилизации зовется nationalite[21], второго рода — то, что на нем же, в не слишком давние времена, получило определенный термин: popularite, litterature populaire[22].

В *первом* смысле народность литературы как национальность является понятием безусловным, в самой природе лежащим.

Во *втором* народная литература как litterature populaire есть нечто относительное, нечто обязанное своим происхождением болезненному в известной степени состоянию общественного организма, и притом вовсе не искусство, которое прежде всего свободно и никаких внешних,

---

[21] Примечания: 21
Национальность *(фр.). — Ред.*

[22] Примечания: 22
Народность, народная литература *(фр.). — Ред.*

поучительных, воспитательных, научных и социальных целей не допускает. Народная литература в этом, т. е. в тесном смысле относится не к художеству, а к педагогике или естественной истории.

Определения эти, как вы видите, просты и ясны в их логической постановке. Но опять-таки логическая постановка — не жизненная постановка. В жизни нашей они, эти простые определения, страшно запутались. По-видимому, нечего бы, кажется, и доказывать простую истину, что литература всякая, а следственно, и наша, чтобы быть чем-нибудь, чтобы не толочь воду, не толкаться попусту, должна быть народна, т. е. национальна, равно как другие искусства, равно как наука, равно как жизнь, — а ведь к этому результату, простому как 2x2 = 4, мы только что понемногу приходим после многих и, надобно признаться, безобразных споров о том, что 2 x 2 = 4, а не стеариновая свечка.

С другой стороны, дело в высшей степени простое и ясное, что *народная* литература в тесном смысле является или вследствие пресыщения цивилизацией, как крестьянские романы Занда, деревенские рассказы Ауэрбаха, и в XIX веке служит отчасти повторением стремлений Жан-Жака

Руссо к диким, или, как у нас, есть выражение насущной потребности сблизить два разрозненных развития в народном организме. В действительности опять-таки это понятие запуталось до того, что только бессердечные и безучастные к жизни эстетики могут быть в отношении к нему последовательны, могут отозваться с высоты эстетического величия об этой литературе, и в их эстетическом величии выскажется для всякого тупое равнодушие к великим вопросам жизни, если еще не что-либо худшее.

Вот тут подите и ставьте логические определения, если вы человек из плоти и крови…

Ясно, например, что, говоря о народности по отношению к Островскому или об Островском как о народном писателе, я употребляю слова: народность, народный — в смысле слов: национальность, национальный.

Но ведь на этом смысле слова многие не помирятся и будут правы, что не помирятся. Островский, скажут, конечно, писатель, берущий содержание своей деятельности из известного быта, народного в тесном, а не в обширном смысле слова, быта *неразвитых* слоев общества. Или, скажут мне далее, вы считаете Островского народным писателем в смысле писателя из

народного быта, или вы самый этот быт, из которого Островский берет содержание для своего творчества, зовете единственно, исключительно, по крайней мере преимущественно народным.

IV

Прежде чем отвечать на эти вопросы прямо и положительно, я попрошу позволения обыследовать их отрицательным способом как легчайшим для вразумления и спрошу: можно ли причислить Островского к категории писателей из народного быта в том смысле, в каком мы привыкли называть так хоть бы, например, гг. Григоровича, Потехина и других?

Из прямого сопоставления деятельности Островского с их деятельностью очевидна окажется несообразность такого сопоставления.

Писателей из народного быта, специально посвятивших себя воспроизведению этого быта в литературе, было у нас до сих пор два рода.

Одни, и это были первые выступившие и наиболее прославившиеся, как будто заезжие иностранцы, представляли публике свои записные книжки, куда вносили чудные, странные речи, описание чудных, странных нравов и т. д. Таков г. Григорович, о котором в наше время да-

же и критической статьи не напишешь, ибо все, что можно о нем сказать дельного, выражается в немногих словах; то, в чем он большой мастер: изображение петербургской мелочной и суетной жизни и анализ болезни нравственного лакейства, — столь же мало стоило художественной разработки, как очерки жизни дам петербургского полусвета, предмет постоянной и любимой деятельности другого, тоже даровитого писателя г. Панаева. В том же, что стоило художественной разработки, в изображении типов и нравов крестьянского быта, г. Григорович не только что не мастер, а решительно заезжий иностранец. Он не владеет даже языком синтаксически свободно, и единственная критика на него была бы — перевод любой из его страниц якобы *народных* разговоров на простой и свободный народный язык. Что касается до типов, то все они сочинены по Жорж Занду, да и вся-то деятельность г. Григоровича на этом поприще пошла от Жорж Занда. Тем только разнится от Занда г. Григорович, что Занда всюду, даже в самых ложных ее произведениях по этой части, занимает человек, анализ души человеческой, а г. Григорович — чисто ландшафтный живописец, да и то не с широкой кистью, и людские фигурки у него большею частию постав-

лены для украшения ландшафта. Прибавьте к этому однообразную до противности *деланность* постройки произведений г. Григоровича, и вы поймете некоторое отвращение, которое деятельность этого, впрочем весьма даровитого в других отношениях, сочинителя на поприще изображений народного быта возбуждала и возбуждает в людях, знающих народный быт не по слуху. Вообще, это *пейзанская*, а не народная литература. Несомненное благородство стремлений и важность впервые поднятых вопросов относятся к гражданским, а не к поэтическим заслугам.

Другого рода писатели, выступившие после, были уже полными хозяевами в изображаемом ими быту, были чистые специалисты, или, пожалуй, жанристы — в лучшем смысле этого слова, как *г. Максимов*, или в худшем, как *г. Потехин*. Последний может быть очевидным доказательством того, как крайность художественного специализма, или жанризм в худшем смысле этого слова, противоречит понятию об искусстве; и его же запечатленная все-таки некоторым, и даже, пожалуй, сильным, талантом, обличающая не то что простое короткое знакомство с изображаемым им бытом, а непосредственное с ним слияние, деятельность, сопоставленная и

сравненная с деятельностью Островского, освещает эту последнюю ярким светом. Г-н Потехин, выступивший в своих первых, грубых, как и все последующие, но оригинальных по содержанию и характерам повестях полным хозяином языка и нравов избранной им сферы, в драмах своих стал, как специалист, как жанрист, развивать общие народные задачи или мотивы Островского. Островский написал «Не в свои сани не садись»; г. Потехин увлекся, разумеется, невольно типом Русакова и драматическим отношением отца и дочери и дал публике «Людской суд — не Божий», где тип Русакова перевел в жанр, судьбу дочери — в печальную мелодраму, общедоступное патетическое — в отвратительный вой кликуши. Островский в личности Петра Ильича тронул несколькими художественными чертами размашистую до беспутства широту русской натуры. Г-н Потехин поэтический, хотя только слегка тронутый поэтом тип Петра Ильича изуродовал в неуемном мужике, три акта пьянствующем и наконец в четвертом доходящем с пьяных глаз до уголовщины в драме (!) «Чужое добро впрок нейдет», — всех женщин Островского обратил в баб, баб-кликуш, баб-плакальщиц, баб-завывальщиц. Никто не заподозрит меня, конечно, в том,

чтобы я с презрением эстетиков-аристократов употреблял слова: *мужик* и *баба,* — я хотел только указанием на жанризм пояснить деятельность Островского. Его типы — не жанр, не специальность быта, не мужики, не бабы, хотя по местам, где это нужно, мужики, даже еще специальнее: ямщики, — бабы разного рода: бабы-халды, бабы плакущие являются у него с своею особенной физиономиею. У него русские люди и русские женщины в их наиболее общих определениях, в их существенных чертах являются как типы, а не как жанр.

Бесприданница
Драма в четырех действиях

Действие первое

Действующие лица

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.

Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица, одета богато, но скромно.

Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием.

Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы, по костюму европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник.

Сергей Сергеич Паратов, блестящий барин, из судохозяев, лет за 30.

Робинзон.

Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре.

Иван, слуга в кофейной.

Действие происходит в настоящее время, в большом городе Бряхимове, на Волге. Городской

бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой перед кофейной. Направо (от актеров) — вход в кофейную, налево — деревья; в глубине низкая чугунная решетка, за ней — вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и проч. На площадке столы и стулья: один стол на правой стороне, подле кофейной, другой — на левой.

Явление первое

Гаврило стоит в дверях кофейной, Иван приводит в порядок мебель на площадке.

Иван. Никого народу-то нет на бульваре.

Гаврило. По праздникам всегда так. По старине живем: от поздней обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдых.

Иван. Уж и семь! Часика три-четыре. Хорошее это заведение.

Гаврило. А вот около вечерен проснутся, попьют чайку до третьей тоски…

Иван. До тоски! Об чем тосковать-то?

Гаврило. Посиди за самоваром поплотнее, поглотай часа два кипятку, так узнаешь. После шестого пота она, первая-то тоска, подступает… Расстанутся с чаем и выползут на бульвар раз-

дышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет: вон Мокий Парменыч Кнуров проминает себя.

Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он так себя утруждает?

Гаврило. Для моциону.

Иван. А моцион для чего?

Гаврило. Для аппетиту. А аппетит нужен ему для обеда. Какие обеды-то у него! Разве без моциону такой обед съешь!

Иван. Отчего это он все молчит?

Гаврило. «Молчит»! Чудак ты... Как же ты хочешь, чтоб он разговаривал, коли у него миллионы! С кем ему разговаривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем; ну, он и молчит. Он и живет здесь не подолгу от этого от самого; да и не жил бы, кабы не дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за границу, там ему просторнее.

Иван. А вот Василий Данилыч из-под горы идет. Вот тоже богатый человек, а разговаривает.

Гаврило. Василий Данилыч еще молод; малодушеством занимается; еще мало себя понимает, а в лета войдет, такой же идол будет.

Слева выходит Кнуров и, не обращая внимания

на поклоны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает. Справа входит Вожеватов.

Явление второе

Кнуров, Вожеватов, Гаврило, Иван.

Вожеватов *(почтительно кланяясь).* Мокий Парменыч, честь имею кланяться!

Кнуров. А! Василий Данилыч! *(Подает руку.)* Откуда?

Вожеватов. С пристани. *(Садится.)*

Гаврило подходит ближе.

Кнуров. Встречали кого-нибудь?

Вожеватов. Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю.

Гаврило. Не «Ласточку» ли, Василий Данилыч?

Вожеватов. Да, «Ласточку». Ачто?

Гаврило. Резво бегает, сильный пароход.

Вожеватов. Да вот обманул Сергей Сергеич, не приехал.

Гаврило. Вы их с «Самолетом» ждали, а они, может, на своем приедут, на «Ласточке».

Иван. Василий Данилыч, да вон еще пароход бежит сверху.

Вожеватов. Мало ль их по Волге бегает.

Иван. Это Сергей Сергеич едут.

Вожеватов. Ты думаешь?

Иван. Да похоже, что они-с… Кожухи-то на «Ласточке» больно приметны.

Вожеватов. Разберешь ты кожухи за семь верст.

Иван. За десять разобрать можно-с… Да и ходко идет, сейчас видно, что с хозяином.

Вожеватов. Адалеко?

Иван. Из-за острова вышел. Так и выстилает, так и выстилает.

Гаврило. Ты говоришь, выстилает?

Иван. Выстилает. Страсть! Шибче «Самолета» бежит, так и меряет.

Гаврило. Они едут-с.

Вожеватов *(Ивану).* Так ты скажи, как приставать станут.

Иван. Слушаю-с… Чай, из пушки выпалят.

Гаврило. Беспременно.

Вожеватов. Из какой пушки?

Гаврило. У них тут свои баржи серёд Волги на якоре.

Вожеватов. Знаю.

Гаврило. Так на барже пушка есть. Когда Сергея Сергеича встречают или провожают, так всегда палят. *(Взглянув в сторону за кофейную.)* Вон и коляска за ними едет-с, извощицкая, Чиркова-с! Видно, дали знать Чиркову, что приедут. Сам хозяин Чирков на козлах. Это за ними-с.

Вожеватов. Да почем ты знаешь, что за ними?

Гаврило. Четыре иноходца в ряд, помилуйте, за ними. Для кого же Чирков такую четверню сберет! Ведь это ужасти смотреть… как львы… все четыре на трензелях! А сбруя-то, сбруя-то! За ними-с.

Иван. И цыган с Чирковым на козлах сидит, в парадном казакине, ремнем перетянут так, что того гляди переломится.

Гаврил о. Это за ними-с. Некому больше на такой четверке ездить. Они-с.

Кнуров. С шиком живет Паратов.

Вожеватов. Уж чего другого, а шику довольно.

Кнуров. Дешево пароход-то покупаете?

Вожеватов. Дешево, Мокий Парменыч!

Кнуров. Да, разумеется; а то что за расчет покупать. Зачем он продает?

Вожеватов. Знать, выгоды не находит.

Кнуров. Конечно, где ж ему! Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, особенно, коли дешево-то

купите.

Вожеватов. Нам кстати: у нас на низу грузу много.

Кнуров. Не деньги ль понадобились… он ведь мотоват.

Вожеватов. Его дело. Деньги у нас готовы.

Кнуров. Да, с деньгами можно дела делать, можно. *(С улыбкой.)* Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много.

Вожеватов. Дурно ли дело! Вы сами, Мокий Парменыч, это лучше всякого знаете.

Кнуров. Знаю, Василий Данилыч, знаю.

Вожеватов. Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменыч?

Кнуров. Что вы, утром-то! Я еще не завтракал…

Вожеватов. Ничего-с. Мне один англичанин — он директор на фабрике — говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак пить. А я вчера простудился немного.

Кнуров. Каким образом? Такое тепло стоит.

Вожеватов. Да все им же и простудился-то: холодно очень подали.

Кнуров. Нет, что хорошего; люди посмотрят, скажут: ни свет ни заря — шампанское пьют.

Вожеватов. А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить.

Кнуров. Ну, чай — другое дело.

Вожеватов *(Гавриле).* Гаврило, дай-ка нам чайку моего, понимаешь?.. Моего!

Гаврило. Слушаю-с. *(Уходит.)*

Кнуров. Вы разве особенный какой пьете?

Вожеватов. Да все то же шампанское, только в чайники он разольет и стаканы с блюдечками подаст.

Кнуров. Остроумно.

Вожеватов. Нужда-то всему научит, Мокий Парменыч!

Кнуров. Едете в Париж-то, на выставку?

Вожеватов. Вот куплю пароход да отправлю его вниз за грузом и поеду.

Кнуров. И я на днях: уж меня ждут.

Гаврило приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана.

Вожеватов *(наливая).* Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса Дмитриевна замуж выходит.

Кнуров. Как замуж? Что вы! За кого?

Вожеватов. За Карандышева.

Кнуров. Что за вздор такой! Вот фантазия! Ну, что такое Карандышев! Не пара ведь он ей, Василий Данилыч!

Вожеватов. Какая уж пара! Да что ж делать-то,

где взять женихов-то? Ведь она бесприданница.

Кнуров. Бесприданницы-то и находят женихов хороших.

Вожеватов. Не то время. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало; а теперь женихов-то в самый обрез; сколько приданых, столько и женихов, лишних нет — бесприданницам-то и недостает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были?

Кнуров. Бойкая женщина.

Вожеватов. Она, должно быть, не русская.

Кнуров. Отчего?

Вожеватов. Уж очень проворна.

Кнуров. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фамилия порядочная, и вдруг за какого-то Карандышева!.. Да с ее-то ловкостью… всегда полон дом холостых…

Вожеватов. Ездить-то к ней — все ездят, — потому что весело очень: барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное, оно и тянет… Ну, а жениться-то надо подумавши.

Кнуров. Ведь выдала же она двух.

Вожеватов. Выдать-то выдала, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую увез

какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была… Как увидал, затрясся, заплакал даже — так две недели и стоял подле нее, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал, да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер.

Кнуров. Огудалова разочла не глупо: состояние небольшое, давать приданое не из чего, так она живет открыто, всех принимает.

Вожеватов. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже и на такую жизнь недостает.

Кнуров. Где же она берет?

Вожеватов. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся… Потом на приданое возьмет с жениха, а приданого не спрашивай.

Кнуров. Ну, я думаю, не одни женихи платятся, а и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится.

Вожеватов. Не разорюсь, Мокий Парменыч! Что ж делать, за удовольствия платить надо: они даром не достаются; а бывать у них в доме большое удовольствие.

Кнуров. Действительно, удовольствие, это вы правду говорите.

Вожеватов. А сами почти никогда не бываете.

Кнуров. Да неловко: много у них всякого сброду бывает, потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут. Вот, например, Карандышев, ну, что за знакомство для меня!

Вожеватов. Да, у них в доме на базар похоже.

Кнуров. Ну, что хорошего! Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями, так и жужжат, не дают с ней слова сказать. Приятно с ней одной почаще видеться — без помехи.

Вожеватов. Жениться надо.

Кнуров. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и захочет; вот я, например, женатый.

Вожеватов. Так уж нечего делать… Хорош виноград, да зелен, Мокий Парменыч.

Кнуров. Выдумаете?

Вожеватов. Видимое дело. Не таких правил люди: мало ль случаев-то было, да вот не польстились, хоть за Карандышева, да замуж.

Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку.

Вожеватов. Да, не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Мокий Парменыч!

Кнуров. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?

Вожеватов. Где мне! Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет: воспитание, знаете ли, такое, уж очень нравственное, патриархальное получил.

Кнуров. Нуда, толкуйте! У вас шансов больше моего: молодость — великое дело. Да и денег не пожалеете; дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь, чай, не дешевле «Ласточки» обошлось бы!

Вожеватов. Всякому товару цена есть, Мокий Парменыч! Я хоть молод, а не зарвусь: лишнего не передам.

Кнуров. Не ручайтесь! Долго ли с вашими летами влюбиться; а уж тогда какие расчеты!

Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменыч, в себе этого совсем не замечаю.

Кнуров. Чего?

Вожеватов. А вот что любовью-то называют.

Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете. А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие.

Вожеватов. Да в чем моя близость! Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают.

Кнуров. Развращаете, значит, понемножку.

Вожеватов. Да мне что! Я ведь насильно не навязываю… Что ж мне об ее нравственности заботиться! Я ей — не опекун.

Кнуров. Я все удивляюсь, неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, совсем женихов не было?

Вожеватов. Были; да ведь она простовата.

Кнуров. Как простовата? То есть глупа?

Вожеватов. Не глупа, а хитрости нет, не в матушку. У той все хитрость да лесть, а эта вдруг, ни с того ни с сего, и скажет, что не надо.

Кнуров. То есть правду?

Вожеватов. Да, правду; а бесприданницам так нельзя. К кому расположена, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на него не могла, а он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез неизвестно куда.

Кнуров. Что ж с ним сделалось?

Вожеватов. Кто его знает; ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Какая чувствительная! *(Смеется.)* Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила.

Кнуров. А после Паратова были женихи?

Вожеватов. Набегали двое: старик какой-то с подагрой да разбогатевший управляющий какого-то князя, вечно пьяный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было: маменька приказывает.

Кнуров. Однако положение ее незавидное.

Вожеватов. Да, смешно даже. У ней иногда слезинки на глазах, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот бросал деньгами-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да недолго покуражился: у них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый! *(Смеется.)* С месяц Огудаловым никуда глаз показать было нельзя. Тут уж Лариса наотрез матери объявила: «Довольно, говорит, с нас сраму-то; за первого пойду, кто посватается, богат ли, беден ли, разбирать не буду». А Карандышев и тут как тут с предложением.

Кнуров. Откуда взялся этот Карандышев?

Вожеватов. Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать не гнали, а и почету большого не было. Когда перемежка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтоб не совсем пусто было в доме. А как, бывало, набежит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть

на Карандышева; и не говорят с ним, и не смотрят на него. А он-то, в углу сидя, разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех… А то вот потеха-то: был у них как-то, еще при Паратове, костюмированный вечер; так Карандышев оделся разбойником; взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сергеича.

Кнуров. И что же?

Вожеватов. Топор отняли и переодеться велели; а то, мол, пошел вон!

Кнуров. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю.

Вожеватов. Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что смеху-то! Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей да уехать в свое именьишко, пока разговоры утихнут, так и Огудаловым хотелось; а он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что того гляди наткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется — едва кивает; тон какой взял; прежде и не слыхать его было, а теперь все «я да я, я хочу, я желаю».

Кнуров. Как мужик русский: мало радости, что пьян, надо поломаться, чтоб все видели. Поло-

мается, поколотят его раза два, ну он и доволен, и идет спать.

Вожеватов. Да, кажется, и Карандышеву не миновать.

Кнуров. Бедная девушка; как она страдает, на него глядя, я думаю.

Вожеватов. Квартиру свою вздумал отделывать, вот чудит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских навешал: уж диви бы охотник, а то и ружье-то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь — человек самолюбивый, завистливый. Лошадь из деревни выписал, клячу какую-то разношерстную; кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну; сидит так гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит, так кричит городовому: «Прикажи подавать мой экипаж!» Ну, и подъезжает этот экипаж с музыкой, все винты, все гайки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещутся, как живые.

Кнуров. Жаль бедную Ларису Дмитриевну, жаль… Вожеватов. Что это вы очень жалостливы стали?

Кнуров. Да разве вы не видите, что эта жен-

щина создана для роскоши. Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует.

Вожеватов. И хорошего ювелира.

Кнуров. Совершенную правду вы сказали. Ювелир — не простой мастеровой, он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или опошлится.

Вожеватов. А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь еще она как убитая; а вот оправится да поглядит на мужа попристальнее, каков он… *(Тихо.)* Вот они, легки на помине-то…

Входят Карандышев, Огудалова, Лариса. Вожеватов встает и кланяется, Кнуров вынимает газету.

Явление третье

Кнуров, Вожеватов, Карандышев, Огудалова; Лариса в глубине садится на скамейку у решетки и смотрит в бинокль за Волгу. Гаврил о, Иван.

Огудалова *(подходя к столу).* Здравствуйте, господа!

Карандышев подходит за ней. Вожеватов по-

дает руку Огудаловой и Карандышеву. Кнуров, молча и не вставая с места, подает руку Огудаловой, слегка кивает Карандышеву и погружается в чтение газеты.

Вожеватов. Харита Игнатьевна, присядьте, милости просим! *(Подвигает стул.)*

Огудалова садится.

Чайку не прикажете ли?

Карандышев садится поодаль.

Огудалова. Пожалуй, чашку выпью.

Вожеватов. Иван, подай чашку да прибавь кипяточку!

Иван берет чайник и уходит.

Карандышев. Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь.

Вожеватов. Жажда, Юлий Капитоныч, а что пить — не знаю. Посоветуйте — буду очень благодарен.

Карандышев *(смотрит на часы).* Теперь полдень, можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так завтракаю.

Вожеватов *(Огудаловой).* Вот жизнь-то, Харита

Игнатьевна, позавидуешь! *(Карандышеву.)* Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки да винца! Нам так нельзя-с, пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все: вы капиталу не проживете, потому его нет, а уж мы такие горькие зародились на свет, у нас дела очень велики, так нам разума-то терять и нельзя.

Иван подает чайник и чашку.

Пожалуйте, Харита Игнатьевна! *(Наливает и подает чашку.)* Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю.

Огудалова. Чай-то холодный, только, Вася, ты мне крепко налил.

Вожеватов. Ничего-с. Выкушайте, сделайте одолжение! На воздухе не вредно.

Карандышев *(Ивану).* Приходи ко мне сегодня служить за обедом!

Иван. Слушаю-с, Юлий Капитоныч!

Карандышев. Ты, братец, почище оденься!

Иван. Известно дело, фрак; нешто не понимаем-с!

Карандышев. Василий Данилыч, вот что: приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня!

Вожеватов. Покорно благодарю… Мне тоже во

фраке прикажете?

Карандышев. Как вам угодно, не стесняйтесь. Однако дамы будут.

Вожеватов *(кланяясь).* Слушаю-с. Надеюсь не уронить себя.

Карандышев *(переходит к Кнурову).* Мокий Парменыч, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?

Кнуров *(судивлением оглядывает его).* У вас?

Огудалова. Мокий Парменыч, это все равно, что у нас, — этот обед для Ларисы.

Кнуров. Да, так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду.

Карандышев. Так уж я буду надеяться.

Кнуров. Уж я сказал, что приеду. *(Читает газету.)*

Огудалова. Юлий Капитоныч — мой будущий зять, я выдаю за него Ларису.

Кнуров *(продолжая читать).* Это ваше дело.

Карандышев. Да-с, Мокий Парменыч, я рискнул. Я вообще всегда был выше предрассудков…

Кнуров закрывается газетой.

Вожеватов/ *Огудаловой).* Мокий Парменыч строг…

Карандышев *(отходя от Кнурова к Вожевато-*

ву). Я желаю, чтоб Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди.

Вожеватов. Значит, и я к избранному обществу принадлежу? Благодарю, не ожидал. *(Гавриле.)* Гаврило, сколько с меня за чай?

Гаврило. Две порции изволили спрашивать?

Вожеватов. Да, две порции.

Гаврило. Так уж сами знаете, Василий Данилыч, не в первый раз… Тринадцать рублей-с…

Вожеватов. То-то, я думал, что подешевле стало.

Гаврило. С чего дешевле-то быть? Курсы, пошлина, помилуйте!

Вожеватов. Да ведь я не спорю с тобой, что ты пристаешь! Получай деньги и отстань! *(Отдает деньги.)*

Карандышев. За что так дорого, я не понимаю.

Гаврило. Кому дорого, а кому нет… Вы такого чаю не кушаете.

Огудалова *(Карандышеву).* Перестаньте вы, не мешайтесь не в свое дело!

Иван. Василий Данилыч, «Ласточка» подходит.

Вожеватов. Мокий Парменыч, «Ласточка» подходит, не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим.

Кнуров. Пойдемте. Любопытно. *(Встает.)*

Огудалова. Вася, я доеду на твоей лошади.

Вожеватов. Поезжайте, только пришлите поскорей! *(Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо.)*

Огудалова *(подходит к Кнурову).* Мокий Парменыч, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот…

Кнуров. Да…

Огудалова. И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать… Вот завтра рожденье Ларисы, хотелось бы что-нибудь подарить…

Кнуров. Хорошо, я к вам заеду.

Огудалова уходит.

Лариса. *(Вожеватову).* До свидания, Вася!

Вожеватов и Кнуров уходят.

Лариса подходит к Карандышеву.

Явление четвертое

Карандышев, Лариса.

Лариса. Я сейчас все за Волгу смотрела; как там хорошо, на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!

Карандышев. Вы за Волгу смотрели. А что с вами Вожеватов говорил?

Лариса. Ничего, так, пустяки какие-то. Меня так и манит за Волгу, в лес… *(Задумчиво.)* Уедемте, уедемте отсюда.

Карандышев. Однако это странно! Об чем он мог с вами разговаривать?

Лариса. Ах, да об чем бы он ни говорил, что вам за дело!

Карандышев. Называете его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком?

Лариса. Мы с малолетства знакомы; еще маленькие играли вместе; ну, я и привыкла.

Карандышев. Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым, глупым мальчиком. Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было.

Лариса *(обидясь).* У нас ничего дурного не было.

Карандышев. Был цыганский табор-с, вот что было.

Лариса утирает слезы.

Чем же вы обиделись, помилуйте!

Лариса. Что ж, может быть, и цыганский табор; только в нем было по крайней мере весело. Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?

Карандышев. Уж конечно.

Лариса. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке, значит, волей или неволей, я должна была вести такую жизнь… Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно. Если б я не искала тишины, уединения, не захотела бежать от людей, разве бы я пошла за вас? Так умейте это понять и не приписывайте моего выбора своим достоинствам, я их еще не вижу. Я еще только хочу полюбить вас, меня манит скромная семейная жизнь, она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье: поддержите меня, мне нужно ободрение, сочувствие; относитесь ко мне нежно, с лаской! Ловите эти минуты и не пропустите их!

Карандышев. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть, это я сказал так.

Лариса. Что значит «так»? То есть не подумавши; вы не понимаете, что в ваших словах обида, так, что ли?

Карандышев. Конечно, я без умыслу.

Лариса. Так это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь. Болтайте с другими, если вам нравится, а со мной говорите осторожнее. Разве вы

не видите, что положение мое очень серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна.

Карандышев. В таком случае я прошу извинить меня.

Лариса. Да Бог с вами, только вперед будьте осторожнее! *(Задумчиво.)* Цыганский табор… Да, это, пожалуй, правда… но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди.

Карандышев. Кто же эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеич Паратов?

Лариса. Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем.

Карандышев. Да почему же-с?

Лариса. Вы его не знаете, да хоть бы и знали, так… извините, не вам о нем судить.

Карандышев. Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами?

Лариса. Это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, так не позволю и вам.

Карандышев. Лариса Дмитриевна, скажите мне, только, прошу вас, говорите откровенно!

Лариса. Что вам угодно?

Карандышев. Ну, чем я хуже Паратова?

Лариса. Ах, нет, оставьте.

Карандышев. Позвольте, отчего же?

Лариса. Не надо, не надо! Что за сравнения!

Карандышев. А мне бы интересно было слышать от вас.

Лариса. Не спрашивайте, не нужно!

Карандышев. Да почему же?

Лариса. Потому что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите: вы хороший, честный человек, но от сравнения с Сергеем Сергеичем вы теряете все.

Карандышев. Ведь это только слова, нужны доказательства. Вы разберите нас хорошенько.

Лариса. С кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление… Сергей Сергеич… это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Быть может, я ошибаюсь, я еще молода, не знаю людей; но это мнение изменить во мне нельзя, оно умрет со мною!

Карандышев. Не понимаю-с, не понимаю, что в нем особенного; ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость… Да это всякий может, если захочет.

Лариса. Да вы знаете, какая это смелость?

Карандышев. Да какая ж такая, что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя.

Лариса. А вот какая, я вам расскажу один случай. Проезжал здесь один кавказский офицер,

знакомый Сергея Сергеича, отличный стрелок; были они у нас, Сергей Сергеич и говорит: «Я слышал, вы хорошо стреляете». — «Да, недурно», — говорит офицер. Сергей Сергеич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на двенадцать. «Стреляйте», — говорит.

Карандышев. И он стрелял?

Лариса. Стрелял и, разумеется, сшиб стакан, но только побледнел немного. Сергей Сергеич говорит: «Вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину и человека вам не близкого. Смотрите, я буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете, и не побледнею». Дает мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее.

Карандышев. И вы послушали его?

Лариса. Да разве можно его не послушать?

Карандышев. Разве уж вы были так уверены в нем?

Лариса. Что вы! Да разве можно быть в нем неуверенной?

Карандышев. Сердца нет, оттого он так и смел.

Лариса. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые

были с ним.

Карандышев. Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере в глазах ваших; а что такое этот купчик Вожеватов, этот ваш Вася?

Лариса. Вы не ревновать ли? Нет, уж вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого, я вам заранее говорю. Не бойтесь, я не люблю и не полюблю никого.

Карандышев. А если б явился Паратов?

Лариса. Разумеется, если б явился Сергей Сергеич и был свободен, так довольно одного его взгляда… Успокойтесь, он не явился, а теперь хоть и явится, так уж поздно. Вероятно, мы никогда и не увидимся более.

На Волге пушечный выстрел.

Что это?

Карандышев. Какой-нибудь купец-самодур слезает с своей баржи, так в честь его салютуют.

Лариса. Ах, как я испугалась!

Карандышев. Чего, помилуйте!

Лариса. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться?

Карандышев. Ушибиться! Тут верная смерть:

внизу мощено камнем. Да, впрочем, тут так высоко, что умрешь прежде, чем долетишь до земли.

Лариса. Пойдемте домой, пора!

Карандышев. Да и мне нужно: у меня ведь обед.

Лариса *(подойдя к решетке).* Подождите немного. *(Смотрит вниз.)* Ай, ай, держите меня!

Карандышев *(берет Ларису за руку).* Пойдемте, что за ребячество!

Уходят.

Гаврило, Иван выходят из кофейной.

Явление пятое

Гаврило, Иван.

Иван. Пушка! Барин приехал, барин приехал, Сергей Сергеич.

Гаврило. Я говорил, что он. Уж я знаю: видно сокола по полету.

Иван. Коляска пустая в гору едет, значит, господа пешком идут… Да вот они! *(Убегает в кофейную.)*

Гаврило. Милости просим. Чем только их потчевать-то, не сообразишь.

Входят Паратов (черный однобортный сюртук

в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через плечо дорожная сумка), Робинзон (в плаще, правая пола закинута на левое плечо, мягкая высокая шляпа надета набок), Кнуров, Вожеватов. Иван выбегает из кофейной с веничком и бросается обметать Паратова.

Явление шестое

Паратов, Робинзон, Кнуров, Вожеватов, Гаврило, Иван.

Паратов *(Ивану).* Да что ты! Я с воды… на Волге-то не пыльно.

Иван. Все-таки, сударь, нельзя же… порядок требует. Целый год-то вас не видали, да чтобы… с приездом, сударь…

Паратов. Ну, хорошо, спасибо! На! *(Дает ему рублевую бумажку.)*

Иван. Покорнейше благодарим-с. *(Отходит.)*

Паратов. Так вы меня, Василий Данилыч, с «Самолетом» ждали?

Вожеватов. Да ведь я не знал, что вы на своей «Ласточке» прилетите; я думал, что она с баржами идет.

Паратов. Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано утром приехать, мне хотелось обогнать

«Самолет», да трус машинист. Кричу кочегарам: «Шуруй!» — а он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи: «Если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь». Боялся, что котел не выдержит, цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка; у них арифметика вместо души-то. А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. Мокий Парменыч, Василий Данилыч, рекомендую — Робинзон.

Робинзон важно раскланивается и подает руку Кнурову и Вожеватову.

Вожеватов. А как их по имени и отчеству?

Паратов. Так, просто Робинзон, без имени и отчества.

Робинзон *(Паратову).* Серж!

Паратов. Что тебе?

Робинзон. Полдень, мой друг, я стражду.

Паратов. А вот погоди, в гостиницу приедем.

Робинзон *(показывая на кофейную).* Voilá![23]Паратов. Ну, ступай, черт с тобой!

Робинзон идет в кофейную.

---

[23] Примечания: 23
Вот! *(фр.)*

Гаврило, ты этому барину больше одной рюмки не давай; он характера непокойного.

Робинзон *(пожимая плечами).* Серж! *(Уходит в кофейную, Гаврило за ним.)*

Паратов. Это, господа, провинциальный актер, Счастливцев Аркадий.

Вожеватов. Почему же он Робинзон?

Паратов. А вот почему: ехал он на каком-то пароходе, уж не знаю, с другом своим, с купеческим сыном Непутевым, разумеется, оба пьяные, до последней возможности. Творили они, что только им в голову придет, публика все терпела. Наконец, в довершение безобразия, придумали драматическое представление: разделись, разрезали подушку, вывалялись в пуху и начали изображать диких; тут уж капитан, по требованию пассажиров, и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, поднявши руки кверху. Я сейчас «стоп», сажусь сам в шлюпку и обретаю артиста Счастливцева. Взяв его на пароход, одел с ног до головы в свое платье, благо у меня много лишнего. Господа, я имею слабость к артистам… Вот почему он Робинзон.

Вожеватов. А Непутевый на острове остался?

Паратов. Да, на что он мне; пусть проветрит-

ся. Сами посудите, господа, ведь в дороге скука смертная, всякому товарищу рад.

Кнуров. Еще бы, конечно.

Вожеватов. Это такое счастье, такое счастье! Вот находка-то золотая!

Кнуров. Одно только неприятно: пьянством одолеет.

Паратов. Нет, со мной, господа, нельзя, я строг на этот счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено, а у меня как попросит, так я ему в руки французские разговоры, на счастье нашлись у меня; изволь прежде страницу выучить, без того не дам… Ну и учит сидит. Как старается!

Вожеватов. Эко вам счастье, Сергей Сергеич! Кажется, ничего б не пожалел за такого человека, а нет как нет. Он хороший актер?

Паратов. Ну, нет, какой хороший! Он все амплуа прошел и в суфлерах был; а теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит.

Вожеватов. Значит, веселый?

Паратов. Потешный господин.

Вожеватов. А пошутить с ним можно?

Паратов. Ничего, он не обидчив… Вот отводите свою душу, могу его вам дня на два, на три предоставить.

Вожеватов. Очень благодарен. Коли придет по

нраву, так не останется внакладе.

Кнуров. Как это вам, Сергей Сергеич, не жаль «Ласточку» продавать?

Паратов. Что такое «жаль», этого я не знаю. У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданое золотые прииски.

Вожеватов. Приданое хорошее.

Паратов. Но достается оно мне не дешево; я должен проститься с моей свободой, с моей веселой жизнью. Поэтому надо постараться как можно повеселее провести последние дни.

Вожеватов. Будем стараться, Сергей Сергеич, будем стараться.

Паратов. Отец моей невесты — важный чиновный господин, старик строгий: он слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем; даже не любит, кто много курит табаку. Тут уж надевай фрак и parlez frangais![24] Вот я теперь и практикуюсь с Робинзоном. Только он, для важности, что ли, уж не знаю, зовет меня «ля Серж», а не просто «Серж». Умора!

---

[24] Примечания: 24
Говорите по-французски! *(фр.)*

На крыльце кофейной показывается Робинзон, что-то жует, за ним Гаврило.

Явление седьмое

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило, Иван.

Паратов *(Робинзону).* Que faites-vous la? Venez![25]

Робинзон *(с важностью).* Comment?[26]

Паратов. Что за прелесть! Каков тон, господа! *(Робинзону).* Оставь ты эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира.

Вожеватов. Да, это за ними водится.

Робинзон. Ля Серж, ты уж успел… Очень нужно было.

Паратов. Да, извини, я твой псевдоним раскрыл.

Вожеватов. Мы, Робинзон, тебя не выдадим, ты у нас так за англичанина и пойдешь.

Робинзон. Как, сразу на «ты»? Мы с вами бру-

---

[25] Примечания: 25
Что вы там делаете? Идите сюда! *(фр.)*

[26] Примечания: 26
Как? (фр.)

дершафт не пили.

Вожеватов. Это все равно… Что за церемонии!

Робинзон. Но я фамильярности не терплю и не позволяю всякому…

Вожеватов. Да я не всякий…

Робинзон. А кто же вы?

Вожеватов. Купец.

Робинзон. Богатый?

Вожеватов. Богатый.

Робинзон. И тороватый?

Вожеватов. И тороватый.

Робинзон. Вот это в моем вкусе. *(Подает руку Вожеватову.)* Очень приятно. Вот теперь я могу тебе позволить обращаться со мной запросто.

Вожеватов. Значит, приятели: два тела — одна душа.

Робинзон. И один карман. Имя, отчество? То есть одно имя, отчества не надо.

Вожеватов. Василий Данилыч.

Робинзон. Так вот, Вася, для первого знакомства заплати за меня.

Вожеватов. Гаврило, запиши! Сергей Сергеич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом — мы; приедем, усядемся на коврике, жженочку сварим.

Гаврило. Ау меня, Сергей Сергеич, два ананаси-

ка давно вас дожидаются, надо их нарушить для вашего приезда.

Паратов *(Гавриле).* Хорошо, срежь! *(Вожеватову.)* Делайте, господа, со мной что хотите.

Гаврило. Да уж я, Василий Данилыч, все заготовлю, что требуется; у меня и кастрюлечка серебряная водится для таких оказий, уж я и своих людей с вами отпущу.

Вожеватов. Ну, ладно. Чтобы к шести часам все было готово; коли что лишнее припасешь, взыску не будет, а за недостачу ответишь.

Гаврило. Понимаем-с.

Вожеватов. А назад поедем, на катерах разноцветные фонарики зажжем.

Робинзон. Давно ли я его знаю, а уж полюбил, господа. Вот чудо-то!

Паратов. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой жизнью, так чтоб было чем ее вспомнить. А откушать сегодня, господа, прошу ко мне.

Вожеватов. Эка досада! Ведь нельзя, Сергей Сергеич…

Кнуров. Отозваны мы.

Паратов. Откажитесь, господа!

Вожеватов. Отказаться-то нельзя: Лариса Дмитриевна выходит замуж, так мы у жениха обедаем.

Паратов. Лариса выходит замуж! *(Задумывается.)* Что ж… Бог с ней!.. Это даже лучше. Я немножко виноват перед ней, то есть так виноват, что не должен бы и носу к ним показывать; ну, а теперь она выходит замуж, значит, старые счеты покончены, и я могу опять явиться, поцеловать ручки у ней и у тетеньки. Я Хариту Игнатьевну, для краткости, тетенькой зову. Ведь я было чуть не женился на Ларисе, — вот бы людей-то насмешил! Да, разыграл было дурака. Замуж выходит… это очень мило с ее стороны; все-таки на душе у меня немного полегче… и дай ей Бог здоровья и всякого благополучия! Заеду я к ним, заеду; любопытно, очень любопытно поглядеть на нее.

Вожеватов. Уж наверное и вас пригласят.

Паратов. Само собой, как же можно без меня!

Кнуров. Я очень рад, все-таки будет с кем хоть слово за обедом перемолвить.

Вожеватов. Там и потолкуем, как нам веселее время провести, может, и еще что придумаем.

Паратов. Да, господа, жизнь коротка, говорят философы, так надо уметь ею пользоваться… N'est ce pas[27], Робинзон?

---

[27] Примечания: 27
Не правда ли? *(фр.)*

Робинзон. Вуй[28], ля Серж!

Вожеватов. Постараемся, скучать не будете, на том стоим. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим.

Паратов. До свидания, господа! Я в гостиницу… Марш, Робинзон!

Робинзон *(поднимая шляпу).*

Да здравствует веселье!

Да здравствует Услад!

---

[28] Примечания: 28

Да (от ^/7. oui).

Действие второе

Действующие лица

Огудалова.
Лариса.
Карандышев.
Паратов.
Кнуров.
Вожеватов.
Робинзон.
Илья, цыган.
Лакей Огудаловой.

Комната в доме Огудаловой. Две двери: одна, в глубине, входная; другая налево (от актеров); направо — окно; мебель приличная; фортепьяно, на нем лежит гитара.

Явление первое

Огудалова одна, подходит к двери налево, с коробочкой в руках.

Огудалова. Лариса, Лариса!

Лариса за сценой: «Я, мама, одеваюсь».

Погляди-ка, какой тебе подарок Вася привез!

Лариса за сценой: «После погляжу!»

Какие вещи — рублей пятьсот стоят. «Положите, говорит, завтра поутру в ее комнату и не говорите, от кого». А ведь знает, плутишка, что я не утерплю — скажу. Я его просила посидеть, не остался; с каким-то иностранцем ездит, город ему показывает. Да ведь шут он, у него не разберешь, нарочно он или вправду. «Надо, говорит, этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать!» Хотел к нам привезти этого иностранца. *(Взглянув в окно.)* А вот и Мокий Парменыч! Не выходи, я лучше одна с ним потолкую.

Входит Кнуров.

Явление второе

Огудалова, Кнуров.
Кнуров *(в дверях).* У вас никого нет?
Огудалова. Никого, Мокий Парменыч!
Кнуров *(входит).* Ну и прекрасно.
Огудалова. На чем записать такое счастие!

Благодарна, Мокий Парменыч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада, растерялась, право… не знаю, где и посадить вас.

Кнуров. Все равно, сяду где-нибудь.

(Садится.)

Огудалова. А Ларису извините: она переодевается. Да ведь можно ее поторопить.

Кнуров. Нет, зачем беспокоить!

Огудалова. Как это вы вздумали?

Кнуров. Брожу ведь я много пешком перед обедом-то, ну, вот и зашел.

Огудалова. Будьте уверены, Мокий Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит; ни с чем этого сравнить нельзя.

Кнуров. Так выдаете замуж Ларису Дмитриевну?

Огудалова. Да, замуж, Мокий Парменыч!

Кнуров. Нашелся жених, который берет без денег?

Огудалова. Без денег, Мокий Парменыч! Где ж нам взять денег-то?

Кнуров. Что ж он, средства имеет большие, жених-то ваш?

Огудалова. Какие средства! Самые ограниченные!

Кнуров. Да… А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного?

Огудалова. Не знаю, Мокий Парменыч! Я тут ни при чем: ее воля была.

Кнуров. Ну, а этот молодой человек, как, по-ваше-му, хорошо поступает?

Огудалова. Что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны.

Кнуров. Ничего тут нет похвального, напротив, это непохвально. Пожалуй, с своей точки зрения, он не глуп: что он такое… кто его знает, кто на него обратит внимание! А теперь весь город заговорит про него, он влезает в лучшее общество, он позволяет себе приглашать меня на обед, например… Но вот что глупо: он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует.

Огудалова. Сделайте одолжение, Мокий Парменыч!

Кнуров. Как вы думаете о вашей дочери, что она такое?

Огудалова. Да уж я не знаю, что и говорить; мне одно осталось: слушать вас.

Кнуров. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет. Ну, понимаете, тривиаль-

ного, что нужно для бедной семейной жизни?

Огудалова. Ничего нет, ничего.

Кнуров. Ведь это эфир?

Огудалова. Эфир, Мокий Парменыч!

Кнуров. Она создана для блеску!

Огудалова. Для блеску, Мокий Парменыч!

Кнуров. Ну, а может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск?

Огудалова. Нет, где же!

Кнуров. Бедной полумещанской жизни она не вынесет. Что ж остается ей? Зачахнуть, а потом, как водится, — чахотка.

Огудалова. Ах, что вы, что вы! Сохрани Бог!

Кнуров. Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам.

Огудалова. Опять беда, Мокий Парменыч, чем мне жить с дочерью!

Кнуров. Ну, эта беда поправимая. Теплое участие сильного, богатого человека…

Огудалова. Хорошо, как найдется это участие.

Кнуров. Надо постараться приобресть. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо.

Огудалова. Уж как необходимо-то.

Кнуров. Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то

время, когда она может разойтись с мужем. Да, пожалуй, может быть, что и очень далеко, а ведь, может быть, что и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтоб вы еще не сделали какой-нибудь ошибки, чтоб знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею… Что вы улыбаетесь?

Огудалова. Я очень рада, Мокий Парменыч, что вы так расположены к нам.

Кнуров. Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны?

Огудалова. Ах, Мокий Парменыч!

Кнуров. Обижайтесь, если угодно, прогоните меня! Огудалова *(конфузясь).* Ах, Мокий Парменыч!

Кнуров. Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром, да тогда и браните меня. Не трудитесь напрасно искать; не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка?

Огудалова. Это я, Мокий Парменыч, хотела дочери подарок сделать…

Кнуров *(рассматривая вещи).* Да…

Огудалова. Да дорого, не по карману.

Кнуров *(отдает коробочку).* Ну, это пустяки, есть дела поважнее. Вам нужно сделать для Лари-

сы Дмитриевны хороший гардероб, то есть мало сказать хороший — очень хороший. Подвенечное платье, ну, и все там, что следует.

Огудалова. Да, да, Мокий Парменыч.

Кнуров. Обидно будет видеть, если ее оденут кой-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине, да не рассчитывайте, не копейничайте! А счеты пришлите ко мне: я заплачу.

Огудалова. Право, даже уж и слов-то не подберешь, как благодарить вас.

Кнуров. Вот зачем, собственно, я зашел к вам. *(Встает.)*

Огудалова. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери, знаете…

Кнуров *(берет коробочку).* Ну, что там такое? Что стоит?

Огудалова. Оцените, Мокий Парменыч!

Кнуров. Что тут ценить! Пустое дело! Триста рублей это стоит. *(Достает из бумажника деньги и отдает Огудаловой.)* До свиданья! Я пойду еще побродить… Я нынче на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся. *(Идет к двери.)*

Огудалова. Очень, очень вам благодарна за все, Мокий Парменыч, за все!

Кнуров уходит. Входит Лариса с корзинкой в руке.

Явление третье

Огудалова, Лариса.

Лариса *(ставит корзинку на стол и рассматривает вещи в коробочке).* Это Вася-то подарил? Недурно. Какой милый!

Огудалова. «Недурно»! Это очень дорогие вещи. Будто ты не рада?

Лариса. Никакой особенной радости не чувствую.

Огудалова. Ты поблагодари Васю, так шепни ему на ухо: «Благодарю, мол». И Кнурову тоже.

Лариса. А Кнурову за что?

Огудалова. Уж так надо; я знаю, за что.

Лариса. Ах, мама, все-то у тебя секреты да хитрости.

Огудалова. Ну, ну, хитрости! Без хитростей на свете не проживешь.

Лариса *(берет гитару, садится к окну и запевает).*

Матушка, голубушка, солнышко мое,
Пожалей, родимая, дитятко твое.

Юлий Капитоныч хочет в мировые судьи бал-

лотироваться.

Огудалова. Ну, вот и прекрасно! В какой уезд?

Лариса. В Заболотье.

Огудалова. Ай, в лес ведь это? Что ему вздумалось в такую даль?

Лариса. Там кандидатов меньше: наверное выберут.

Огудалова. Что ж, ничего, — и там люди живут.

Лариса. Мне хоть бы в лес, да только поскорей отсюда вырваться.

Огудалова. Да оно и хорошо в захолустье пожить, там и твой Карандышев мил покажется, пожалуй, первым человеком в уезде будет, вот помаленьку и привыкнешь к нему.

Лариса. Да он и здесь хорош; я в нем ничего не замечаю дурного.

Огудалова. Ну, что уж! Такие ль хорошие-то бывают!

Лариса. Конечно, есть и лучше; я сама это очень хорошо знаю.

Огудалова. Есть, да не про нашу честь.

Лариса. Теперь для меня и этот хорош… Да что толковать, дело решенное.

Огудалова. Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится. Слава Богу! Осуждать его перед тобой я не стану, а и притворяться-то нам друг перед

другом нечего — ты сама не слепая.

Лариса. Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Капитонычу. Скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды, грибы…

Огудалова. Вот для чего ты корзиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими полями заведи, вот и будешь пастушкой.

Лариса. И шляпу заведу. *(Запевает.)*

Не искушай меня без нужды…

Там спокойствие, тишина.

Огудалова. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет: ветер-то загудит в окна.

Лариса. Ну, что ж такое?

Огудалова. Волки завоют на разные голоса.

Лариса. Все-таки лучше, чем здесь. Я по крайней мере душой отдохну.

Огудалова. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой! Только знай, что Заболотье не Италия. Это я обязана тебе сказать, а то как ты разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила.

Лариса. Благодарю тебя… Но пусть там и дико, и глухо, и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юлий Капитоныч медлит, я не понимаю.

Огудалова. До деревни ль ему! Ему покрасоваться хочется. Да и не удивительно: из ничего, да в люди попал.

Лариса *(напевает).*

Не искушай меня без нужды…

Экая досада, не налажу никак. *(Взглянув в окно.)* Илья, Илья! Зайди на минутку! Наберу с собой в деревню романсов и буду играть да петь от скуки.

Входит Илья.

Явление четвертое

Огудалова, Лариса, Илья.

Илья. С праздником! Дай Бог здорово да счастливо! *(Кладет фуражку на стул у двери.)*

Лариса. Илья, наладь мне: «Не искушай меня без нужды». Все сбиваюсь. *(Подает гитару.)*

Илья. Сейчас, барышня! *(Берет гитару и под-*

страивает.) Хороша песня; она в три голоса хороша, тенор надо: второе колено делает… Больно хорошо. А у нас беда, ах, беда!

Огудалова. Какая беда?

Илья. Антон у нас есть, тенором поет…

Огудалова. Знаю, знаю.

Илья. Один тенор и есть, а то все басы. Какие басы, какие басы! А тенор один Антон!

Огудалова. Так что ж?

Илья. Не годится в хор, — хоть брось.

Огудалова. Нездоров?

Илья. Нет, здоров, совсем невредимый.

Огудалова. Что же с ним?

Илья. Пополам перегнуло набок, совсем углом, так глаголем и ходит… другая неделя… ах, беда! Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит, а без тенора как быть! К дохтору ходил, дохтор и говорит: «Через неделю, через две отпустит, опять прямой будешь». А нам теперь его надо.

Лариса. Да ты пой!

Илья. Сейчас, барышня… Секунда фальшивит. Вот беда, вот беда! В хоре надо браво стоять, а его набок перегнуло.

Огудалова. От чего это с ним?

Илья. От глупости.

Огудалова. От какой глупости?

Илья. Такая есть глупость в нас. Говорил: «Наблюдай, Антон, эту осторожность!» А он не понимает.

Огудалова. Да и мы не понимаем.

Илья. Ну, не вам будь сказано: гулял. Так гулял, так гулял! Я говорю: «Антон, наблюдай эту осторожность!» А он не понимает. Ах, беда, ах, беда! Теперь сто рублей человек стоит, вот какое дело у нас, такого барина ждем, а Антона набок свело. Какой прямой цыган был, а теперь кривой! *(Запевает басом.)* «Не искушай…»

Голос в окно: «Илья, Илья, ча одарйк! Ча сегёр!»[29]

Палео? Со туке требе?[30]

Голос с улицы: «Иди, барин приехал!»

Хохавеса![31]

Голос с улицы: «Верно приехал!»

Некогда, барышня, барин приехал! *(Кладет*

---

[29] Примечания: 29
Поди сюда! иди скорее! *(Перевод А. Н. Островского!)*

[30] Примечания: 30
Зачем? Что тебе? *(Перевод А. Н. Островского.)*

[31] Примечания: 31
Обманываешь! *(Перевод А. Н. Островского.)*

гитару и берет фуражку.)

Огудалова. Какой барин?

Илья. Такой барин, ждем не дождемся: год ждали — вот какой барин! *(Уходит.)*

Явление пятое

Огудалова, Лариса.

Огудалова. Кто ж бы это приехал? Должно быть, богатый и, вероятно, Лариса, холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно, уж так у цыган и живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было?

Лариса. Ах, мама, мало, что ли, я страдала? Нет, довольно унижаться.

Огудалова. Эко страшное слово сказала: «унижаться»! Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться смолоду, чтоб потом пожить по-человечески.

Лариса. Нет, не могу, тяжело, невыносимо тяжело.

Огудалова. А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь и останешься ничем.

Лариса. Опять притворяться, опять лгать!

Огудалова. И притворяйся, и лги! Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь.

Входит Карандышев.

Явление шестое

Огудалова, Лариса, Карандышев.

Огудалова. Юлий Капитоныч, Лариса у нас в деревню собралась, вот и корзинку для грибов приготовила.

Лариса. Да, сделайте для меня эту милость, поедемте поскорей!

Карандышев. Я вас не понимаю; куда вы торопитесь, зачем?

Лариса. Мне так хочется бежать отсюда.

Карандышев *(запальчиво).* От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли?

Лариса *(холодно).* Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что дальше будет, а пока вы мне еще повода не подали.

Карандышев. Так зачем бежать, зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя! Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения!

Огудалова. Повеличаться.

Карандышев. Да, повеличаться, я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия, моя гордость не раз была оскорблена; теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться.

Лариса. Вы когда же думаете ехать в деревню?

Карандышев. После свадьбы когда вам угодно, хоть на другой день. Только венчаться непременно здесь, чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий.

Лариса. Да ведь последнее-то почти так, Юлий Капитоныч, вот это правда.

Карандышев *(с сердцем).* Так правду эту вы знайте про себя! *(Сквозь слезы.)* Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь! Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен.

Лариса. Зачем это?

Карандышев. Как зачем? Разве уж вы совсем не допускаете в человеке самолюбия?

Лариса. Самолюбие! Вы только о себе! Все себя любят! Когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы меня до погибели?!

Огудалова. Полно, Лариса, что ты?

Лариса. Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Ну, послушайте; если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше было народу, чтобы как можно тише, скромнее.

Огудалова. Нет, ты не фантазируй! Свадьба так свадьба! Я Огудалова, я нищенства не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали!

Карандышев. Да и я ничего не пожалею.

Лариса. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла; поиграете вы мной, изломаете и бросите.

Карандышев. Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево.

Огудалова. А этот обед ваш я считаю уж совсем лишним — напрасная трата.

Карандышев. Да если б он стоил мне вдвое, втрое, я б не пожалел денег.

Огудалова. Никому он не нужен.

Карандышев. Мне нужен.

Лариса. Да зачем, Юлий Капитоныч?

Карандышев. Лариса Дмитриевна, три года я терпел унижения, три года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых, надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними!

Огудалова. Что вы еще придумываете! Ссору, что ли, затеять хотите? Так мы с Ларисой и не поедем.

Лариса. Ах, пожалуйста, не обижайте никого!

Карандышев. Не обижайте! А меня обижать можно? Да успокойтесь, никакой ссоры не будет: все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастие, которое вы делаете мне своим выбором, за то, что вы отнеслись ко мне не так, как другие, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все, вот и вся моя месть!

Огудалова. И все это совсем не нужно.

Карандышев. Нет, уж эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство, что ж они им хвастаются! По пятнадцати рублей за порцию чаю бросают!

Огудалова. Все это вы на бедного Васю нападаете.

Карандышев. Да не один Вася, все хороши. Вон посмотрите, что в городе делается, какая радость на лицах! Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу: «Барин приехал, барин приехал…» Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу, из трактира в трактир перекликаются: «Барин приехал, барин приехал!» Цыгане с ума сошли, все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд, толпа народу. Сейчас к гостинице четыре цыганки разряженные в ко-

ляске подъехали, поздравить с приездом… Чудо, что за картина! А барин-то, я слышал, промотался совсем, последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутило, развратный человек, и весь город рад. Хороши нравы!

Огудалова. Да кто приехал-то?

Карандышев. Ваш Сергей Сергеич Паратов.

Лариса в испуге встает.

Огудалова. А, так вот кто!

Лариса. Поедемте в деревню, сейчас поедемте!

Карандышев. Теперь-то и не нужно ехать.

Огудалова. Что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбойник!

Лариса. Что вы меня не слушаете! Топите вы меня, толкаете в пропасть!

Огудалова. Ты сумасшедшая!

Карандышев. Чего вы боитесь?

Лариса. Я не за себя боюсь.

Карандышев. За кого же?

Лариса. За вас.

Карандышев. О, за меня не бойтесь! Я в обиду не дамся. Попробуй он только задеть меня, так увидит…

Огудалова. Нет, что вы! Сохрани вас Бог! Это ведь не Вася. Вы поосторожнее с ним, а то жизни

не рады будете.

Карандышев *(у окна).* Вот, изволите видеть, к вам подъехал; четыре иноходца в ряд и цыган на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает! Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится, а в сущности-то и гнусно, и глупо.

Лариса *(Карандышеву).* Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов!

Лариса и Карандышев уходят. Входит Паратов.

Явление седьмое

Огудалова, Паратов.

Паратов *(всю сцену ведет в шутливо-серьезном тоне).* Тетенька, ручку!

Огудалова *(простирая руки).* Ах, Сергей Сергеич! Ах, родной мой!

Паратов. В объятия желаете заключить? Можно! *(Обнимаются и целуются.)*

Огудалова. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно?

Паратов. Нарочно сюда, и первый визит к вам, тетенька!

Огудалова. Благодарю. Как поживаете, как дела

ваши?

Паратов. Гневить Бога нечего, тетенька, живу весело, а дела неважны.

Огудалова *(поглядев на Паратова).* Сергей Сергеич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли?

Паратов. Неприятную телеграмму получил, тетенька.

Огудалова. Какую?

Паратов. Управители мои и управляющие свели без меня домок мой в ореховую скорлупку-с. Своими операциями довели было до аукционной продажи мои пароходики и все движимое и недвижимое имение. Так я полетел тогда спасать свои животишки-с.

Огудалова. И, разумеется, все спасли и все устроили.

Паратов. Никакнет-с; устроил, да не совсем, брешь порядочная осталась. Впрочем, тетенька, духу не теряю и веселого расположения не утратил.

Огудалова. Вижу, что не утратил.

Паратов. На одном потеряем, на другом выиграем, тетенька, вот наше дело какое.

Огудалова. На чем же вы выиграть хотите? Новые обороты завели?

Паратов. Не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить! За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку.

Огудалова. Понимаю: выгодно жениться хотите? А во сколько вы цените свою волюшку?

Паратов. В полмиллиона-с.

Огудалова. Порядочно.

Паратов. Дешевле, тетенька, нельзя-с, расчету нет, себе дороже, сами знаете.

Огудалова. Молодец мужчина!

Паратов. С тем возьмите.

Огудалова. Экой сокол! Глядеть на тебя да радоваться.

Паратов. Очень лестно слышать от вас. Ручку пожалуйте. *(Целует руку.)*

Огудалова. А покупатели, то есть покупательницы-™, есть?

Паратов. Поискать, так найдутся.

Огудалова. Извините за нескромный вопрос!

Паратов. Коли очень нескромный, так не спрашивайте, я стыдлив.

Огудалова. Да полно тебе шутить-то! Есть невеста или нет? Коли есть, так кто она?

Паратов. Хоть зарежьте, не скажу.

Огудалова. Ну, как знаешь.

Паратов. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?

Огудалова. Отчего же… Я ее сейчас пришлю к вам. *(Берет футляр с вещами.)* Да вот, Сергей Сергеич, завтра Ларисы рождение, хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает.

Паратов. Тетенька, тетенька! ведь уж человек с трех взяли? Я тактику-то вашу помню.

Огудалова *(берет Паратова за ухо).* Ах ты проказник!

Паратов. Я завтра сам привезу подарок, получше этого.

Огудалова. Я позову к вам Ларису. *(Уходит.)*

Входит Лариса.

Явление восьмое

Паратов, Лариса.

Паратов. Не ожидали?

Лариса. Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать.

Паратов. Отчего же перестали ждать?

Лариса. Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма…

Паратов. Я не писал потому, что не мог сооб-

щить ничего приятного.

Лариса. Я так и думала.

Паратов. И замуж выходите?

Лариса. Да, замуж.

Паратов. А позвольте вас спросить, долго вы меня ждали?

Лариса. Зачем вам знать это?

Паратов. Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна, меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека: на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц… имел ли право Гамлет сказать матери, что она «башмаков еще не износила» и так далее…

Лариса. На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеич, можете думать обо мне что вам угодно.

Паратов. Об вас я всегда буду думать с уважением, но женщины вообще, после вашего поступка, много теряют в глазах моих.

Лариса. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете.

Паратов. Эти «кроткие, нежные взгляды», этот сладкий любовный шепот, когда каждое слово чередуется с глубоким вздохом, эти клятвы!.. И все это через месяц повторяется другому, как

выученный урок. О, женщины!

Лариса. Что «женщины»?

Паратов. Ничтожество вам имя!

Лариса. Ах, как вы смеете так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом?

Паратов. Я не уверен, но полагаю.

Лариса. Чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать.

Паратов. Вы выходите замуж?

Лариса. Но что меня заставило?.. Если дома жить нельзя, если во время страшной, смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если надо бежать и из дому и даже из города?

Паратов. Лариса, так вы?..

Лариса. Что «я»? Ну, что вы хотели сказать?

Паратов. Извините! Я виноват перед вами. Так вы не забыли меня, вы еще… меня любите?

Лариса молчит.

Ну, скажите, будьте откровенны?

Лариса. Конечно, да. Нечего и спрашивать.

Паратов *(нежно целует руку Ларисы).* Благодарю вас, благодарю.

Лариса. Вам только и нужно было: вы — человек гордый.

Паратов. Уступить вас я могу, я должен по обстоятельствам, но любовь вашу уступить было бы тяжело.

Лариса. Неужели?

Паратов. Если б вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это.

Лариса. А теперь?

Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья.

Лариса. Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас?

Паратов. Что делать, Лариса Дмитриевна! В любви равенства нет, это уж не мной заведено. В любви приходится иногда и плакать.

Лариса. И непременно женщине?

Паратов. Уж, разумеется, не мужчине.

Лариса. Да почему?

Паратов. Очень просто, потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут, а эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобресть ум человеческий.

Лариса. Кабы любовь-то была равная с обеих

сторон, так слез-то бы не было. Бывает это когда-нибудь?

Паратов. Изредка случается. Только уж это какое-то кондитерское пирожное выходит, какое-то безе.

Лариса. Сергей Сергеич, я сказала вам то, чего не должна была говорить; я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности.

Паратов. Помилуйте, за кого же вы меня принимаете! Если женщина свободна, ну, тогда другой разговор… Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами, брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать: ваш будущий супруг, конечно, обладает многими достоинствами?

Лариса. Нет, одним только.

Паратов. Немного.

Лариса. Зато дорогим.

Паратов. А именно?

Лариса. Он любит меня.

Паратов. Действительно, дорогим; это для домашнего обихода очень хорошо.

Входят Огудалова и Карандышев.

Явление девятое

Паратов, Лариса, Огудалова, Карандышев, потом лакей.

Огудалова. Позвольте вас познакомить, господа! *(Паратову.)* Юлий Капитоныч Карандышев! *(Карандышеву.)* Сергей Сергеич Паратов!

Паратов *(подавая руку Карандышеву).* Мы уж знакомы. *(Кланяясь.)* Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Хариты Игнатьевны и Ларисы Дмитриевны!

Карандышев *(сдержанно).* Очень приятно.

Огудалова. Сергей Сергеич у нас в доме как родной.

Карандышев. Очень приятно.

Паратов *(Карандышеву).* Вы не ревнивы?

Карандышев. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым.

Паратов. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода.

Лариса. Я ручаюсь, что Юлий Капитоныч меня ревновать не будет.

Карандышев. Да, конечно, но если бы…

Паратов. О да, да. Вероятно, это было бы что-нибудь очень ужасное.

Огудалова. Что вы, господа, затеяли! Разве нет других разговоров, кроме ревности!

Лариса. Мы, Сергей Сергеич, скоро едем в деревню.

Паратов. От прекрасных здешних мест?

Карандышев. Что же вы находите здесь прекрасного?

Паратов. Ведь это как кому; на вкус, на цвет образца нет.

Огудалова. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня.

Паратов. Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик.

Огудалова. Ах, проказник! Откуда вы столько пословиц знаете?

Паратов. С бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучишься.

Карандышев. У бурлаков учиться русскому языку!

Паратов. А почему ж у них не учиться?

Карандышев. Да потому, что мы считаем их…

Паратов. Кто это: мы?

Карандышев *(разгорячаясь).* Мы, то есть обра-

зованные люди, а не бурлаки.

Паратов. Ну-с, чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступаюсь за них, я сам такой же бурлак.

Карандышев. Мы считаем их образцом грубости и невежества.

Паратов. Ну, далее, господин Карандышев!

Карандышев. Все, больше ничего.

Паратов. Нет, не все, главного недостает: вам нужно просить извинения.

Карандышев. Мне — извиняться!

Паратов. Да уж, нечего делать, надо.

Карандышев. Дас какой стати? Это мое убеждение.

Паратов. Но-но-но-но! Отвилять нельзя.

Огудалова. Господа, господа, что вы!

Паратов. Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову: ваш жених цел останется; я только поучу его. У меня правило: никому ничего не прощать; а то страх забудут, забываться станут.

Лариса *(Карандышеву).* Что вы делаете? Просите извинения сейчас, я вам приказываю.

Паратов *(Огудаловой).* Кажется, пора меня знать. Если я кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь да казнь придумываю.

Карандышев *(Паратову).* Я не понимаю…

Паратов. Так выучитесь прежде понимать, да потом и разговаривайте!

Огудалова. Сергей Сергеич, я на колени брошусь перед вами; ну, ради меня, извините его!

Паратов *(Карандышеву).* Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей! Я еду-еду, не свищу, а наеду — не спущу!

Карандышев хочет отвечать.

Огудалова. Не возражайте, не возражайте! А то я с вами поссорюсь. Лариса, вели шампанского подать да налей им по стаканчику — пусть выпьют мировую.

Лариса уходит.

И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было, согласно.

Паратов. Я и сам мирного характера, курицы не обижу; я никогда первый не начну, за себя я вам ручаюсь.

Огудалова. Юлий Капитоныч, вы — еще молодой человек, вам надо быть поскромнее, горячиться не следует. Извольте-ка вот пригласить Сергея Сергеича на обед, извольте непременно!

Нам очень приятно быть с ним вместе.

Карандышев. Я и сам хотел. Сергей Сергеич, угодно вам откушать у меня сегодня?

Паратов *(холодно).* С удовольствием.

Входит Лариса, за ней человек с бутылкой шампанского и с стаканами на подносе.

Лариса *(наливает).* Господа, прошу покорно.

Паратов и Карандышев берут стаканы.

Прошу вас быть друзьями.

Паратов. Ваша просьба для меня равняется приказу.

Огудалова *(Карандышеву).* Вот и вы берите пример с Сергея Сергеича!

Карандышев. Про меня нечего и говорить: для меня каждое слово Ларисы Дмитриевны — закон.

Входит Вожеватов.

Явление десятое

Огудалова, Лариса, Паратов, Карандышев, Вожеватов, потом Робинзон.

Вожеватов. Где шампанское, там и мы. Каково

чутье! Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте белокурому в комнату войти!

Огудалова. Какому белокурому?

Вожеватов. Сейчас увидите. Войди, белокур!

Робинзон входит.

Честь имею представить нового друга моего: лорд Робинзон.

Огудалова. Очень приятно.

Вожеватов *(Робинзону).* Целуй ручки!

Робинзон целует руки у Огудаловой и Ларисы.

Ну, милорд, теперь поди сюда!

Огудалова. Что это вы как командуете вашим другом?

Вожеватов. Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Все больше путешествовал, и по воде, и по суше, а вот недавно совсем было одичал на необитаемом острове. *(Карандышеву.)* Позвольте вас познакомить! Лорд Робинзон, Юлий Капитоныч Карандышев!

Карандышев *(подавая руку Робинзону).* Вы уж давно выехали из Англии?

Робинзон. Yes (Йес)[32].

---

[32] Примечания: 32

УУс\(англ.).

Вожеватов *(Паратову). Я его* слова три по-английски выучил, да, признаться, и сам-то не много больше знаю. *(Робинзону).* Что ты на винато поглядываешь? Харита Игнатьевна, можно?

Огудалова. Сделайте одолжение.

Вожеватов. Англичане ведь целый день пьют вино, с утра.

Огудалова. Неужели вы целый день пьете?

Робинзон. Yes.

Вожеватов. Они три раза завтракают да потом обедают с шести часов до двенадцати.

Огудалова. Возможно ли?

Робинзон. Yes.

Вожеватов *(Робинзону).* Ну, наливай!

Робинзон *(налив стаканы).* If you please! (Иф ю плиз!)[33]

Пьют.

Паратов *(Карандышеву).* Пригласите и его обедать. Мы с ним везде вместе, я без него не могу.

Карандышев. Как его зовут?

Паратов. Да кто ж их по именам зовет? Лорд, милорд…

Карандышев. Разве он лорд?

---

[33] Примечания: 33
Пожалуйста! *(англ.)*

Паратов. Конечно, не лорд; да они так любят. А то просто: сэр Робинзон.

Карандышев *(Робинзону).* Сэр Робинзон, прошу покорно сегодня откушать у меня.

Робинзон. I thank you (Ай сенк ю)[34].

Карандышев *(Огудаловой).* Харита Игнатьевна, я отправлюсь домой, мне нужно похлопотать кой о чем. *(Кланяясь всем.)* Я вас жду, господа. Честь имею кланяться! *(Уходит.)*

Паратов *(берет шляпу).* Да и нам пора, надо отдохнуть с дороги.

Вожеватов. К обеду приготовиться.

Огудалова. Погодите, господа, не все вдруг.

Огудалова и Лариса уходят за Карандышевым в переднюю.

Явление одиннадцатое

Паратов, Вожеватов и Робинзон.

Вожеватов. Понравился вам жених?

Паратов. Чему тут нравиться! Кому он может нравиться! А еще разговаривает, гусь лапчатый!

Вожеватов. Разве было что?

---

[34] Примечания: 34
Благодарю вас *(англ.).*

Паратов. Был разговор небольшой. Топорщился тоже, как и человек, петушиться тоже вздумал. Да погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. *(Ударив себя по лбу.)* Ах, какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная, старайся…

Вожеватов. Что такое?

Паратов. А вот что… *(Прислушиваясь.)* Идут! После скажу, господа.

Входят Огудалова и Лариса.

Честь имею кланяться!

Вожеватов. До свидания!

Раскланиваются.

Действие третье

Действующие лица

Евфросинья Потаповы а, тетка Карандышева.
Кнуров.
Вожеватов.
Карандышев.
Робинзон.
Огудалова.
Иван.
Лариса.
Илья, цыган.
Паратов.

Кабинет Карандышева. Комната, меблированная с претензиями, но без вкуса; на одной стене прибит над диваном ковер, на котором развешано оружие.

Три двери: одна посредине, две по бокам.

Явление первое

Евфросинья Потаповна, Иван (выходит из двери налево).

Иван. Лимонов пожалуйте!

Ефросинья Потаповна. Каких лимонов, аспид?

Иван. Мессинских-с.

Ефросинья Потаповна. На что они тебе понадобились?

Иван. После обеда которые господа кофей кушают, а которые чай, так к чаю требуются.

Ефросинья Потаповна. Вымотали вы из меня всю душеньку нынче. Подай клюковного морсу, разве не все равно. Возьми там у меня графинчик; ты поосторожнее, графинчик-то старенький, пробочка и так еле держится, сургучиком подклеена. Пойдем, я сама выдам. *(Уходит в среднюю дверь,* Иван *за ней.)*

Входят Огудалова и Лариса слева.

Явление второе

Огудалова, Лариса.

Лариса. Ах, мама, я не знала, куда деться.

Огудалова. Я так и ожидала от него.

Лариса. Что за обед, что за обед! А еще зовет Мокия Парменыча! Что он делает?

Огудалова. Да, угостил, нечего сказать.

Лариса. Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда,

когда приходится за других стыдиться… Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно, так бы убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего, он даже весел.

Огудалова. Да ему и заметить нельзя: он ничего не знает, он никогда и не видывал, как порядочные люди обедают. Он еще думает, что удивил всех своей роскошью, вот он и весел. Да разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают.

Лариса. Ах, ах! останови его, останови его!

Огудалова. Как остановить! он — не малолетний, пора без няньки жить.

Лариса. Да ведь он не глуп, как же он не видит этого!

Огудалова. Не глуп, да самолюбив. Над ним подтрунивают, вина похваливают, он и рад; сами-то только вид делают, что пьют, а ему подливают.

Лариса. Ах! я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают?

Огудалова. Да так просто, позабавиться хотят.

Лариса. Да ведь они меня терзают-то?

Огудалова. А кому нужно, что ты терзаешься. Вот, Лариса, еще ничего не видя, а уж терзание; что дальше-™ будет?

Лариса. Ах, дело сделано, можно только жалеть, а поправить нельзя.

Входит Ефросинья Потаповна.

Явление третье

Огудалова, Лариса и Евфросинья Потаповна.

Ефросинья Потаповна. Уж откушали? А чаю не угодно?

Огудалова. Нет, увольте.

Ефросинья Потаповна. А мужчины-то что?

Огудалова. Они там сидят, разговаривают.

Ефросинья Потаповна. Ну, покушали и встали бы; чего еще дожидаются? Уж достался мне этот обед; что хлопот, что изъяну! Поварешки разбойники, в кухню-то точно какой победитель придет, слова ему сказать не смей!

Огудалова. Да об чем с ним разговаривать? Коли он хороший повар, так учить его не надо.

Ефросинья Потаповна. Да не об ученье речь, а много очень добра изводят. Кабы свой материал, домашний, деревенский, так я бы слова не сказала, а то купленный, дорогой, так его и жалко. Помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею; а ваниль этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну и положил бы чуточку для духу, а он валит зря: сердце-то и мрет, на него глядя.

Огудалова. Да, для расчетливых людей, конечно…

Ефросинья Потаповна. Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел. Возьмем стерлядь: разве вкус-то в ней не один, что большая, что маленькая? А в цене-то разница, ох, велика! Полтинничек десяток и за глаза бы, а он по полтиннику штуку платил.

Огудалова. Ну, этим, что были за обедом, еще погулять по Волге да подрасти бы не мешало.

Ефросинья Потаповна. Ах, да ведь, пожалуй, есть и в рубль, и в два; плати, у кого деньги бешеные. Кабы для начальника какого высокого али для владыки, ну, уж это так и полагается, а то для кого! Опять вино хотел было дорогое покупать, в рубль и больше, да купец честный человек попался: берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку, а ерлыки наклеим, какие прикажете! Уж и вино отпустил! Можно сказать, что на чести. Попробовала я рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кладется! И деньги немалые: шесть гривен за бутылку; а уж и стоит дать. А дороже платить не из чего, жалованьем живем. Вот у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху: перин да

подушек, возили-возили, возили-возили, да все чистого; потом пушного: и лисица, и куница, и соболь! Все это в дом, так есть из чего ему тратиться. А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не разживешься. Все равно и нам форсить некстати.

Лариса *(Огудаловой).* Бежала б я отсюда куда глаза глядят.

Огудалова. Невозможно, к несчастию.

Ефр осинья Потаповна. Да коли вам что не по себе, так пожалуйте ко мне в комнату, а то придут мужчины, накурят так, что не продохнешь. Что я стою-то! Бежать мне серебро сосчитать да запереть, нынче народ без креста.

Огудалова и Лариса уходят в дверь направо, Евфросинья Потаповна в среднюю. Из двери налево выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов.

Явление четвертое

Паратов, Кнуров и Вожеватов.

Кнуров. Я, господа, в клуб обедать поеду, я не ел ничего.

Паратов. Подождите, Мокий Парменыч!

Кнуров. Со мной первый раз в жизни такой

случай. Приглашает обедать известных людей, а есть нечего… Он человек глупый, господа.

Паратов. Мы не спорим. Надо ему отдать справедливость: он действительно глуп.

Кнуров. И сам прежде всех напился.

Вожеватов. Мы его порядочно подстроили.

Паратов. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще давеча в голову пришло накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет.

Кнуров. Так у вас было задумано?

Паратов. Мы прежде условились. Вот, господа, для таких случаев Робинзоны-то и дороги.

Вожеватов. Золото, а не человек!

Паратов. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с ним вместе; а есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает. А Робинзон — натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства, ему нипочем. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом знатока, но без хозяина пить не соглашается; тот и попался. Человек непривычный, много ль ему надо, скорехонько и дошел до восторга.

Кнуров. Это забавно; только мне, господа, не шутя есть хочется.

Паратов. Еще успеете. Погодите немного, мы

попросим Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь.

Кнуров. Это другое дело. А где ж Робинзон?

Вожеватов. Они там еще допивают.

Входит Робинзон.

Явление пятое

Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон *(падая на диван).* Батюшки, помогите! Ну, Серж, будешь ты за меня Богу отвечать!

Паратов. Что ж ты, пьян, что ли?

Робинзон. Пьян! Разве я на это жалуюсь когда-нибудь? Кабы пьян, это бы прелесть что такое — лучше бы и желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда, да с этим намерением и на свете живу. Это цель моей жизни.

Паратов. Что ж с тобой?

Робинзон. Я отравлен, я сейчас караул закричу.

Паратов. Да ты что пил-то больше, какое вино?

Робинзон. Кто ж это знает? химик я, что ли! Ни один аптекарь не разберет.

Паратов. Да что на бутылке-то, какой этикет?

Робинзон. На бутылке-то «бургонское», а в

бутылке-то «киндер-бальзам»[35] какой-то. Не пройдет мне даром эта специя, уж я чувствую.

Вожеватов. Это случается: как делают вино, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго ли? человек — не машина. Мухоморов не переложили ли?

Робинзон. Что тебе весело! Человек погибает, а ты рад.

Вожеватов. Шабаш! Помирать тебе, Робинзон.

Робинзон. Ну, это вздор, помирать я не согласен… Ах, хоть бы знать, какое увечье-то от этого вина бывает.

Вожеватов. Один глаз лопнет непременно, ты так и жди.

За сценой голос Карандышева: «Эй, дайте нам бургонского».

Робинзон. Ну вот, изволите слышать, опять бургонского! Спасите, погибаю! Серж, пожалей хоть ты меня! Ведь я в цвете лет, господа, я подаю большие надежды. За что ж искусство должно лишиться…

Паратов. Да не плачь, я тебя вылечу; я знаю, чем помочь тебе; как рукой снимет.

---

[35] Примечания: 35

Детский бальзам (от *нем.* Kinderbalsam), сладкая слабая спиртовая настойка.

Входит Карандышев с ящиком сигар.

Явление шестое

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон и Карандышев.

Робинзон *(взглянув на ковер).* Что это у вас такое?

Карандышев. Сигары.

Робинзон. Нет, что развешено-то? Бутафорские вещи?

Карандышев. Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие.

Паратов. Так вот кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут.

Карандышев. Как? что за шутки! Помилуйте, что это за вздор! Чем я виноват?

Паратов. Вы забрали у них все дрянное, негодное оружие; вот они с горя хорошим английским и запаслись.

Вожеватов. Да, да, вот кто виноват! теперь нашлось. Ну, вам австрийцы спасибо не скажут.

Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет, например. *(Снимает со стены пистолет.)*

Паратов *(берет у него пистолет).* Этот пистолет?

Карандышев. Ах, осторожнее, он заряжен!

Паратов. Не бойтесь! Заряжен ли он, не заряжен ли, опасность от него одинаковая: он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю.

Карандышев. Ну нет-с, и этот пистолет пригодиться может.

Паратов. Да, в стену гвозди вколачивать. *(Бросает пистолет на стол.)*

Вожеватов. Ну нет, не скажите! По русской пословице: «На грех и из палки выстрелишь».

Карандышев *(Паратову).* Не угодно ли сигар?

Паратов. Да ведь, чай, дорогие? Рублей семь сотня, я думаю.

Карандышев. Да-с, около того: сорт высокий, очень высокий сорт.

Паратов. Я этот сорт знаю: Регалия капустиссима dos amigos[36], я его держу для приятелей, а сам не курю.

Карандышев *(Кнурову).* Не прикажете ли? Кнуров. Не хочу я ваших сигар — свои курю. Карандышев. Хорошенькие сигары, хорошенькие-с.

---

[36] Примечания: 36

Примерный перевод: сигары «Королевские» из капустного листа для друзей.

Кнуров. Ну, а хорошие, так и курите сами.

Карандышев *(Вожеватову).* Вам не угодно ли?

Вожеватов. Для меня эти очень дороги; пожалуй, избалуешься. Не нашему носу рябину клевать: рябина — ягода нежная.

Карандышев. Авы, сэр Робинзон, курите?

Робинзон. Я-то? Странный вопрос! Пожалуйте пяточек! *(Выбирает пять штук, вынимает из кармана бумажку и тщательно завертывает.)*

Карандышев. Что же вы не закуриваете?

Робинзон. Нет, как можно! Эти сигары надо курить в природе, в хорошем местоположении.

Карандышев. Да почему же?

Робинзон. А потому, что если их закурить в порядочном доме, так, пожалуй, прибьют, чего я терпеть не могу.

Вожеватов. Не любишь, когда бьют?

Робинзон. Нет, с детства отвращение имею.

Карандышев. Какой он оригинал! А, господа, каков оригинал! Сейчас видно, что англичанин. *(Громко.)* А где наши дамы? *(Еще громче.)* Где дамы?

Входит Огудалова.

Явление седьмое

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Огудалова.

Огудалова. Дамы здесь, не беспокойтесь. *(Карандышеву тихо.)* Что вы делаете? Посмотрите вы на себя!

Карандышев. Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите, все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торжествую.

Огудалова. Торжествуйте, только не так громко. *(Подходит к Паратову.)* Сергей Сергеич, перестаньте издеваться над Юлием Капитонычем! Нам больно видеть: вы обижаете меня и Ларису.

Паратов. Ах, тетенька, смею ли я!

Огудалова. Неужели вы еще не забыли давешнюю ссору? Как не стыдно!

Паратов. Что вы! Я, тетенька, не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. Юлий Капитоныч!

Карандышев. Что вам угодно?

Паратов. Хотите брудершафт со мной выпить?

Огудалова. Вот это хорошо. Благодарю вас!

Карандышев. Брудершафт, вы говорите? Из-

вольте, с удовольствием.

Паратов *(Огудаловой).* Да попросите сюда Ларису Дмитриевну! Что она прячется от нас!

Огудалова. Хорошо, я приведу ее. *(Уходит.)*

Карандышев. Что же мы выпьем? Бургонского?

Паратов. Нет, уж от бургонского увольте! Я человек простой.

Карандышев. Так чего же?

Паратов. Знаете что: любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть?

Карандышев. Как не быть! У меня все есть. Эй, Иван, коньяку!

Паратов. Зачем сюда, мы там выпьем; только велите стаканчиков дать, я рюмок не признаю.

Робинзон. Что ж вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени-то потеряно!

Вожеватов. Как он ожил!

Робинзон. С этим напитком я обращаться умею, я к нему применился.

Паратов и Карандышев уходят в дверь налево.

Явление восьмое

Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон *(глядит в дверь налево).* Погиб Карандышев. Я начал, а Серж его докончит. Наливают, устанавливаются в позу; живая картина. Посмотрите, какая у Сержа улыбка! Совсем Бертрам. *(Поет из «Роберта».)* «Ты мой спаситель». — «Я твой спаситель!» — «И покровитель». — «И покровитель». Ну, проглотил. Целуются. *(Поет.)* «Как счастлив я!» — «Жертва моя!» Ай, уносит Иван коньяк, уносит! *(Громко.)* Что ты, что ты, оставь! Я его давно дожидаюсь. *(Убегает.)*

Из средней двери выходит Илья.

Явление девятое

Кнуров, Вожеватов, Илья, потом Паратов.

Вожеватов. Что тебе, Илья?

Илья. Да наши готовы, собрались совсем, на бульваре дожидаются. Когда ехать прикажете?

Вожеватов. Сейчас все вместе поедем, подождите немного!

Илья. Хорошо, как прикажете, так и будет.

Входит Паратов.

Паратов. А, Илья, готовы?

Илья. Готовы, Сергей Сергеич!

Паратов. Гитара с тобой?

Илья. Не захватил, Сергей Сергеич.

Паратов. Гитару нужно, слышишь?

Илья. Сейчас сбегаю, Сергей Сергеич! *(Уходит.)*

Паратов. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь, да и поедемте за Волгу.

Кнуров. Не весела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы… Дорого можно заплатить за такое удовольствие…

Вожеватов. Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радости всех гребцов по рублю серебром оделил.

Паратов. Представьте, господа, я и сам о том же думаю; вот как мы сошлись.

Кнуров. Да есть ли возможность?

Паратов. На свете нет ничего невозможного, говорят философы.

Кнуров. А Робинзон, господа, лишний. Потешились, и будет. Напьется он там до звериного образа — что хорошего! Эта прогулка дело серьезное, он нам совсем не компания. *(Указывая в дверь.)* Вон он как к коньяку-то прильнул.

Вожеватов. Так не брать его.

Паратов. Увяжется как-нибудь.

Вожеватов. Погодите, господа, я от него отделаюсь. *(В дверь.)* Робинзон!

Входит Робинзон.

Явление десятое

Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон. Что тебе?

Вожеватов *(тихо).* Хочешь ехать в Париж?

Робинзон. Как в Париж, когда?

Вожеватов. Сегодня вечером.

Робинзон. А мы за Волгу сбирались.

Вожеватов. Как хочешь; поезжай за Волгу, а я в Париж.

Робинзон. Да ведь у меня паспорта нет.

Вожеватов. Это уж мое дело.

Робинзон. Я пожалуй.

Вожеватов. Так отсюда мы поедем вместе; я тебя завезу домой к себе; там и жди меня, отдохни, усни. Мне нужно заехать по делам места в два.

Робинзон. А интересно бы и цыган послушать.

Вожеватов. А еще артист! Стыдись! Цыганские песни, ведь это невежество. То ли дело итальянская опера или оперетка веселенькая! Вот что тебе надо слушать. Чай, сам играл!

Робинзон. Еще бы! я в «Птичках певчих» играл.

Вожеватов. Кого?

Робинзон. Нотариуса.

Вожеватов. Ну, как же такому артисту да в Париже не побывать! После Парижа тебе какая цена-то будет!

Робинзон. Руку!

Вожеватов. Едешь?

Робинзон. Еду!

Вожеватов *(Паратову).* Как он тут пел из «Роберта». Что за голос!

Паратов. А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел наделаем.

Робинзон. Еще поеду ли я, спросить надо.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежества я и без ярмарки довольно вижу.

Паратов. Ого, как он поговаривать начал!

Робинзон. Нынче образованные люди в Европу ездят, а не по ярмаркам шатаются.

Паратов. Какие же государства и какие города Европы вы осчастливить хотите?

Робинзон. Конечно, Париж, я уж туда давно собираюсь.

Вожеватов. Мы с ним сегодня вечером едем.

Паратов. А, вот что! Счастливого пути! В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и недоставало. А где же хозяин?

Робинзон. Он там, он говорил, что сюрприз нам готовит.

Входят справа Огудалова и Лариса; слева Карандышев и Иван.

Явление одиннадцатое

Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев, Иван, потомИлья и Евфросинья Потаповна.

Паратов *(Ларисе).* Что вы нас покинули?

Лариса. Мне что-то нездоровится.

Паратов. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт выпили. Теперь уж друзья навек.

Лариса. Благодарю вас. *(Жмет руку Паратову.)*

Карандышев *(Паратову).* Серж!

Паратов *(Ларисе).* Вот видите, какая короткость! *(Карандышеву.)* Что тебе?

Карандышев. Тебя кто-то спрашивает.

Паратов. Кто там?

Иван. Цыган Илья.

Паратов. Так зови его сюда.

Иван уходит.

Господа, извините, что я приглашаю Илью в

наше общество. Это мой лучший друг. Где принимают меня, там должны принимать и моих друзей. Это мое правило.

Вожеватов *(тихо Ларисе). Я* новую песенку знаю.

Лариса. Хорошая?

Вожеватов. Бесподобная! «Веревьюшки веревью, на барышне башмачки».

Лариса. Это забавно.

Вожеватов. Я вас выучу.

Входит Ильяс гитарой.

Паратов *(Ларисе).* Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас! Спойте нам какой-нибудь романс или песенку! Я вас целый год не слыхал, да, вероятно, и не услышу уж более.

Кнуров. Позвольте и мне повторить ту же просьбу!

Карандышев. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь.

Паратов. Да почем ты знаешь, что не станет? А может быть, и станет.

Лариса. Извините, господа, я и не расположена сегодня, и не в голосе.

Кнуров. Что-нибудь, что вам угодно!

Карандышев. Уж коли я говорю, что не станет, так не станет.

Паратов. А вот посмотрим. Мы попросим хорошенько, на колени станем.

Вожеватов. Это я сейчас, я человек гибкий.

Карандышев. Нет, нет, и не просите, нельзя; я запрещаю!

Огудалова. Что вы! Запрещайте тогда, когда будете иметь право, а теперь еще погодите запрещать, рано.

Карандышев. Нет, нет! я положительно запрещаю.

Лариса. Вы запрещаете! так я буду петь, господа.

Карандышев, надувшись, отходит в угол и садится.

Паратов. Илья!

Илья. Что будем петь, барышня?

Лариса. «Не искушай».

Илья *(подстраивая гитару).* Вот третий голос надо! Ах, беда! Какой тенор был! От своей от глупости. *(Поют в два голоса.)*

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней.

Все различным образом выражают восторг.

Паратов сидит, запустив руки в волоса. Ко второму куплету слегка пристает Робинзон.

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не хочу предаться вновь
Раз обманувшим сновиденьям.

Илья *(Робинзону).* Вот спасибо, барин. Выручил.

Кнуров *(Ларисе).* Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждения слушать вас.

Паратов *(с мрачным видом).* Мне кажется, я с ума сойду. *(Целует руку Ларисы.)*

Вожеватов. Послушать, да и умереть — вот оно что! *(Карандышеву.)* А вы хотели лишить нас этого удовольствия.

Карандышев. Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье.

Вожеватов. Умную речь приятно и слышать.

Карандышев *(громко).* Подайте шампанского!

Огудалова *(тихо).* Потише! Что вы кричите!

Карандышев. Помилуйте, я у себя дома. Я знаю,

что делаю. *(Громко.)* Подайте шампанского!

Входит Евфросинья Потаповна.

Ефросинья Потаповна. Какого тебе еще шампанского? Поминутно то того, то другого.

Карандышев. Не мешайтесь не в свое дело! Исполняйте, что вам приказывают!

Ефросинья Потаповна. Так поди сам! А уж я ноги отходила; я еще, может быть, не евши с утра. *(Уходит.)*

Карандышев идет в дверь налево.

Огудалова. Послушайте, Юлий Капитоныч... *(Уходит за Карандышевым.)*

Паратов. Илья, поезжай! Чтоб катера были готовы! Мы сейчас приедем.

Илья уходит в среднюю дверь.

Вожеватов. *(Кнурову).* Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. *(Робинзону.)* Робинзон, смотри, Иван коньяк-то убирает.

Робинзон. Да я его убью. Мне легче с жизнью расстаться!

Уходят налево Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Явление двенадцатое

Лариса и Паратов.

Паратов. Очаровательница! *(Страстно глядит на Ларису.)* Как я проклинал себя, когда вы пели!

Лариса. За что?

Паратов. Ведь я — не дерево; потерять такое сокровище, как вы, разве легко?

Лариса. Кто ж виноват?

Паратов. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя.

Лариса. За что же, скажите!

Паратов. Зачем я бежал от вас? На что променял вас?

Лариса. Зачем же вы это сделали?

Паратов. Ах, зачем! Конечно, малодушие. Надо было поправить свое состояние. Да Бог с ним, с состоянием! Я проиграл больше, чем состояние, я потерял вас; я и сам страдаю, и вас заставил страдать.

Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили мою жизнь.

Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не совсем опошлился, не совсем огрубел;

во мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут, да… еще несколько таких минут…

Лариса *(тихо).* Говорите!

Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня; разве вместе с моею жизнью.

Лариса. Чего же вы хотите?

Паратов. Видеть вас, слушать вас… Я завтра уезжаю.

Лариса *(опустя голову).* Завтра.

Паратов. Слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве.

Лариса *(тихо).* О каком?..

Паратов. О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног.

Лариса. Но как же?

Паратов. Послушайте: мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах — поедемте!

Лариса. Ах! а здесь? Я не знаю, право… как же здесь?

Паратов. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут: тетка Карандышева, барыни в крашеных шелковых платьях, разговор будет о соленых

грибах.

Лариса. Когда же ехать?

Паратов. Сейчас.

Лариса. Сейчас?

Паратов. Сейчас или никогда.

Лариса. Едемте.

Паратов. Как, вы решаетесь ехать за Волгу?

Лариса. Куда вам угодно.

Паратов. С нами, сейчас?

Лариса. Когда вам угодно.

Паратов. Ну, признаюсь, выше и благородней этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательное создание! Повелительница моя!

Лариса. Вы — мой повелитель!

Входят Огудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев иИван с подносом, на котором стаканы шампанского.

Явление тринадцатое

Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван.

Паратов *(Кнурову и Вожеватову).* Она поедет.

Карандышев. Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну.

Все берут стаканы.

Господа, вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Ваши похвалы — для нее не новость; с детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно много. Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны то, господа… то, господа…

Вожеватов. Спутается.

Паратов. Нет, вынырнет, выучил.

Карандышев. То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружали ее: но она мишурным блеском не прельстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного…

Паратов *(одобрительно).* Браво, браво!

Карандышев. И выбрала…

Паратов. Вас! Браво, браво!

Вожеватов и Робинзон. Браво, браво!

Карандышев. Да, господа, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь! Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать; но

я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты!

Паратов, Вожеватов и Робинзон. Ура!

Паратов. *(Карандышеву).* Еще есть вино-то?

Карандышев. Разумеется, есть; как же не быть! что ты говоришь? Уж я достану.

Паратов. Надо еще тост выпить.

Карандышев. Какой?

Паратов. За здоровье счастливейшего из смертных, Юлия Капитоныча Карандышева.

Карандышев. Ах, да. Так ты предложишь? Ты и предложи, Серж! А я пойду похлопочу; я достану. *(Уходит.)*

Кнуров. Ну, хорошенького понемножку. Прощайте! Я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт. *(Кланяется дамам.)*

Вожеватов *(указывая на среднюю дверь).* Здесь пройдите, Мокий Парменыч! Тут прямо выход в переднюю, никто вас и не увидит.

Кнуров уходит.

Паратов *(Вожеватову).* И мы сейчас едем. *(Ларисе.)* Собирайтесь.

Лариса уходит направо.

Вожеватов. Не дождавшись тоста?
Паратов. Так лучше.
Вожеватов. Да чем же?
Паратов. Смешнее.

Входит Лариса со шляпкой в руках.

Вожеватов. И то смешнее. Робинзон! Едем!
Робинзон. Куда?
Вожеватов. Домой, сбираться в Париж.

Робинзон и Вожеватов раскланиваются и уходят.

Паратов *(тихо Ларисе).* Едем! *(Уходит.)*
Лариса. Прощай, мама!
Огудалова. Что ты! Куда ты!
Лариса. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге.
Огудалова. Бог с тобой! Что ты!
Лариса. Видно, от своей судьбы не уйдешь! *(Уходит.)*
Огудалова. Вот наконец до чего дошло: всеобщее бегство! Ах, Лариса!.. Догонять мне ее иль нет? Нет, зачем!.. Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди… А здесь, хоть и бросить, так потеря не велика!

Входят Карандышев и Иван с бутылкой шам-

панского.

Явление четырнадцатое

Огудалова, Карандышев, Иван, потом Ев фр осин ья Потаповна.

Карандышев. Я, господа… *(Оглядывает комнату.)* Где ж они? Уехали? Вот это учтиво, нечего сказать! Ну, да тем лучше! Однако когда ж они успели? И вы, пожалуй, уедете! Нет, уж вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите! Обиделись? — понимаю. Ну, и прекрасно. И мы останемся в тесном семейном кругу… А где же Лариса Дмитриевна? *(Удвери направо.)* Тетенька, у вас Лариса Дмитриевна?

Ефросинья Потаповна*(входя).* Никакойуменя твоей Ларисы Дмитриевны нет.

Карандышев. Однако что ж это такое, в самом деле! Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна?

Иван. Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали… Потому как господа за Волгу сбирались, вроде как пикник у них.

Карандышев. Как за Волгу?

Иван. На катерах-с. И посуда, и вина, все от нас

пошло-с; еще давеча отправили; ну, и прислуга — всё как следует-с.

Карандышев *(садится и хватается за голову).* Ах, что же это, что же это!

Иван. И цыгане, и музыка с ними — всё как следует.

Карандышев *(с горячностью).* Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?

Огудалова. Я к вам привезла дочь, Юлий Капитоныч; вы мне скажите, где моя дочь!

Карандышев. И все это преднамеренно, умышленно — все вы вперед сговорились… *(Со слезами.)* Жестоко, бесчеловечно жестоко!

Огудалова. Рано было торжествовать-то!

Карандышев. Да, это смешно… Я смешной человек… Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон — ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной — я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить!

Ефросинья Потаповна. Да полно ты, перестань! Не о чем сокрушаться-то!

Карандышев. И ведь это не разбойники, это почетные люди… Это всё приятели Хариты Игнатьевны.

Огудалова. Я ничего не знаю.

Карандышев. Нет, у вас одна шайка, вы все заодно. Но знайте, Харита Игнатьевна, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники — злодеи, и смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости; только злоба лютая и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убьют меня самого. *(Схватывает со стола пистолет и убегает.)*

Огудалова. Что он взял-то?

Иван. Пистолет.

Огудалова. Беги, беги за ним, кричи, чтоб остановили!

Действие четвертое

Действующие лица

Паратов.
Кнуров.
Вожеватов.
Робинзон.
Лариса.
Карандышев.
Илья.
Г аврило.
Иван.
Цыгане и Цыганки.

Декорация первого действия. Светлая летняя ночь.

Явление первое

Робинзоне мазиком[37] в руке и Иван (выглядывает из кофейной).

Иван. Мазик-то пожалуйте!

---

[37] Примечания: 37
Бильярдным кием *(от шпал,* mazza).

Робинзон. Не отдам. Ты играй со мной! Отчего ты не играешь?

Иван. Да как же играть с вами, когда вы денег не платите!

Робинзон. Я после отдам. Мои деньги у Василья Данилыча, он их увез с собой. Разве ты не веришь?

Иван. Как же вы это с ними на пикник не поехали?

Робинзон. Я заснул; а он не посмел меня беспокоить, будить, ну, и уехал один. Давай играть!

Иван. Нельзя-с, игра не равна: я ставлю деньги, а вы нет; выигрываете — берете, а проигрываете — не отдаете. Ставьте деньги-с!

Робинзон. Что ж, разве мне кредиту нет? Это странно! Я первый город такой вижу; я везде, по всей России все больше в кредит.

Иван. Это я оченно верю-с. Коли спросить чего угодно, мы подадим; знавши Сергея Сергеича и Василья Данилыча, какие они господа, мы обязаны для вас кредит сделать-с; а игра денег требует-с.

Робинзон. Так бы ты и говорил. Возьми мазик и дай мне бутылку… чего бы?..

Иван. Портвейн есть недурен-с.

Робинзон. Я ведь дешевого не пью.

Иван. Дорогого подадим-с.

Робинзон. Да вели мне приготовить… знаешь, этого… как оно…

Иван. Дупелей зажарить можно; не прикажете ли?

Робинзон. Да, вот именно дупелей.

Иван. Слушаю-с. *(Уходит.)*

Робинзон. Они пошутить захотели надо мной; ну, и прекрасно, и я пошучу над ними. Я с огорчения задолжаю рублей двадцать, пусть расплачиваются. Они думают, что мне общество их очень нужно — ошибаются; мне только бы кредит; а то я и один не соскучусь, я и solo могу разыграть очень веселое. К довершению удовольствия, денег бы занять…

Входит Иван с бутылкой.

Иван *(ставит бутылку).* Дупеля заказаны-с.

Робинзон. Я здесь театр снимаю.

Иван. Дело хорошее-с.

Робинзон. Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли?

Иван. Отчего не взять-с!

Робинзон. Только у меня — чтоб содержать исправно! И, для верности, побольше задатку сейчас же!

Иван. Нет, уж он учен, задатку не дает; его так-то уж двое обманули.

Робинзон. Уж двое? Да, коли уж двое…

Иван. Так третьему не поверит.

Робинзон. Какой народ! Удивляюсь. Везде поспеют; где только можно взять, все уж взято, непочатых мест нет. Ну, не надо, не нуждаюсь я в нем. Ты ему не говори ничего, а то он подумает, что и я хочу обмануть; а я горд.

Иван. Да-с, оно, конечно… А как давеча господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали! Очень гневались, даже убить кого-то хотели, так с пистолетом и ушли из дому.

Робинзон. С пистолетом? Это нехорошо.

Иван. Хмельненьки были; я полагаю, что это у них постепенно пройдет-с. Они по бульвару раза два проходили… да вон и сейчас идут.

Робинзон *(оробев).* Ты говоришь, с пистолетом? Он кого убить-то хотел — не меня ведь?

Иван. Уж не могу вам сказать. *(Уходит.)*

Входит Карандышев, Робинзон старается спрятаться за бутылку.

Явление второе

Робинзон, Карандышев, потом Иван.

Карандышев *(подходит к Робинзону).* Где ваши товарищи, господин Робинзон?

Робинзон. Какие товарищи? У меня нет товарищей.

Карандышев. А те господа, которые обедали у меня с вами вместе?

Робинзон. Какие ж это товарищи! Это так… мимолетное знакомство.

Карандышев. Так не знаете ли, где они теперь?

Робинзон. Не могу сказать, я стараюсь удалять-ся от этой компании; я человек смирный, знаете ли… семейный…

Карандышев. Вы семейный?..

Робинзон. Очень семейный… Для меня тихая семейная жизнь выше всего; а неудовольствие какое или ссора — это Боже сохрани; я люблю и побеседовать, только чтоб разговор умный, учтивый, об искусстве, например… Ну, с благородным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко. Не прикажете ли?

Карандышев. Не хочу.

Робинзон. Как угодно. Главное дело, чтобы неприятности не было.

Карандышев. Да вы должны же знать, где они.

Робинзон. Кутят где-нибудь: что ж им больше-то делать!

Карандышев. Говорят, они за Волгу поехали.

Робинзон. Очень может быть.

Карандышев. Вас не звали с собой?

Робинзон. Нет; я человек семейный.

Карандышев. Когда же они воротятся?

Робинзон. Уж это они и сами не знают, я думаю. К утру вернутся.

Карандышев. Кутру?

Робинзон. Может быть, и раньше.

Карандышев. Все-таки надо подождать; мне кой с кем из них объясниться нужно.

Робинзон. Коли ждать, так на пристани; зачем они сюда пойдут! С пристани они прямо домой проедут. Чего им еще? Чай, и так сыты.

Карандышев. Да на какой пристани? Пристаней у нас много.

Робинзон. Да на какой угодно, только не здесь; здесь их не дождетесь.

Карандышев. Ну, хорошо, я пойду на пристань. Прощайте! *(Подает руку Робинзону.)* Не хотите ли проводить меня?

Робинзон. Нет, помилуйте, я человек семейный.

Карандышев уходит.

Иван, Иван!

Входит Иван.

Накрой мне в комнате и вино перенеси туда!

Иван. В комнате, сударь, душно. Что за неволя!

Робинзон. Нет, мне на воздухе вечером вредно; доктор запретил. Да если этот барин спрашивать будет, так скажи, что меня нет. *(Уходит в кофейную.)*

Из кофейной выходит Гаврило.

Явление третье

Гаврило и Иван.

Гаврило. Ты смотрел на Волгу? Не видать наших?

Иван. Должно быть, приехали.

Гаврило. Что так?

Иван. Да под горой шум, эфиопы загалдели. *(Берет со стола бутылку и уходит в кофейную.)*

Входит Илья и хор цыган.

Явление четвертое

Гаврило, Илья, цыгане и цыганки.

Гаврило. Хорошо съездили?

Илья. И, хорошо! Так хорошо, не говори!

Гаврило. Господа веселы?

Илья. Разгулялись, важно разгулялись, дай Бог на здоровье! Сюда идут; всю ночь, гляди, прогуляют.

Гаврило *(потирая руки).* Так ступайте, усаживайтесь! Женщинам велю чаю подать; а вы к буфету — закусите!

Илья. Старушкам к чаю-то ромку вели — любят.

Илья, цыгане, цыганки, Гаврило уходят в кофейную. Выходят Кнуров и Вожеватов.

Явление пятое

Кнуров и Вожеватов.

Кнуров. Кажется, драма начинается.

Вожеватов. Похоже.

Кнуров. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки

видел.

Вожеватов. Да ведь у них дешевы.

Кнуров. Как хотите, а положение ее незавидное.

Вожеватов. Дело обойдется как-нибудь.

Кнуров. Ну, едва ли.

Вожеватов. Карандышев посердится немножко, поломается, сколько ему надо, и опять тот же будет.

Кнуров. Да она-то не та же. Ведь чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основание. Вы подумайте: Сергей Сергеич приехал на один день, и она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеича; иначе зачем он ей!

Вожеватов. Так вы думаете, что тут не без обмана, что он опять словами поманил ее?

Кнуров. Да непременно. И, должно быть, обещания были определенные и серьезные, а то как бы она поверила человеку, который уж раз обманул ее!

Вожеватов. Мудреного нет; Сергей Сергеич ни над чем не задумается: человек смелый.

Кнуров. Да ведь как ни смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет.

Вожеватов. Еще бы! Что за расчет!

Кнуров. Так посудите, каково ей, бедной!

Вожеватов. Что делать-то! Мы не виноваты, наше дело сторона.

На крыльце кофейной показывается Робинзон.

Явление шестое

Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Вожеватов. А, милорд! Что во сне видел?

Робинзон. Богатых дураков; то же, что и наяву вижу.

Вожеватов. Ну, как же ты, бедный умник, здесь время проводишь?

Робинзон. Превосходно! Живу в свое удовольствие и притом в долг, на твой счет. Что может быть лучше!

Вожеватов. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью?

Робинзон. Да ты — чудак, я вижу. Ты подумай: какой же мне расчет отказываться от таких прелестей!

Вожеватов. Что-то я не помню: как будто я тебе открытого листа не давал?

Р о б и н з о н. Так ты в Париж обещал со мной ехать — разве это не все равно?

Вожеватов. Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню; для меня слово — закон, что сказано, то свято. Ты спроси: обманывал ли я кого-нибудь?

Робинзон. А покуда ты сбираешься в Париж, не воздухом же мне питаться?

Вожеватов. Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас.

Робинзон. Теперь поздно; поедем, Вася, завтра.

Вожеватов. Ну, завтра так завтра. Послушай, вот что: поезжай лучше ты один, я тебе прогоны выдам взад и вперед.

Робинзон. Как один? Я дороги не найду?

Вожеватов. Довезут.

Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободно… Хочу выучиться, да все времени нет.

Вожеватов. Да зачем тебе французский язык?

Робинзон. Как же, в Париже да по-французски не говорить?

Вожеватов. Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски.

Робинзон. Столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили! Что ты меня за дурака, что ли, считаешь?

Вожеватов. Да какая столица! Что ты, в уме ли! О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на

площади есть «Париж», вот я куда хотел с тобой ехать.

Робинзон. Браво, браво!

Вожеватов. А ты полагал, в настоящий? Хоть бы ты немножко подумал. А еще умным человеком считаешь себя! Ну, зачем я тебя туда возьму, с какой стати? Клетку, что ли, сделать да показывать тебя?

Робинзон. Хорошей ты школы, Вася, хорошей; серьезный из тебя негоциант выйдет.

Вожеватов. Да ничего; я стороной слышал, одобряют.

Кнуров. Василий Данилыч, оставьте его! Мне нужно вам сказать кой-что.

Вожеватов *(подходя).* Что вам угодно?

Кнуров. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе.

Робинзон прислушивается.

Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж?

Кнуров. Да, пожалуй; если угодно: это одно и

то же. Вожеватов. Так за чем же дело стало? Кто мешает?

Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь; а все-таки неловко, беспокойно; гораздо лучше, когда поле чисто.

Вожеватов. Отступного я не возьму, Мокий Парменыч!

Кнуров. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь.

Вожеватов. Да вот, лучше всего. *(Вынимает из кармана монету и кладет под руку.)* Орел или решетка?

Кнуров *(в раздумье).* Если скажу: орел, так проиграю; орел, конечно, вы. *(Решительно.)* Решетка.

Вожеватов *(поднимая руку).* Ваше. Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке; расходов меньше.

Кнуров. Только, Василий Данилыч, давши слово, держись; а не давши, крепись! Вы купец, вы должны понимать, что значит слово.

Вожеватов. Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купеческое слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном.

Кнуров. Вон Сергей Сергеич идет с Ларисой

Дмитриевной! Войдемте в кофейную, не будем им мешать.

Кнуров и Вожеватов уходят в кофейную. Входят Паратов и Лариса.

Явление седьмое

Паратов, Лариса и Робинзон.

Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу взошла на гору. *(Садится в глубине сцены на скамейку у решетки.)*

Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж ты, скоро в Париж едешь?

Робинзон. С кем это? С тобой, ля Серж, куда хочешь; а уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежи!

Паратов. Будто? Давно ли ты догадался?

Робинзон. Всегда знал. Я всегда за дворян.

Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес

золота ценится, в полном смысле наступает золотой век. Но, уж не взыщи, подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы, для собственного удовольствия, прокатят — на какого Медичиса нападешь. Не отлучайся, ты мне нужен будешь!

Робинзон. Для тебя в огонь и в воду. *(Уходит в кофейную.)*

Паратов *(Ларисе).* Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие — нет, этого мало, — за счастие, которое вы нам доставили.

Лариса. Нет, нет, Сергей Сергеич, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я — жена ваша или нет?

Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра.

Лариса. Я не поеду домой.

Паратов. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем — это еще можно допустить; но кутить всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением! Какую пищу вы дадите для разговоров.

Лариса. Что мне за дело до разговоров! С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня домой.

Паратов. Вы поедете на моих лошадях — разве это не все равно?

Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха; маменька видела, как мы уехали — она не будет беспокоиться, как бы мы поздно ни возвратились… Она покойна, она уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать… чтоб благословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой.

Паратов. Что такое? Что значит: «совсем не являться»? Куда ж деться вам?

Лариса. Для несчастных людей много простора в Божьем мире: вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно, на Волге — выбирай любое место. Везде утопиться легко, если есть желание да сил достанет.

Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно. Кто откажет вам в любви, в уважении! Да тот же ваш жених: он будет радехонек, если вы опять его приласкаете.

Лариса. Что вы говорите! Я мужа своего, если уж не любить, так хоть уважать должна; а как могу я уважать человека, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления! Это дело кончено: он для меня не существует. У меня один жених: это вы.

Паратов. Извините, не обижайтесь на мои слова! Но едва ли вы имеете право быть так требовательными ко мне.

Лариса. Что вы говорите! Разве вы забыли? Так я вам опять повторю все сначала. Я год страдала, год не могла забыть вас, жизнь стала для меня пуста; я решилась наконец выйти замуж за Карандышева, чуть не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите: «Брось все, я твой». Разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала.

Паратов. Все это прекрасно, и обо всем этом мы с вами потолкуем завтра.

Лариса. Нет, сегодня, сейчас.

Паратов. Вы требуете?

Лариса. Требую.

В дверях кофейной видны Кнуров и Вожеватов.

Паратов. Извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна! Вы допускаете мгновенное увлечение?

Лариса. Допускаю. Я сама способна увлечься.

Паратов. Нет, я не так выразился; допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам

неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи?

Лариса. Ну, что же! И хорошо, что он забудет.

Паратов. Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю; но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны.

Лариса *(задумчиво).* Неразрывные цепи! *(Быстро.)* Вы женаты?

Паратов. Нет.

Лариса. А всякие другие цепи — не помеха! Будем носить их вместе, я разделю с вами эту ношу, бульшую половину тяжести я возьму на себя.

Паратов. Я обручен.

Лариса. Ах!

Паратов *(показывая обручальное кольцо).* Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь.

Лариса. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно! *(Садится на стул.)*

Паратов. Разве я в состоянии был помнить что-нибудь! Я видел вас, и ничего более для меня не существовало.

Лариса. Поглядите на меня!

Паратов смотрит на нее.

«В глазах, как на небе, светло...» Ха, ха, ха! *(Истерически смеется.)*

Подите от меня! Довольно! Я уж сама об себе подумаю. *(Опирает голову на руку.)*

Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо кофейной.

Явление восьмое

Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Паратов *(подходя к кофейной).* Робинзон, поди сыщи мою коляску! Она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой.

Робинзон. Ля Серж! Он тут, он ходит с пистолетом.

Паратов. Кто «он»?

Робинзон. Карандышев.

Паратов. Так что ж мне за дело!

Робинзон. Он меня убьет.

Паратов. Ну вот, велика важность! Исполняй, что приказывают! Без рассуждений! Я этого не люблю, Робинзон.

Робинзон. Я тебе говорю: как он увидит меня с ней вместе, он меня убьет.

Паратов. Убьет он тебя или нет — это еще неизвестно; а вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж наверное! *(Уходит в кофейную.)*

Робинзон *(грозя кулаком).* О варвары, разбойники! Ну, попал я в компанию! *(Уходит.)*

Вожеватов подходит к Ларисе.

Лариса *(взглянув на Вожеватова).* Вася, я погибаю!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя! Что делать-то! Ничего не поделаешь.

Лариса. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные; что мне делать — научи!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы… я ничего не могу. Верьте моему слову!

Лариса. Да я ничего и не требую от тебя, я прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!

Вожеватов. Не могу, ничего не могу.

Лариса. Иу тебя тоже цепи?

Вожеватов. Кандалы, Лариса Дмитриевна.

Лариса. Какие?

Вожеватов. Честное купеческое слово. *(Отхо-*

дит в кофейную.)

Кнуров *(подходит к Ларисе).* Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастия, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж, на выставку?

Лариса отрицательно качает головой.

И полное обеспечение на всю жизнь?

Лариса молчит.

Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления.

Лариса поворачивает голову в другую сторону.

Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат.

Лариса молчит.

Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте! Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня; и с

той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги ни были. Для меня невозможного мало. *(Почтительно кланяется и уходит в кофейную.)*

Явление девятое

Лариса одна.

Лариса. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так, говорят… верная смерть! *(Подумав.)* Вот хорошо бы броситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь… Да, это лучше… в беспамятстве, ни боли… ничего не будешь чувствовать! *(Подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает.)* Ой, ой! Как страшно! *(Чуть не падает, хватается за беседку.)* Какое головокружение! Я падаю, падаю, ай! *(Садится у стола подле беседки.)* Ох, нет!.. *(Сквозь слезы.)* Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот я какая несчаст-

ная! А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя, их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да если и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? *(Задумывается.)* Ах, нет, нет… не Кнуров… Роскошь, блеск… нет, нет… я далека от суеты… *(Вздрогнув.)* Разврат… ох, нет… Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить… когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь… Как хорошо умереть… пока еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть… Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне!.. Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть… Ах, как дурно, как кружится голова. *(Подпирает голову рукой и сидит в забытьи.)*

Входят Робинзон и Карандышев.

Явление десятое

Лариса, Робинзон и Карандышев.

Карандышев. Вы говорите, что вам велено от-

везти ее домой?

Робинзон. Да-с, велено.

Карандышев. И вы говорили, что они оскорбили ее? Робинзон. Уж чего еще хуже, чего обиднее?

Карандышев. Она сама виновата: ее поступок заслуживал наказания. Я ей говорил, что это за люди; наконец она сама могла, она имела время заметить разницу между мной и ими. Да, она виновата, но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, а тем более оскорблять. Это уж мое дело: прощу я ее или нет; но защитником ее я обязан явиться. У ней нет ни братьев, ни близких; один я, только один я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителей. Где она?

Робинзон. Она здесь была. Вот она!

Карандышев. При нашем объяснении посторонних не должно быть; вы будете лишний. Оставьте нас!

Робинзон. С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться. *(Уходит в кофейную.)*

Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы.

Явление одиннадцатое

Лариса и Карандышев.

Лариса *(поднимая голову).* Как вы мне противны, кабы вы знали! Зачем вы здесь?

Карандышев. Где же быть мне?

Лариса. Не знаю. Где хотите, только не там, где я.

Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление!

Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений мне не было.

Карандышев. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку — и это не оскорбление? Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека, — человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас как на вещь. Ну, если вы вещь, это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может.

Лариса *(глубоко оскорбленная).* Вещь… да, вещь. Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя… я вещь! *(Сгорячностью.)* Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня!

Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого я вас оставлю?

Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину.

Карандышев *(с жаром).* Я беру вас, я ваш хозяин. *(Хватает ее за руку.)*

Лариса *(оттолкнув его).* О нет! Каждой вещи своя цена есть… Ха, ха, ха… я слишком, слишком дорога для вас.

Карандышев. Что вы говорите! Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?

Лариса *(со слезами).* Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу: подите пошлите ко мне Кнурова.

Карандышев. Что вы, что вы, опомнитесь!

Лариса. Ну, так я сама пойду.

Карандышев. Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас прощаю, я все прощаю!

Лариса *(с горькой улыбкой).* Вы мне прощаете? Благодарю вас. Только я-то себе не прощаю, что

вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы.

Карандышев. Уедемте, уедемте сейчас из этого города, я на все согласен.

Лариса. Поздно. Я вас просила взять меня поскорей из цыганского табора, вы не умели этого сделать; видно, мне жить и умереть в цыганском таборе.

Карандышев. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня!

Лариса. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты.

Карандышев. Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас.

Лариса *(с отвращением).* Подите, вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня.

Карандышев. Скажите же: чем мне заслужить любовь вашу? *(Падает на колени.) Я* вас люблю, люблю.

Лариса. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла… ее нет на свете… нечего и искать. Я не нашла

любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.

Карандышев *(вставая).* О, не раскайтесь! *(Кладет руку за борт сюртука.)* Вы должны быть моей.

Лариса. Чьей ни быть, но не вашей!

Карандышев *(запальчиво).* Не моей?

Лариса. Никогда.

Карандышев. Так не доставайся ж ты никому! *(Стреляет в нее из пистолета.)*

Лариса *(хватаясь за грудь).* Ах! Благодарю вас! *(Опускается на стул.)*

Карандышев. Что я, что я… ах, безумный! *(Роняет пистолет.)*

Лариса *(нежно).* Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда на стол! Это я сама… сама… Ах, какое благодеяние!.. *(Поднимает пистолет и кладет на стол.)*

Из кофейной выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврил о и Иван.

Явление двенадцатое

Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило и Иван.

Все. Что такое, что такое?

Лариса. Это я сама… Никто не виноват, никто… Это я сама.

За сценой цыгане запевают песню.

Паратов. Велите замолчать! Велите замолчать!

Лариса *(постепенно слабеющим голосом).* Нет, нет, зачем!.. Пусть веселятся, кому весело… Я не хочу мешать никому! Живите, живите все! Вам надо жить, а мне надо… умереть… Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь… вы все хорошие люди… я вас всех… всех люблю. *(Посылает поцелуй.)*

Громкий хор цыган.